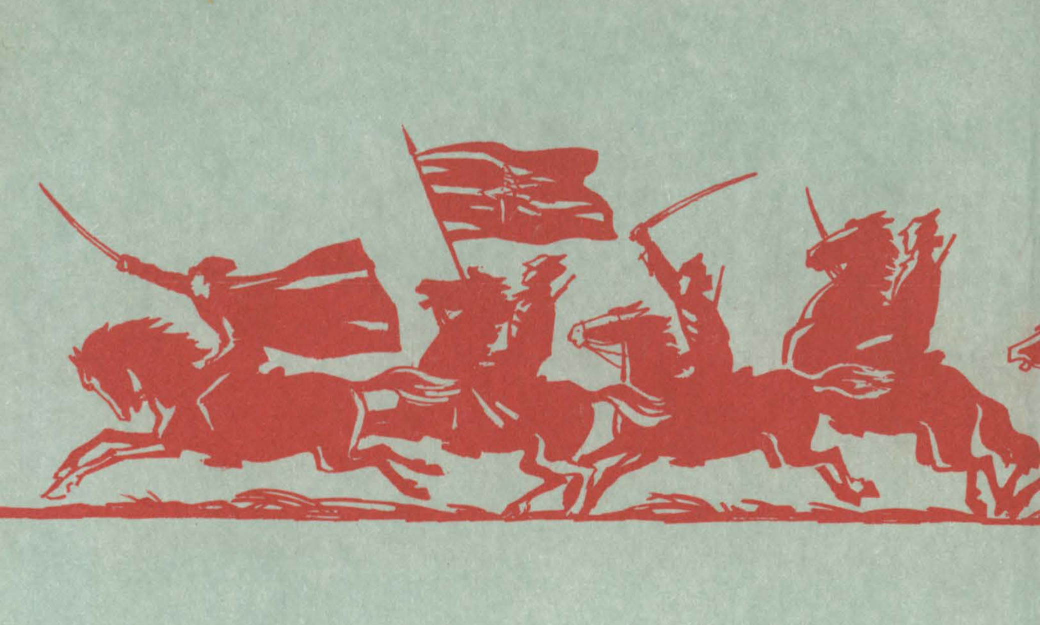
Б. ЛАВРЕНЕВ

ЗВЕЗДНЫЙ ЦВЕТ



Борис Лавренев

ЗВЕЗДНЫЙ ЦВЕТ





Я люблю революцию.
Ее пламенный ветер носил меня
по дорогам бывшей России
от Полярного круга
до Закавказских теснин.
Я всегда буду любить революцию.

Борис Лавренев

Издательство
„ПРОСВЕЩЕНИЕ“





БОРИС ЛАВРЕНЕВ

1891 – 1959

Борис Лавренев

ЗВЕЗДНЫЙ ЦВЕТ

Москва
„ПРОСВЕЩЕНИЕ“
1986

ББК 84Р7-4
Л13

Предисловие, составление и комментарии
Е. Д. Суркова

Оформление художника
Б. Л. Рытмана

Печатается по изданию:
Лавренев Б. А. Собр. соч. В 6-ти т.
М.: Художественная литература, 1982.

Лавренев Б.
Л13 Звездный цвет/Предисл., сост. и коммент. Е. Д. Суркова.— М.: Просвещение, 1986.—304 с.: ил.

В сборник вошли лучшие произведения Б. А. Лавренева. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя.
Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова и комментариями.

Л $\frac{4700000000-752}{103(03)-86}$ КБ—1—24—1986 ББК 84Р7-4

РОДОМ ИЗ РЕВОЛЮЦИИ

Есть выражение: родом из детства. Не знаю, кто именно пустил его в наш языковый обиход, но думаю, что то был человек чистой и нежной души, который никогда не мог забыть, что он — оттуда. Из детства. Может быть, трудного, безрадостного, но навсегда поселившегося в его сердце.

Но в начале 20-х годов, когда в литературу входил Борис Лавренев, о детстве вспоминали мало. Писатели его поколения были чужды какой-либо ностальгии. И если вспоминали о своем детстве, то только затем, чтобы оттолкнуться от него. Изжить его в себе. Резко и жестко сопоставить с настоящим.

Настоящее владело ими безраздельно. Властно вело за собой на просторы, где все ломалось и трещало, менялось и перекраивалось, укладываясь в новые, никем до того еще не опробованные социальные структуры. В стране крепла, набирала силы, побеждала революция. И все они, писатели первого послеоктябрьского призыва, были полны ею. Спешили пальцами, задубенелыми на ветру, очертить ее лик, передать в будущее ее черты, ее напор, ее огнистое и живительное дыхание. Детство для них сразу отодвинулось куда-то за черту. В почти доисторические потемки. Словно его и не было. А была только вот эта изматывающая, но и жарко насыщающая душу круговерть стремительных переходов, кровавых стычек, поражений, всякий раз сменявшихся победами, и побед, требовавших нечеловеческих усилий, чтобы завоеванное в долгих и яростных боях закрепилось, проросло корнями в повседневную жизнь миллионов.

Кому же было петь о ней, о творимой с их же участием революции, как не им, пионерам еще не существующей, еще только складывавшейся литературы новой, советской эпохи? Они это понимали. И, сменив пропахшие горьким дымом бивачных костров шинели на косоворотки и пиджаки, спешили перенести пережитое в Питере и под Сивашом, во Владивостоке и на Кубани на листы толстой, шершавой и клеклой бумаги тех лет. Чернила на этой бумаге расползались неопрятными пятнами, а перо то и дело спотыкалось о колючки плохо переработанной древесины. Но и это не мешало цветению слов, дышащих палящим жаром любви и испепеляющей ненависти. Не препятствовало бурному накату фраз, щедро насыщенных неожиданными, смелыми, часто парадоксальными метафорами и несвойственным писателям прежней генерации открытым и мужественным, нередко поэматически звучащим лиризмом.

И еще — были они молоды. Так молоды, что сейчас кажется невероятным, чтобы именно им, двадцатилетним, история доверила задание такой сложности: заложить фундамент будущей советской литературы. Были, конечно, среди пионеров новой литературы и

писатели, начавшие свой творческий путь задолго до революции: Блок, Брюсов, Серафимович, Тренев, Пришвин. Но «стариков» было немного. К читателю дружной гурьбой выходили юноши с сильными, звонкими голосами. Так, Леониду Леонову, когда он — за один год — стал признанной надеждой русской литературы, едва минуло 23 года; Михаилу Шолохову — 21; Александру Фадееву — 22; Николаю Тихонову — 24; Михаилу Светлову — 16; Александру Жарову — 20!

Борис Лавренев по годам был уже не из их когорты. В 1923 году, когда один за другим, впритык, появились его лучшие рассказы — «Ветер», «Сорок первый», «Звездный цвет», «Зб. 213. 437», ему было уже, шутка сказать, за тридцать.

Но среди всех, кто писал тогда о революции, идя по ее еще дымящимся следам, он все равно был одним из самых молодых. По темпераменту, по ощущению жизни. По способности по-юношески самозабвенно увлекаться характерами необычными, красочными, коллизиями исключительными по своей напряженности. И тоже необычными. Даже на фоне эпохи, где необычное было нормой, а трагические сшибки людей, привычно разрешавшиеся с помощью остро отточенной шашки или нагана,— повседневностью, бытом.

Он и сам был человеком, шедшим по жизни крутыми путями, на которых одна острая ситуация сменялась другой, еще более острой, одно испытание — цепочкой других, не менее причудливых и тяжелых. Двойка по алгебре, полученная при переходе в следующий класс учащимся Херсонской гимназии Борей Сергеевым (Сергеев — настоящая фамилия будущего писателя, Лавренев — псевдоним, выбранный им, когда к нему пришла первая литературная известность), бросила его, мальчика, привыкшего к семейному уюту и ласке, на французский пароход с сомнительной репутацией, бороздивший море между портами с экзотическими названиями — Александрия и Бриндизи. Там юнга «Борья» жил в одной каюте со старым моряком-французом, в котором все еще бушевали, клокотали воспоминания о первых классовых стычках французского пролетариата с буржуазией, о баррикадах Парижской коммуны, о буржуазках, элегантными зонтиками выкалывавших глаза обессилевшим от ран коммунарам. «Мальчишка, люби революцию!» — этим патетическим восклицанием неизменно заканчивались все повествования старика. И мальчишка, внимавший ему с перехваченным от волнения горлом, с горящими огнем большими, немного навыкате близорукими глазами, не забыл этого завета. Любовь к революции пробудилась в Боре Сергееве в знойные тропические ночи, под грозный рокот волн, чтобы навсегда остаться в сердце Бориса Лавренева, писателя и солдата русской революции.

Тогда, на заре только что еще рождавшегося XX века, юнгу Бориса Сергеева вернули домой. В одном из портов на палубу парохода поднялся русский консул и лично препроводил юнгу французского торгового флота до Киева. Откуда Борю вернули в радостно раскрытое ему навстречу лоно семьи.

Но когда позже Борис Сергеев, несмотря на близорукость, гарантировавшую ему «белый билет», уйдет — досрочно и добровольно — на фронт, никакие консулы не будут за ним охотиться с намерением вернуть еще не достигшего совершеннолетия Борю под родительское крыло, где так вкусно пахло фаршированными баклажанами и жареной ставридой. К книгам, к бесконечным задушевным беседам под круглой и яркой степной луной с похожим на голодного грачонка Володей Маяковским (по позднейшей лавреневской характеристике). С Додей и Колей Бурлюками, впоследствии столпами возведенного с их активным участием русского футуризма.

Потянулись годы изматывающих боев, оскорбительной бестолочи, высокого героизма одних и черного предательства других. Из этих годов Лавреневу в удел остались воспоминания об остром запахе крови, пота, которым пропахли окопы; о том, как просто и мужественно умирали безымянные герои в дырявых сапогах и тяжелых, коробом топорщащихся солдатских шинелях, из которых после смерти владельца густо расползались вши. Осталось — навсегда! — мучительное воспоминание о тупой бессмысленности происходящего. О циничной браваде неискренних патриотических офицерских увещеваний. И о витиеватой, по сути своей кощунственной лживости молитв, христолюбивых чиновников в рясах, в которых оправдывалось то, чего никогда и ни при каких условиях нельзя было оправдать.

Первая империалистическая война дала Борису Лавреневу, автору по-юношески прямолинейного и сразу же зарубленного цензурой антивоенного рассказа «Гала-Петер», новое зрение и новую шкалу ценностей: жизненных, социальных, политических, литературных. До этого он уже успел побывать в роли завсегдатая литературных кафе эгофутуристов, среди которых единовластно царил Игорь Северянин, поэт одаренный, но накрепко связавший себя с аудиторией российских нуворишей с огромными бриллиантами на жирных цепких пальцах. А вокруг Северянина тучей вилась литературная мошкара, от которой не осталось и следа в анналах русской поэзии. Юный Борис Лавренев был привечен, взласкан, вознесен именно этой мошкарой. Принят — как свой — в эгофутуристических альманахах, выходивших мизерными тиражами, но крикливых и наглых. В их кругу он мог и остаться. Но не остался. Война перекроила его как человека, сделала — после короткого периода сомнений и душевной сумятицы — готовым принять в себя великие лозунги революции, с которыми вышли на просторы русской истории большевики. То была совсем не та революция, какую, захлебываясь в потоках собственного красноречия, призывал жарко любить русского мальчишку «Борью» безвестный ветеран так и не успевшей созреть французской революции. Эта была жесточе, кровавее, суровее и требовательнее, но это была по-настоящему народная великая революция. В ней мало было красивого, но зато были

невиданные мощь, размах. Была правда, такая понятная и близкая тем самым крестьянам и рабочим в солдатских бескозырках, которых Борис Лавренев впервые по-настоящему, изнутри и по-братски близко узнал на фронте. И полюбил той самой любовью, какой он навсегда полюбил и их революцию.

Начались годы странствий по фронтам гражданской войны. Было трудно и сложно. Революция вскипала не только невиданным героизмом, но и острейшими противоречиями. Надо было не только сражаться, но и анализировать, очищать зерна от плевел. Уметь снимать мутную пену со стремительно мчавшегося через все преграды потока.

И еще: там, на фронтах гражданской, как и до того, на империалистической, ежедневно и ежечасно реяла смерть.

На фронте войны империалистической Лавренева отравили ипритом, после чего в наследство осталась эмфизема легких, мучившая писателя всю жизнь. На фронтах гражданской ему разворотило пулей ступню. Рана была тяжелой, опасной, грозила гангреной. Но, в отличие от отравления газами в окопах Западного фронта, эта рана уже не казалась Лавреневу напрасной. Войну гражданскую, как и ту, третью в его жизни, Отечественную, которую он провел в героически сражавшемся Севастополе, на кораблях Черноморского флота, в Заполярье, Лавренев принял в себя глубоко и навечно. Они ведь были и его войнами. На них раскрылась во всем своем богатстве его душа художника, для которого героика, подвиг, мужество, солдатский долг были не словами, коими — всуе — можно было украшать, расцвечивать страницы своих рассказов, а состоянием души.

Был ли он начальником артиллерии в полевом штабе Н. И. Подвойского или командиром красного бронепоезда, участвовал ли в разгроме банд атамана Зеленого на Украине или в утверждении нового в Туркестане, он всюду одинаково ощущал себя в своей стихии. Так же как годы спустя он увлеченно и безоглядно отдался опасному и изматывающему труду фронтового корреспондента.

Глубоко штатский человек — по всем своим бытовым привычкам, по облику, манерам, по склонности к упорному труду в тиши своего писательского кабинета,— Лавренев не просто, когда это оказывалось необходимо, надевал на себя шинель, армейскую или, чаще, флотскую, но и внутренне преображался. Становился не журналистом-наблюдателем, а солдатом, впитывавшим в себя трагические, неподъемно тяжелые фронтовые впечатления с тем высоким и страстным чувством личной сопричастности к происходящему, которым так обаятельны его рассказы и 20-х и 40-х годов.

Нет, он не был родом из детства. Он был *родом из революции*. И именно этот факт в его духовной биографии объясняет, почему таким внутренне цельным, устремленным всегда к одной — высокой и огнисто чистой — цели был его путь. И писа-

тельский и человеческий одинаково. Между писателем и человеком в нем ведь не было ни малейшего зазора. Недаром читателю, которому захотелось бы узнать, каким человеком был Борис Лавренев, хотя он почти никогда впрямую не писал о себе самом, было бы достаточно внимательно вчитаться в его рассказы и пьесы. В них заключен и образ человека, их создавшего. Его душа, радостно впитывавшая в себя, если воспользоваться выражением Блока, музыку революции и брезгливо отбрасывавшая накипавшую на революционный прибой пену.

Я познакомился с Лавреневым в 1943 году, но стал часто встречаться и подолгу беседовать с ним несколько позже: в конце сороковых и в пятидесятые годы. Он казался тогда заметно старше своих лет, особенно когда, председательствуя на заседаниях комиссии по драматургии Союза писателей СССР, бывал вынужден подолгу выслушивать очищенные от всякой живой мысли, трескучие и безнадежно трафаретные речи некоторых тогдашних деятелей театрального фронта. Но в этом усталом и уже подтачиваемом болезнью человеке, в 1959 году буквально за одно мгновенье свалившей его с ног, были и какая-то особая стремительность, молодая и заразительная, и способность вдруг вспыхивать так жарко, как если бы он был не литературным метром, а юнцом, всегда готовым «пойти на кулаки».

Вскипал он быстро. И так же быстро «отходил», когда тот, на кого он обрушил потоки своего гнева, выпускал хорошую пьесу или публиковал острую, нужную статью. Лавренев, кстати сказать, никогда не смешивал свои человеческие симпатии и антипатии с литературными. На заседаниях комиссии по драматургии он часто брал под защиту пьесы людей лично ему несимпатичных и остро, иногда въедливо критиковал тех, с кем по-приятельски общался в быту. Читал он очень много. В моем телефоне часто раздавался его сарказмом напоенный голос: «Как же это вы, критик, а не читали такую превосходную повесть!! Да нет, я не спорю, человек он неважный, но пьесу-то написал хорошую. Обязательно прочтите и позвоните. Вдруг я по старости лет дал маху». Но ошибался он не так уж часто. И никогда не обижался, когда собеседник загонял его в угол, демонстрируя слабости «замечательной пьесы». Хотя спорил яростно, не сдавался до последнего. Спор вообще был его стихией. Спорить он любил и умел. На моем веку мне мало встречалось полемистов такой атакующей энергии и такой изобретательности в аргументах. А споря, мог и поссориться. Так что начинало казаться: разругался он с оппонентом навечно. Со мной тоже так бывало. Мне, например, не понравилась его пьеса о Лермонтове. И я не почел нужным умолчать о своих сомнениях. Борис Андреевич вскипел. Возражал не просто напористо — зло. Я говорил, помнится, о социологической выутюженности пьесы, о схематичности образа самого Лермонтова. Этого Лавренев снести не мог. Лермонтов был любовью, которую он пронес через всю

свою жизнь. Я сразу поэтому превратился в догматика, лишенного живого ощущения искусства, в педанта из рода чеховских Серебряковых, которые, помните, всю жизнь писали об искусстве, ничего не понимая в искусстве. Возникло даже имя критика N, которого Лавренев терпеть не мог. Помнится, Борис Андреевич воскликнул: «Я думал, что меньше понимать в литературе, чем он, нельзя, но вы и его превзошли в нелитературности».

Словом, разрыв был полный, не оставлявший надежд на примирение. Я был огорчен, даже удручен. Жалел, что все повернулось так дурно, но идти в Каноссу не хотел. Не видел для этого оснований. И вдруг звонок: «Я тут снова взялся за комедию, сатирическую, да еще в стихах. Не пойму, дело делаю или пустяками занимаюсь. Не хотите прийти послушать? Вдруг что-нибудь дельное посоветуете».

И вот я опять сижу на огромном диване карельской березы под огромным парадным портретом Петра I, писанным, очевидно, с натуры безвестным, но несомненно одаренным живописцем, и слушаю первые два акта комедии «Всадник без головы» (она так и осталась незаконченной, смерть помешала). На этот раз Борис Андреевич вникает в мои суждения, снова достаточно острые, внимательно, терпеливо. Мы ведь больше не спорим, мы работаем. Вместе добираемся до нужной ему истины.

Он и жил так, как судил о пьесах и спектаклях: безоглядно, нараспашку, напористо и стремительно. Никогда и ни в чем не щадил себя. Понимал жизнь не как тихий и уютный быт, а как «бучу — боевую, кипучую».

Я и сейчас отчетливо вижу его, очень высокого, немного сутулого в плечах, в повидавшем виды кителе военного моряка со споротыми нашивками и в толстых круглых очках, из-под которых цепко глядели большие, немного выпуклые серые глаза, летящим по узким и темным коридорам старинного здания Союза писателей на улице Воровского так быстро, как будто ему было не под шестьдесят, а тридцать, не больше. Именно летящим. Была в его походке такая стремительность, что начинало казаться: он не менее чем на четверть шага опережает самого себя. Спешит куда-то, где вот-вот должно свершиться нечто необыкновенно важное. Хотя ждало его порой всего лишь привычное обсуждение новой пьесы. Сам он, впрочем, неизменно прятал этот свой острый интерес к происходящему под иронической усмешкой. Тонко, а то и зло пошучивал над всей этой «заседательской суетой». И все же шел заседать так, как (цитирую его любимого Лермонтова) «вы пошли бы на сраженье».

Это в нем тоже было оттуда, из его революционной юности. Как человек, родившийся под ее бурным, грозовым небом, Лавренев не знал и не искал покоя — ни житейского, ни литературного. Ему нужны были люди, накал литературных споров. Нужна была жизнь во всей ее шершавости и многосоставности. В жизни, как и в литературе, он ведь тоже никогда не был «человеком

со стороны». Он бывал по-настоящему счастлив, когда мог больно хлестануть наделенного высокими полномочиями бюрократа или сойтись в словесной дуэли со скучным догматиком или любителем безопасных, «свыше» апробированных схем. Дитя 20-х годов, он, увы, и сам не был свободен от спрямляющих литературный процесс упрощений. Но и не принимая сегодня иные его оценки и суждения, ни на минуту не следует забывать, что они тоже — по-своему, на свой лад — были выражением его революционного максимализма. Он все и всех, себя самого — особенно, мерил прежде всего меркой общественной пользы, революционной актуальности. Любые литературные изыски претили ему, как форма писательского шаманства, как род гурманства, бестактного и нелепого в эпоху, когда, так он верил, надо было прежде всего уметь «приравнять перо к штыку».

Не выносил он и писательского ячества. Зло и напористо высмеивал тех, кто любил напускать на себя мину высокопарной торжественности и жреческого суемудрия. Сам же о своих работах всегда говорил просто, без выкрутас. Да и, помнится, говорил редко, неохотно. На торжественном вечере, когда в Союзе писателей, в переполненном знаменитом Дубовом зале праздновали его шестидесятилетие, я делал доклад. И во все то время, пока говорил, Борис Андреевич не спускал с меня цепких, опасливо настороженных глаз: боялся, так я понял сигналы, которые из них исходили, не собьюсь ли в гремучую риторику, не испорчу ли обедню чрезмерными восхвалениями и акафистами. Но доклад ему понравился. В перерыве он долго и, как показалось, растроганно жал мне руку и говорил слова благодарности, от которых сразу забилось сердце и стало на душе легко и празднично. Но тут же он оторвался от себя самого и от того, что я тогда сумел сказать о его литературном пути, и с обычным для него напором заговорил о какой-то повести или пьесе, пользовавшейся в те дни успехом, но возмущавшей его своей угодливой неискренностью и обилием бесцветных, стертых словес.

Работал он много, но не за столом: вынашивал, проращивал в себе не только общую концепцию вещи, но и все подробности, фразы, целые абзацы и, только проделав эту работу, садился за машинку. И тогда писал быстро, по многу часов не вставая из-за стола. Мне он говорил, что для него всего важнее — не потерять внутренний ритм рассказа, не застопориться на каком-либо месте, не дать образоваться ненужной запруде (его выражение), не сбиться с тона, с интонации.

Это-то и придает его рассказам такую внутреннюю энергию, такую стремительность, как будто они писались на одном дыхании. Не проращивались постепенно, исподволь, а вылились на бумагу сразу, потоком.

Литературная манера Лавренева в беге лет менялась, эволюционировала. В его рассказах 40-х годов нет уже той поэмати-

ческой приподнятости интонаций, того буйства метафор, тех всплесков лирического энтузиазма, которыми щедро перенасыщены «Ветер», «Сорок первый», «Полынь-трава». Рассказы более поздней поры написаны рукой, осознанно чуждающейся острых, парадоксальной напряженности сравнений, раздольного цветения неожиданных, красочных метафор, лирического жара, от которого буквально коробятся, как береста, брошенная в огонь, многие страницы того же «Ветра» или «Сорок первого». Рассказы периода Великой Отечественной прописаны суше, экономнее. Лирический пафос в них — в подтексте. И только изредка прорывается в тех местах, где, чувствуется, автор просто не смог остаться в рамках одного лишь описания, не удержался на позиции повествователя. И вот, так уж получилось, расцветил свой репортажно экономный рассказ прямым выражением своей любви к морякам, творящим чудеса героизма так, как будто они делают обычную и давно привычную им работу.

Но если стиль, повествовательная манера менялись, то мироощущение Лавренева, его взгляд на жизнь всегда оставались одни и те же. Те же, что и в рассказах 20-х годов. Лавренев писал разное: пьесы, среди которых были «Разлом» и «За тех, кто в море», пользовавшиеся огромным, поистине всенародным успехом; иронический антибуржуазный роман-памфлет «Крушение республики Итль»; насмешливые и горькие зарисовки противоречивого и сложного бытового уклада, порожденного нэпом; романтические повести о единоборстве человека с природой, проявляющем истинную цену каждого: высокий героизм одних и хлипкую неустойчивость других («Белая гибель», «Большая земля»); повести со сложнейшим психологическим заданием, обращенные к такой трудной проблеме, как революция и гуманизм, революция и культура («Седьмой спутник», «Гравюра на дереве»). Многие из них были встречены догматической, вульгарно-социологической критикой в штыки, а теперь, в свете нашего нового исторического опыта, читаются иначе, кажутся нам близкими и понятными. Так, как близки, интересны современному читателю повести «Белая гибель» или «Гравюра на дереве». Или небольшой, но поражающий жестоким и суровым реализмом рассказ «3б. 213. 437», предвещающий своим трагедийным колоритом и парадоксально разрешающимся сюжетом раннюю прозу Андрея Платонова.

В критике еще с 20-х годов принято говорить о Лавреневе прежде всего как о романтике. По-моему, это не совсем так. Лавренев — подлинный реалист, хотя реализм его и просвечен повсюду всполохами романтических молний. Накрепко слит с романтической по своей тональности приподнятостью интонаций, дан в укрупнениях и освещении, которые обычно по праву связываются с романтизмом как особым строем художественного мышления, особым, отличным от реализма, способом творческого освоения реальности.

В самом деле, разве не романтизм хотя бы этот отрывок (цитирую конец рассказа 1925 года «Полынь-трава»)?

«Не вернутся возлюбленные, прошедшие горькими степными путями, больше жизни возлюбившие ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лет конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы очищающих гроз, легшие в тугой пар пищей тучным стеблям, наземом животворящим нивам.

Разными дорогами прошли они по степным просторам, разно сожгли души свои и разметали тела, но одна в телах человечьих кровь-руда, одна ненависть и любовь.

Один узел кровный, неразрываемый.

И одна на земле печаль — горемычная, сиротская, вдовья.

Все проходит легким беспамятным дымом, но Ярославне плакать довеку.

В прошлом наша ненависть, горькая, что степная полынь-трава, в прошлом червонные ветры, конский топ, пушечные, звенящие сабельные всплески.

Мертвым благостное забвение, нам — живым, помнящим — слава и гордость.

Земле нашей любовь, что не пройдет до конца».

Конечно, это — романтизм. Причем в его, так сказать, модельно чистой завершенности, типологической определенности. Романтично тут самое ощущение жизни, поэматически приподнятый строй фразы, сказовая интонация. Романтично откровенное стремление увидеть только что завершившуюся эпоху с ее кровавыми сшибками враждующих лагерей, с ее неутихающим кипением политических страстей и наспех засыпанными могилами, протянувшимися через всю страну — с юга на север и с запада на восток, через «магический кристалл» былин, в живой и непосредственной связи с великой традицией русского эпоса, с «Задонщиной» и «Словом о полку Игореве». Не случайно образ Ярославны, тоскующей на стенах древнего Путивля о русских дружинах, принявших смерть в бою с половецкими ордами, врезается в поэтическую ткань лавреневского сказа как сигнал, сразу переводящий то, что еще вчера было бытом для его читателей, в легенду. В героический эпос, сложенный не современником для современников, а как бы донесшийся к ним из дальних далей будущего, когда детали сотрутся, потеряют цену, но зато станут во всем величии видны, ощутимы те вечные, непреходящего значения ценности, которые были в страданиях и подвигах обычных людей, совершивших небывалое по своим масштабам чудо революционного преображения Земли.

Страниц такого поэтического накала много в рассказах Лавренева 20-х годов. Много их и в «Ветре», и в «Сорок первом».

Но есть в этих рассказах и нечто другое, что делает недостоверным, чересчур поспешным и потому неточным отнесение Лавренева к стану романтиков по преимуществу. Ведь под романтической оболочкой в его рассказах и пьесах скрывается плотное

реалистическое ядро. Та суровая и жесткая правда о революции, которая позволяет Лавреневу видеть своих героев без романтического нимба, а сложно, многогранно, такими, какими они были на самом деле. Отсвет романтической идеализации заметен только на двух его героях: на предчека Орлове из «Рассказа о простой вещи», помещенного в этой книге, и на фигуре Победителя из «Белой гибели», которую читатель найдет во всех собраниях сочинений писателя. В фигуре Победителя угадываются некоторые черты великого полярного путешественника Роальда Амундсена, но эти черты, так же как и черты Орлова, его характера, даны в таком идеализирующем свете, какой делает их образы условными, сильно приподнятыми над жизнью, над реальностью.

Но ни о минере первой статьи Василии Гулявине, ни о рыбачке Марютке, ни о коменданте Детского Села Александре Семеновиче Пушкине этого сказать нельзя. Они выписаны в таком разнообразии характерных, жанровых подробностей, несущих в себе образ эпохи во всей ее противоречивости и сложности, даны на пересечении таких разных авторских чувств, как восторженная любовь и ироническая усмешка, как патетика и юмор, при котором уже не остается места для какой-либо идеализации. О юморе как об очень важной координате в стиле Лавренева — прозаика, драматурга — критики писали мало, если вообще когда-нибудь писали. Между тем юмористическая, иногда даже отчетливо ироническая интонация присуща Лавреневу почти всегда — и в «Ветре», и в «Сорок первом», и, конечно же, в «Происшествии», и в «Марине». Юмористические обертоны различимы даже в сгущенном, едва ли не гротесковом трагизме рассказа «3б. 213. 437».

Своих героев Лавренев любил. Это ведь были те самые люди, с которыми он делил тяготы и неслыханное напряжение тех дней, когда они вместе, в одном строю, отбивали у контрреволюции право народа жить по своей воле, сообразно со своим идеалом. Василий Гулявин, Марютка, «малиновый комиссар» Евсюков, красноармеец Дмитрий, защищавший гордую, но беспомощную жену бая Абду-Гаме, комендант поезда 3б. 213. 437, думающий, что он везет в центр подарки от трудящихся Сибири, а на самом деле ценой нечеловеческих лишений и усилий охраняющий вагоны, битком набитые окоченелыми на морозе трупами замученных колчаковцами красноармейцев, как и комендант Детского Села А. С. Пушкин, были Лавреневу «кровью спаянными братьями», как сказал бы в этом случае комиссар Кошкин, герой пьесы К. А. Тренева «Любовь Яровая».

Лавренев не мог и не хотел прятать от читателей свою любовь к ним, так же как потом, в рассказах 1942—1945 годов, он не скрывал своего восхищения моряками, умевшими сражаться и погибать не только мужественно, с достоинством, но еще и красиво. Тем не менее смерть в его рассказах всегда смерть, а не эффектная концовка некоего героического действа. И раны болят, гноятся, а голод и нечеловеческая усталость

таковы, что превышают возможности даже самой выносливой человеческой плоти. Особенно в рассказах и повестях 20-х годов. Там жестокое, страшное так плотно перемешано с высоким и прекрасным, что образуются художественные структуры особой — повышенной — емкости. В этом Лавренев близок Всеволоду Иванову, Артему Веселому, Исааку Бабелю, которые писали о революции тоже на остром стыке высокого и низкого, прекрасного и уродливого. Перечитайте после лавреневских рассказов хотя бы «Конармию» Бабеля — и сразу станут ощутимы связи, соединяющие обоих писателей.

При том что были между ними и глубокие различия: в отношении к слову, к краскам живого разговорного языка эпохи, главное — в восприятии человека, словно бы вздернутого «на шенкеля» историей. И тем не менее в лучших рассказах из этого цикла то же, что и у Лавренева, стремление писать на крепчайших эссенциях, давать время в таких контрастах и на таком колористическом богатстве тонов, что читатель на протяжении всего нескольких страниц текста проходит через несколько эмоциональных сфер. Ему и страшно, и смешно, и горько, и радостно. Он видит жизнь и тех, кто ее тогда делал, и такими, что дух захватывает, когда думаешь о том, на какую высоту подняла их история, и такими неуклюжими, шершавыми, неукладистыми, какими они выходили на ее просторы из душных потемок своей прежней жизни.

Но есть, повторяю, между «Конармией» и рассказами Лавренева и глубокое различие. В «Конармии» действительность увидена глазами человека, потрясенного ее величием, но в то же время еще и так страшно, так жестоко, что между нею и писателем, между его героями и современным читателем невольно возникает некая зона отчуждения. Эмоциональная дистанция, мешающая нам безраздельно слиться с героями большинства рассказов «Конармии». В «Ветре» и «Сорок первом», в «Звездном цвете» и «Коменданте Пушкине» такое слияние происходит на всем пространстве повествования. Даже там, где мы становимся свидетелями нравственного падения Василия Гулявина, которого темная страсть к разгульной атаманше оглушила, лишила чувства революционной бдительности, сделала преступником. Лавренев всегда рядом со своими героями, одинаково сильно и увлеченно любит их и тогда, когда они совершают подвиги, достойные того, чтобы о них слагались легенды, и тогда, когда они бывают смешны, неуклюжи, наивны в своих повадках, взглядах, суждениях. Бабелевский скептический прищур Лавреневу нигде не был свойствен. Он даже о крови пишет так, что его голос на этих страницах не перестает звучать пафосно и гордо. У Бабеля страстность отношения к действительности скрыта за внешним холодом, спрятана в интонации раздумчиво-ироничные, звучащие намеренно отстраненно. У Лавренева, при той же, что и у Бабеля, любви к ситуациям исключительным, сюжетам изысканным в своей необычно-

сти, эта необычность подчеркнута всем звучанием рассказа радостно, изумленно. Цветистостью, расточительной красочностью метафор, теми всплесками открытого страстного лиризма, который так же неотрывен от Лавренева, как неотрывен от Бабеля его всепроницающий скепсис, мудрый, усталый.

Связи Бориса Лавренева с современной ему литературой — во всей их диалектической противоречивости, неоднозначности — пока еще только едва намечены в работах, посвященных автору «Ветра» и «Рассказа о простой вещи». Между тем связи эти глубоки и разнообразны. И, к примеру, закономерность появления в его творчестве такого иронического романа-памфлета, как «Крушение республики Итль», нельзя понять, не поставив его в связь с романами Ильи Эренбурга «Трест Д. Е.», «Любовь Жанны Ней», с пьесами Алексея Файко «Озеро Люль» и «Учитель Бубус», с пьесой А. В. Луначарского «Поджигатели»; романа «Гравюра на дереве» со «Скутаревским» Леонида Леонова и «Братьями» Константина Федина, где главное внимание тоже сосредоточено на проблеме «революция и культура», «революция и интеллигенция».

Внимание к этим проблемам всегда было присуще Лавреневу. Даже в тех его произведениях, где нет персонажей-интеллигентов, они всегда ощущаются, как та подводная часть айсберга, которая, оставаясь невидимой, все же обязательно должна учитываться наблюдателем. В «Рассказе о простой вещи», в «Седьмом спутнике», в «Коменданте Пушкине» она уже определяет основное течение сюжета. Направленность и всех человеческих судеб, и всех авторских раздумий. Но не учитывая эту проблему, нельзя до конца понять и такие лавреневские создания, как «Сорок первый» и «Ветер». Марютка и Василий Гулявин еще далеки от того, чтобы сосредоточиться на ней специально. Им еще не до этого, хотя Марютка уже понимает, что ей предстоит многое познать из того, чего лишила ее прежняя жизнь, чтобы суметь выразить в стихах томящее ее чувство любви к революции, веру в ее жизнетворящую мощь. И все же даже Марютка пока еще отстоит от вопроса об отношении революции к культуре на тысячи верст. Гулявина же эти вопросы если и волнуют, то только отрицательно: как напоминание о чем-то чуждом, органически связанном с тем жизненным строем, который он, Гулявин, твердо решил окончательно и навсегда порушить.

Но так смотрит на вопрос об отношении революции к культуре Василий Гулявин, а не сам Лавренев. Для автора рассказа, наоборот, именно тут и начинается то противоречие, которое так гибельно сказывается на судьбе его героя. Реализм его рассказов и повестей из времен гражданской войны тем ведь и определяется, что острее, тревожнее, чем некоторые другие писатели-современники (Артем Веселый, Александр Малышкин в «Падении Даира», Александр Серафимович в «Железном потоке»), Лавренев еще в 20-е годы задумывался над тем, в чем состоит слабость,

уязвимость того же Василия Гулявина или Евсюкова. Подобно Дмитрию Фурманову, во весь рост поставившему вопрос об «орле с завязанными глазами» — Чапаеве, которому без Клычкова было не понять законы революции и свое место в ней, Лавренев ставит судьбу Гулявина в прямую связь с его отношением к большевику Строеву. Строев для Гулявина то же, что Клычков для Чапаева. Но Чапаев нашел в себе нравственную силу, чтобы понять Клычкова, Гулявин на короткое время вышел из-под влияния Строева. И именно здесь суть, корень его трагедии. Именно здесь истинная кульминация рассказа — идейная и сюжетная. Все, что последует потом,— важно, но только постольку, поскольку позволяет понять, как отозвались на Гулявине гибель Строева, осознание им вины, которая после той ночи легла на него и перед погибшим по его вине комиссаром, и перед самой революцией.

В статьях и книгах, посвященных Лавреневу, обычно много говорится о том, что он воспринимал революцию как стихию, как знойный ветер, пронесшийся над страной и всех опаливший своим жарким дыханием. И еще о том, что Лавренев поэтизировал стихийное начало в революции, не видел, не понимал, что в революции есть свои организующие силы и что без них она была бы просто бунтом, слепым и бесперспективным. Но это не так. Лавренев понимал, видел, что Гулявины без организующего партийного начала всегда рискуют подпасть под власть анархической вольницы, смешать правду революции, ее очистительный огонь с бессмысленной жестокостью и преступлением. Именно эта мысль и вызвала к жизни рассказ «Ветер», именно она и придает огромную типизирующую силу образу Василия Гулявина, его судьбе.

И именно поэтому через три года на смену Гулявину придет Артем Годун — герой знаменитой лавреневской пьесы «Разлом». С его высокоразвитым чувством партийной, революционной дисциплины, с его жаждой знаний, культуры. Гулявин могуч и прекрасен постольку, поскольку в нем олицетворилась, бушует стихийная мощь революции, правильность которой он ощущает не столько разумом, сколько чувством, кожей, всем своим существом. Это же можно сказать и о Годуне. Он тоже плоть от плоти и кровь от крови революции. Но в нем живет и жадное стремление понять — глубоко, исчерпывающе полно — стратегию и смысл происходящего. Октябрь пробудил в нем не только классовое чувство, но и сознание, мысль. Он уже вышел на самый гребень исторической волны и будет расти дальше, потому что силен, велик не только стихийным чувством пролетария, впервые почувствовавшего свои возможности, но и глубиной своей политической, революционной мысли, ее ясностью и зрелостью.

Тема «стихия и революция» исследуется Лавреневым и на других уровнях. В «Сорок первом» она осмысливается как столкновение чувства и долга, как коллизия, возникающая на

исполненном высочайшего трагизма пересечении естественного человеческого чувства со столь же естественным в условиях острейшего противоборства революции и контрреволюции классовым императивом, с ответственностью перед революцией, перед своими собратьями по оружию. В Марютке, смешной, темной девчонке, каждый клочок бумаги, попадающий ей в руки, исписывающей своими нелепыми виршами и горько недоумевающей, почему то, что она чувствует так ярко и сильно, так трудно выразить в поэтической форме, эта коллизия — коллизия простого, естественного чувства, чувства любви к красивому, голубоглазому юноше, с приобретшим силу едва ли не некоего безусловного рефлекса чувством классового долга — обретает на редкость поэтичное и пластически совершенное, естественное выражение. Марютка убивает свою любовь потому, что иного выхода из создавшейся ситуации нет не только в ее сознании, а — объективно. Говоруха-Отрок уходит к белым, чтобы стрелять в братьев Марютки по классу. Такое допустить нельзя, допустить такое значило бы предать революцию, поднявшую Марютку на своей волне. Поэтому то, что Марютка спускает курок, прибавляя к списку убитых ею беляков еще одного, своего сорок первого, только естественно. Иначе она поступить не могла: революция, ее зовы, ее законы много сильнее в ней, чем чувство любви, впервые пробудившейся в ней за дни ее и поручика вынужденной робинзонады на крошечном острове, затерянном среди пучин Аральского моря.

Робинзонады ведь возможны только там, где вокруг тебя пустыня — водная или из сыпучих, промерзших на огромную глубину, безбрежных песков Приаралья.

Но появился в виду острова баркас с белогвардейцами, и робинзонада кончилась. Пришла пора снова стрелять, хотя бы и в свое собственное чувство.

Марютка не знает, никогда не слыхала, что есть такие слова, как гуманизм, любовь к человеку, вечные нравственные императивы и т. п. Предчека Орлов — знает. Он интеллигент, пришедший в партию умом, а не чувством, выведший закон революционного преобразования России, человека путем научного анализа, при свете знания, культуры. Но и он оказывается перед той же коллизией, что и Марютка. Тот безвестный мужичонка, который должен погибнуть за него, Орлова, чтобы он, Орлов, мог продолжать выполнять возложенную на него партией трудную, опасную, но необходимую революции миссию, пробуждает в легендарном предчека, без колебаний подписывавшем смертные приговоры тем, кто был опасен для новой власти, ужас перед необходимостью купить себе жизнь ценой смерти другого человека. Разве не для таких, как этот бедолага, и свершилась революция? Разве не для таких мужиков Орлов изо дня в день посылал «в расход» многоликую контру — колчаковцев и семеновцев, спекулянтов и пышущих злобой недобит-

ков из еще вчера «привилегированных» классов. Этого ведь революция требовала! Требовали неумолимые законы классовой борьбы, достигшей после Октября 17-го года невиданной остроты и напряженности. Но можно ли этими же законами оправдать смерть на виселице ни в чем не виновного крестьянина? Да еще смерть, которую он примет за него, Орлова? Орлову объяснили: можно, надо. Более того, иначе нельзя. Другой выход из создавшейся коллизии был бы предательством по отношению к большевистскому подполью, к партии.

И Орлов отступил перед этой железной логикой классовой борьбы, перед этой не знающей третьих решений революционной альтернативной ситуацией. Но что-то все-таки надломилось в нем при этом. Что-то надорвалось. Потом, в камерах белогвардейской контрразведки он снова будет биться как герой, станет проявлять чудеса отваги и мужества. Но отчего же в таком случае он не выдержал, дрогнул, когда распоясавшийся подлец, завтрашний фашист Соболевский развернул перед ним отвратительную картину мира, где будет господствовать каста избранных, элита, а все остальные люди будут низведены до положения роботов, эдаких манкуртов, человекоподобных существ без памяти и воли, без разума, который будет заменен в них рефлексом слепого повиновения своему господину. Образа манкурта, когда Соболевский развивал перед Орловым свои теории принесения большинства в жертву деспотической воле касты господ, еще не существовало. Он появится десятилетия спустя, уже в наши дни, в повести Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Но, вслушиваясь в похожие на бред параноика речи Соболевского, мы уже выходим на острие проблемы, которая позже претворится в дело, в жизнь гитлеризмом, американцами на полях Вьетнама, израильтянами в Египте и Ливане, расистами в ЮАР. Не от смутного ли, но острого предчувствия такой исторической перспективы вдруг «стомляла» нога у Орлова? И он, умевший с безупречным артистизмом в любых — самых опасных — условиях играть роль французского коммерсанта Леона Кутюрье, выдал себя белогвардейцу-контрразведчику? Может быть, в нем в эту минуту вспыхнули ассоциации, уводящие его далеко за пределы ситуации, обрисованной Соболевским? Может быть, он понял, слушая Соболевского, какая опасность надвигается на гуманистические ценности, взращенные ценой гениальных прозрений лучших умов многих поколений? И как трудно сохранить их, эти ценности, в условиях, в какие поставлен и он, Орлов, чекист, рыцарь великой революции, но вместе с тем еще и человек, вынужденный постоянно проливать кровь?

На эти вопросы нет прямого ответа в повести, но они звучат в сознании ее современного читателя. О Лавреневе издавна повелось писать прежде всего как об изысканном мастере сюжета, умевшем строить действие в своих пьесах и рассказах

(в рассказах даже больше, чем в пьесах) так, как умели это делать только немногие в русской литературе. Но Лавренев был еще и писателем, умевшим выводить своего читателя на острие важнейших проблем — нравственных, философских. А об этом нередко забывают. И зря. Ибо забывать это — значило бы не понять в Лавреневе самого главного, основного!

Характерен с этой точки зрения небольшой по размерам, но удивительно емкий по содержанию, очень сложно задуманный и построенный рассказ «Лотерея мыса Адлер».

О чем он? О судьбе талантливого писателя-декабриста, зажатого в тисках беспощадной к нему истории? Да, и об этом тоже. Бестужев-Марлинский не может жить под гнетом николаевского деспотизма. В гибельных болотах Геленджика ему, измученному лихорадкой, каждодневной опасностью, сознанием бесцельности не только поджидающей его смерти, но и той жизни, на которую он обречен монаршим произволом, будущего нет. Он это понимает. И поэтому решается встать на третий путь. Бороться с всесильным императором нельзя, они, он и его товарищи, попробовали это сделать, но потерпели поражение. В то же время смириться со своей судьбой невозможно. Остается, следовательно, только бежать от себя самого, попытаться начать себя заново. И Марлинский решается на дизертирство. Ему мерещится возможность встать во главе Чечни, вместе с этим гордым и смелым, но отсталым народом продолжить борьбу с деспотизмом, так трагически завершившуюся для него и его друзей там, на Сенатской площади в Петербурге.

Но третьих путей не бывает. Марютка не могла не убить своего сорок первого офицера, Орлов не мог, даже получив приказ из подпольного центра, поступиться в себе чем-то для него лично бесконечно важным и дорогим. Генерал Адамов («Седьмой спутник») не мог не погибнуть под пулями своих собратьев по классу, коль скоро он понял, что дело, которое эти люди защищают,— неправое. Что правда не с ними, а с народом, на сторону которого Адамов перешел, став тем самым врагом своих прежних коллег и товарищей. С Бестужевым-Марлинским происходит то же самое, что и с другими героями писателя, но происходит все же несколько иначе, сложнее и на большем диапазоне противоречий. Бестужев прав, когда отказывается и дальше носить шинель прапорщика армии ненавистного ему Николая. Но, кроме Николая, есть тот старый солдат, который с ужасом и непониманием смотрит на Бестужева, когда он вдруг уходит в сторону неприятеля, есть товарищи по оружию и лишениям, которые никогда бы не смогли ни понять, ни тем более простить Бестужеву его третий выбор. Смерть, которая настигает Бестужева от чеченской пули, когда он пошел на сближение со своими врагами, стала поэтому для него благом. Она скрыла тот ложный выбор, который он сделал, не выдержав гнета своей судьбы. Судьбы талантливо-

го писателя и яркого, значительного человека, гонимого и загнанного в тупик тупой и безжалостной волей истории.

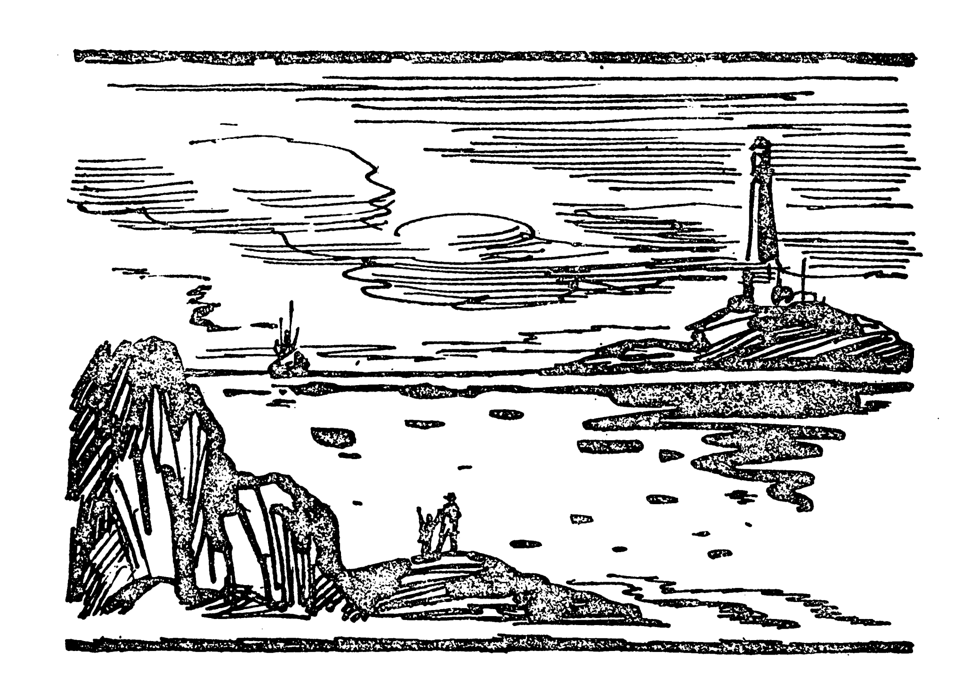
В современном литературоведении есть понятие модельной ситуации. Во времена Лавренева его еще не было. Но он часто строил свои рассказы как модели, позволявшие ему на максимальных сюжетных заострениях, всегда очень эффектных и на пределе эмоциональных, продемонстрировать волнующую его идею.

Иногда такой способ художественного мышления оборачивался в пьесах и рассказах Лавренева дидактичностью, чрезмерной наглядностью, «прописанностью» выводов, а то и откровенными нравоучениями. Так было в пьесах «Мы будем жить», «Голос Америки», даже в пользовавшейся в свое время огромным успехом драме «За тех, кто в море». Так было во многих рассказах военных лет. В этом случае, впрочем, дидактическая однозначность обуславливалась основным заданием, той целью, которую ставил перед собой в годы войны Лавренев. Рассказы сороковых годов, построенные с обычным для Лавренева умением стремительно, споро вести сюжет, развивать повествование энергично, целеустремленно, не теряя времени ни на психологический анализ, ни на подробное выписывание пейзажа, почти целиком сосредоточиваясь на действиях героев, на их поступках, писались ведь с открытым агитационно-пропагандистским заданием. Время этого требовало. Требовала этого и флотская печать, где появились почти все рассказы Лавренева 40-х годов. Агитация, воспитание моряков на положительном патриотическом воинском примере были главной задачей, которую надо было решать Лавреневу — военному журналисту. И, надо отдать ему справедливость, он решал эту задачу с увлечением и искренним писательским жаром, который способен согреть и современного читателя, знающего о войне еще и ту горькую, саднящую правду, какую позже поведали всем нам Василь Быков, Григорий Бакланов, Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов.

В том, что лавреневские рассказы военных лет с интересом читаются и после книг этих писателей, читатели убедятся, познакомившись с двумя рассказами — «Черноморская легенда» и «Разведчик Вихров», помещенными в этом томе.

Борис Андреевич Лавренев прошел в литературе большой, но прямой, никогда не сбивавшийся на обочину путь. Во всем его писательском и человеческом облике была та особая цельность, которая бывает свойственна только людям, избравшим дорогу через жизнь и искусство однажды и навсегда. Он ведь всегда и во всем был *родом из революции.* Как и его любимые герои. Как и все поколение, ею выращенное и ею выдвинутое на авансцену истории, на самую ее стремнину.

Е. Сурков



АВТОБИОГРАФИЯ

По принятому обычаю нормальная биография человека нашей эпохи должна начинаться с анкетных данных и объяснять без умолчаний и недомолвок, чем занимались предки на протяжении последнего столетия.

Во избежание недоразумений сообщаю сразу, что в составе предков у меня не числятся: околоточные надзиратели, жандармские ротмистры, прокуроры военно-окружных судов и министры внутренних дел.

Зато с материнской стороны имеются полковники стрелецкого приказа при Алексее Михайловиче и думные дьяки, ведшие дипломатические переговоры с черкесами при Петре I — Есауловы, и другие воинские люди, в том числе упомянутый во 2-м томе «Крымской войны» академиком Тарле мой дед, командир Еникальской береговой батареи Ксаверий Цеханович. К сожалению, не могу ничего сказать о предках отца, так как, потеряв родителей в возрасте полутора лет, воспитываясь у чужих людей и в интернатах, он семейных преданий не сохранил. Из сказанного можно понять, что особо вредных влияний на формирование моей личности предки не имели.

Я пишу творческую автобиографию, и мне поставлена задача рассказать, как я стал писателем. Поэтому анкетную часть биографии на вышесказанном считаю законченной. Где родился и учил-

ся, на ком женился и есть ли дети — это в биографии писателя ничего не объясняет и не нужно.

Первая моя попытка пройти во врата литературного Эдема относится к лету 1905 года, когда мне было четырнадцать лет. Ошеломленный (иного определения не могу найти) чтением лермонтовского «Демона», я за три каникулярных месяца написал поэму «Люцифер», размером в 1500 строк, чистым, как мне казалось, четырехстопным ямбом. Вложив в тетрадку с переписанной начисто поэмой закладку из георгиевской ленточки для красоты, я отдал ее на суд отцу, преподававшему историю русской литературы, или, по тогдашней номенклатуре, «словесность». Отца я не только любил. С первых сознательных лет я привык глубоко уважать его.

Через несколько дней, вечером, позвав меня в кабинет, отец, указывая на лежащую перед ним поэму, довольно сухо спросил:

— Каким размером это написано?

Я сразу понял, что он не хочет назвать это ни поэмой, ни даже просто стихами, и, облизнув сразу пересохшие губы, робко сказал:

— Четырехстопным ямбом, папа!

— Ты уверен? — усмехнулся отец и после паузы нанес удар: — Это, милый мой, может быть, хромой, колченогий, параличный, но никак не четырехстопный и даже вообще не ямб, а каша.

Я стоял, опустив голову.

— Мыслишки кой-какие воробьиные есть,— мягче сказал отец,— но рано лезть на штурм таких тем. Возьми, спрячь! Вырастешь, сам повеселишься, перечитав.

И, ласково потрепав меня по вихрам, вернул тетрадку.

Но я не захотел веселиться, когда выросту. В ту же ночь я тайком схоронил «Люцифера», завернутого в три слоя золотистой компрессной клеенки, под акацией бульвара. Если за полвека никто не выкопал этого бумажного покойника,— он, вероятно, и сейчас мирно спит на углу бывшей Виттовской и Говардовской улиц. Читая теперь, на склоне лет, некоторые поэмы молодых, но уже маститых поэтов, я сожалею, что пытался начать поэтическую карьеру во время слишком высоких требований к поэзии, к культуре стиха. Ныне, внеся в «Люцифера» кое-какие поправки с учетом идейных запросов современности, я триумфально въехал бы на нем в литературу.

Оскомина от неудачного опыта заставила меня длительное время не пытаться искать взаимности у строгой музы. Хотя микробы стихотворной заразы и обволакивали меня каждое лето, с седьмого класса гимназии и до первых студенческих лет, в поэтической обстановке Чернодолинской экономии графа Мордвинова. Перед моими глазами были два дурных примера: мой одноклассник Коля Бурлюк, младший из знаменитых Бурлюков, и

совсем еще юный, в рваной черной карбонарской шляпе и черном плаще с застежками из золотых львиных голов, похожий на голодного грача Владимир Маяковский. Я с восхищением глядел в рот Коле, когда он, картавя, «бурлюкал» стихи, но старался уберечься от заразы. Для меня, как и для Маяковского, еще не был решен вопрос: вступать ли на тернистый путь поэзии или просто поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества?

Поэтическое вдохновение хлынуло из меня неудержимым потоком в первый год студенчества. Я писал запоем и рвал написанное беспощадно, оставляя жизнь только немногим стихотворениям, относительно которых я был уверен, что отец не спросит меня: каким размером написано это? И весной 1911 года я с душевным содроганием увидел одно из этих стихотворений превращенным в печатный текст нашей газетой «Родной край».

Через год небольшой цикл моих стихов был напечатан в московском альманахе «Жатва», и это было уже моим введением во всероссийский храм литературы.

Обыкновенно принято задавать вопрос: кто из великих писателей оказал наибольшее влияние на становление молодого писателя, кого он считает своим учителем? На этот вопрос я не могу дать определенного ответа. Особых пристрастий у меня не было и нет. В нашей русской литературе я больше всего ценю лермонтовские стихи и лермонтовскую прозу; Льва Толстого, особенно в таких вещах, как «Казаки» и «Хаджи-Мурат»; романы Гончарова, пьесы Чехова, рассказы Бунина, поэзию Александра Блока. Во французской литературе мне дороги имена Стендаля, Флобера, Мериме, Мопассана, Франса. Французскую поэзию, за исключением Верлена, не терплю за ее напыщенность, холодность, лживую наигранность чувств и мыслей. У англичан мне ближе всех несравненный Стивенсон, Диккенс (не весь, лучшей его вещью кажется мне «Повесть о двух городах»), люблю малопопулярного у нас Сетон-Томпсона. От немецкой литературы отворачиваюсь.

Но возвращаюсь к прерванному рассказу о моем литературном пути.

В 1912 году на политическом горизонте мира набухали уже тучи мировой войны, а в русской литературе царил хаос и творился пир во время чумы. Когти двуглавого орла в последних усилиях все туже сдавливали горло стране, душили всякую не казенную и не верноподданническую мысль. России было приказано не думать. Поэты старшего поколения в большинстве приспособились к такой жизни бездумных канареек. Но молодым не думать было трудно, они искали действия. Русская буржуазия, оправясь от испуга 1905 года, напялив на пухлые российские телеса европейские фраки, забавлялась мистико-эротическими «дерзаниями» в своих журналах — «Золотое руно», «Весы», «Аполлон». «Дерзаниям» была грош цена, к ним снисходительно

относилась и даже поощряла их охранка. Российским промышленникам и торгашам сладко дремалось под изысканные ритмы символистских корифеев — Сологубов, Кузминых, Рукавишниковых, Чулковых, Вяч. Ивановых. Хотелось нарушить это животное благополучие, напомнить хрюкающим во сне обывателям, что не так уж давно в Петербурге действовал Совет рабочих депутатов, над Черным морем реял флаг революции на стеньге «Потемкина», а на Пресне, за непрочной защитой баррикад, героически дрались боевики рабочих дружин. Но напоминать об этом легально было немыслимо. Нужно было найти какой-то обходный маневр, чтобы испортить настроение буржуазии, эпатировать ее, расстроить ее беспечное пищеварение.

Тогда и родился и забушевал отечественный футурокубизм в литературе и искусстве. Зарождение этого нового учения я наблюдал своими глазами в той же Черной Долине. Коренастый, неуклюжий, коротконогий Давид Бурлюк, приставив к глазам неразлучный лорнет, стоял перед развешанными по стенам мастерской своими превосходными, немного импрессионистскими пейзажами (один из них и сейчас украшает мой кабинет) и, кривя рот, говорил, что на классических традициях, на серьезной живописи в наше время ни славы, ни капитала не наживешь и что нужно глушить буржуа и обывателя дубиной новизны. Таково было «идейное» обоснование новаторства в литературе и искусстве.

И вскоре на обывателя лавиной обрушились квадраты, окружности, параболы, призмы, пирамиды, четвероногие люди с одним глазом и двуногие лошади с пятью глазами, кое-как намазанные на холстах, вперемежку с вклейками из старых пружин от матрацев, крышками консервных коробок, рыбьими хвостами. В литературных салонах на смену унывно-певучим ритмам зазвучали какофонические созвучия. И впервые в «приличные» лица Рябушинских, Тарасовых, Второвых, Свешниковых и прочих владык жизни Маяковский швырнул ошеломляющие строчки:

А с неба смотрела какая-то дрянь
Величественно, как Лев Толстой.

Фильтрующийся вирус футуризма быстро проник в самые незаметные щели, поражал самых тихих поэтов. Вирус дробился, меняя очертания, маскировался, принимал вид то «эго», то «кубо», то просто футуризма. Вирус сразил и меня. Я нырнул вниз головой в эгофутуристское море.

Этот фантастический период я вспоминаю с нежной грустью и признательностью. Моя практика в лоне эгофутуризма позволяет мне сегодня с несравненным чувством превосходства смотреть на подвиги литературных и художественных «новаторов» Запада. Мне смешно видеть, как эти замшелые провинциалы беспомощно и жалко воскрешают пережитое нами полвека назад, выдавая прелую духовную заваль за новые откровения.

В сентябре прошлого года, будучи в Югославии, я познакомился с поэзией молодого, но уже снискавшего не только славу, но и литературную премию абстракциониста Васко П'опа. Его «программное» стихотворение «Клинья и клещи» оказалось детским лепетом перед шедеврами русских футуристов 1912—1915 годов. Васко П'опа нужно еще много и долго учиться прыгать, чтобы допрыгнуть до таких высот бессмыслицы и абстракции, какие печатались в наших футуристских журналах.

Но в августе 1914 года на мировом горизонте, «весело играя», сошлись тучки двух империалистических коалиций, и грянул гром. Произошло некое духовное землетрясение, которое по-разному отразилось на поэтах. Одни продолжали делать хорошую мину при плохой игре, пытаясь не замечать происходящего и не переставая «дыр-бул-щырять». Другие нежданно из «революционеров духа» превратились в патриотических лакеев, поставляющих стишки для военных лубков. Один из крупных деятелей эгофутуризма, правая рука его шефа Вадима Шершеневича, писал для этих лубков такие вирши:

Опустилось у Вильгельма
Штыковое рыжеусие.
Как узнал лукавый шельма
О боях в Восточной Пруссии.

Опустив на квинту профиль,
Говорит жене Виктории:
Пропадает наш картофель
На отбитой территории...

Это писалось в те дни, когда на территории Восточной Пруссии, спасая французских ростовщиков от немецких стальных магнатов, по приказу некоронованного повелителя России Раймона Пуанкаре, самоотверженно умирал цвет русской гвардии, преданный бездарным командованием и загнанный в топи между Мазурскими озерами.

Значительная часть поэтов, еще не вполне отчетливо понимая масштабы невиданной мировой трагедии, но уже осознав, что к ней надо относиться серьезно,— временно замолчала в растерянности. Особняком в истории футуризма стоял Маяковский. Только он в эти дни поднял «единственный человечий» голос, с поразительной силой прозрения предсказав приход шестнадцатого года в терновом венце революций.

В 1915 году я ушел на войну. То ли во мне заиграла военная жилка стрелецких полковников, то ли просто стало скверно в обстановке тылового распада, но я надолго простился с мирной жизнью, с футуризмом всех формаций.

О войне рассказывать нечего. В 1916 году самым тупым и ограниченным военным деятелям империи стало ясно, что империя идет к концу. Я был на встрече Нового года в одной из артиллерийских бригад Западного фронта. Командир бригады, боевой генерал, перехватил медицинского спирта, сплясал русскую, запел на жалобный глас: «Так жизнь молодая проходит бесследно, а там уже близок конец», целовался со всеми, не исключая денщиков, прислуживавших у стола, и, под занавес, обратился к офицерской молодежи с речью, которую закончил так:

«Прапорщики и прочие фендрики, помяните добром вашего командира, егда через полгода приидет царствие ваше!»

Генерал ошибся в малом. Царствие прапорщиков наступило не через полгода, а через два месяца, но оказалось очень кратковременным и кончилось в октябре 1917 года. Но старика помянули добром и солдаты и офицеры. Он был отличным артиллеристом и порядочным человеком.

Я никогда не жалел и не пожалею о том, что вместе с миллионами простых людей, одетых в серые шинели, прошел сквозь бессмысленный кошмар последней войны царизма. От войны я получил бесценный дар — познание народа.

До войны я, как и огромное большинство русского юношества из интеллигентных семей, имел смутное представление о тех 180 000 000 душ, которые, собственно, и поддерживали жизнь в распухшем и непутевом теле российской империи. С рабочими мне вплотную встречаться не приходилось. Юность моя прошла в тихом южном городе, жизненной базой которого была золотая степная пшеница, уплывавшая в трюмах иностранных пароходов. В городе существовало лишь одно «промышленное предприятие» — кустарная чугунолитейная мастерская Гуревича.

Ближе я знал крестьян. Сталкивался с ними в той же Черной Долине. С некоторыми даже дружил, как с кучером Опанасом, парубком необычайной, буквально античной красоты, буйные кудри которого, казалось, были из темно-бронзовой проволоки. Этим друзьям, приезжая во время каникул, я привозил из города подарки — кожу на сапоги, гармошки, рубахи с вышивками, ситцы на платья дивчатам и жинкам. Зимой в городе получал от них каракули, извещавшие обо всех событиях. О том, что Остап, выпав из саней под сочельник, поломал ногу, а горничная Тетяна родила «байстрюка». Но этим мои связи с народом ограничивались, и, по правде, я знал народ не более некоторых зарубежных мыслителей, писавших о мистической загадке славянской души.

Только на войне я постиг эту «загадочную» душу, в которой не оказалось никакой загадки. Была народная душа придавлена тяжким камнем горя, нищеты и бесправия, но под этим камнем таилась и дремала до времени могучая сила. Была эта забитая душа полна природного благородства, ласки, благодарности, теплой человеческой привязанности ко всякому, кто обходился с ней по-человечески. И жила в ней готовая прорваться жаркая ненависть к угнетателям и неистребимая надежда найти спрятанную от простого люда великую правду, которая яркой звездой взойдет над землей и одарит всех несказанным счастьем.

А вместе с душой народа я узнал и его ясный, честный, безошибочно мудрый ум.

Растворенный в огромной человеческой массе, сжившийся с ней, с ее маленькими радостями и большим горем людей, оторванных от труда, от семей, от земли и брошенных в чертову мясоруб-

ку,— я с отвращением вспоминал мелкую клоунаду футуристических скандалов, мышиную возню литературных стычек. Какими непотребными стали в моем сознании полосатые кофты и размалеванные морды, игры в стихотворные бирюльки перед величием молчаливого, беззаветного и великого ратного подвига народа. О народе на войне и о подлинном лице этой подлой войны мне хотелось рассказать, и весной 1916 года, я написал вещь, которую считаю подлинным началом моего писательского пути,— рассказал «Гала-Петер»[1].

Приехав в командировку в Киев, я сдал рассказ в редакцию проектируемого благотворительного альманаха Земсоюза «Огонь». Рассказ был немного подпорчен ритмической стилизацией прозы под Андрея Белого, но в целом был сильный, острый по теме, резко антивоенный. В редакции его встретили радостно. Но когда гранки попали в цензуру, разразилась катастрофа. Наряд полиции, пришедший в типографию, забрал рукопись и рассыпал набор. Цензор безоговорочно запретил рассказ и, выяснив имя автора, сообщил в штаб фронта о недопустимом направлении моих мыслей. В результате я был направлен в артиллерийскую часть, составленную в основном из штрафованных моряков, которые обслуживали тяжелые морские пушки Кане на Западном фронте. С этого времени началась моя дружба с людьми флота, сорокалетие которой совпадает с сорокалетием Октября.

Рассказ же «Гала-Петер» увидел свет только 1925 году, восстановленный мной отчасти по черновым записям в сохранившемся блокноте, отчасти по памяти. Я и до сих пор люблю этот рассказ даже с его детскими недостатками.

После Октября я поехал на юг навестить своих стариков. Душевное состояние у меня было смутное, в голове сумятица и разброд. Мрачные эксцессы, которые мне пришлось видеть перед Октябрем и после, в первые недели, очень разболтали мне нервы. И в первый же день, зайдя в кабинет отца, я спросил у него совета: что делать и как жить дальше? Может быть, стоит уехать на время за границу и вернуться, когда жизнь наладится? Отец долго молчал, опустив уже поседевшую голову, потом пристально посмотрел мне в глаза и сказал то, что врезалось мне в память от слова до слова:

— Мы русские люди!.. Нельзя нам покидать родную землю. Тебе сейчас кажется, что все рушится, что народ пошел не по тому пути? Вздор! Народ всегда находит правильный путь. Если тебе даже покажется, что твой народ сошел с ума и несется в пропасть,— никогда не становись у него на дороге и не подымай на него руку. Народ удержится хоть на краю бездны и тебя еще удержит... Допустим, ты уедешь! Говоришь — на время, чтобы потом вернуться? А ты уверен, что сможешь вернуться?

---

[1] «Гала-Петер»— швейцарская фирма, поставлявшая прекрасного качества шоколад.

Что народ примет тебя, простив, что ты покинул его в тяжкий час?.. Нет, сын! Никуда с русской земли, хоть бы смерть у тебя за плечом стояла! Жить на чужбине и умирать постыдно!

В глазах у отца блестели слезы. После этого возможно было лишь одно решение — спустя неделю я уехал в Москву.

Первую половину 1918 года я провел в Москве, снова попав в давно покинутую литературную среду. Странной и дикой показалась мне она в это время. Постоянно бывая во всяких литературных притончиках, вроде «Кафе футуристов», «Стойло Пегаса», «Музыкальная табакерка», я с удивлением видел, что мои бывшие друзья и соратники, как французские Бурбоны, ничего не поняли и ничему не научились. Я видел те же клоунские гримасы, эстетские радения, слышал заупокойное чтение лишенных всякой связи с жизнью страны стихов, грызню мелких самолюбий в погоне за эфемерной славой. В этих злачных местах выплывала на поверхность всякая дрянь, вроде бездарного проходимца Кусикова, сына крупного армянского торгаша, который выдавал себя за черкеса и друга легендарного Киквидзе.

Атмосфера литературной Москвы 1918 года была настолько отвратительна для меня, что осенью я ушел с бронепоездом на фронт, штурмовал петлюровский Киев, входил в Крым. В Крыму мы в 1919 году не удержались и в июне под натиском белых откатились на север. По дороге в Киев, на станции Мироновка, меня увидел Наркомвоен Украины Н. И. Подвойский и тут же забрал в свой полевой штаб Начартом. Подвойский проводил решающую операцию по ликвидации банды атамана Зеленого. В последнем бою, при прорыве бандитов через полотно железной дороги у разъезда Карапыши, я был тяжело ранен в ногу, эвакуирован в Москву и по выздоровлении направлен в Ташкент в распоряжение Политотдела Туркфронта.

С этого момента для меня кончилась строевая служба. Я был назначен секретарем редакции, а позднее заместителем редактора фронтовой газеты «Красная звезда». Одновременно работал в «Туркестанской правде», ведя литературный отдел и приложения к газете.

За годы, проведенные в Средней Азии, я написал много небольших газетных новелл, повесть «Ветер» и большие рассказы «Звездный цвет» и «Сорок первый». Иногда еще писал стихи, но в 1923 году окончательно ушел в прозу. В декабре 1923 уехал в Ленинград, демобилизовался и весной 1924 года напечатал в ленинградских журналах «Красный журнал для всех» и «Звезда» последовательно «Звездный цвет», «Ветер» и «Сорок первый».

Эти вещи привели в недоумение и растерянность рапповскую критику того периода. Она длительное время разглядывала меня со всех сторон, пытаясь разрешить загадку, кто же я такой в плане литературно-социального облика? Свой ли «в доску», по принятому жаргону, или подозрительный попутчик? В конце концов схо-

ластический диспут закончился тем, что меня оставили в попутчиках, снисходительно приклеив этикетку «левый». Совершенно по тому же принципу, как в старые времена отличившимся полководцам прибавляли к фамилии почетное прозвище: Румянцев-Задунайский или Паскевич-Эриванский. Против оказанной мне чести я не возражал и проходил в левых попутчиках десять лет, вплоть до мирной кончины РАППа. Проводив его труп на кладбище истории, я остался просто советским писателем. Это меня вполне устраивает.

В 1925 году я впервые попробовал сунуться в драматургию. Две пьесы — «Мятеж» (Большой драматический театр им. Горького в Ленинграде, 1925) и «Кинжал» (Театр МОСПС) — не принесли мне особой радости, но многому научили.

И когда Большой драматический театр предложил мне написать пьесу к 10-летию Октября (одновременно такое же предложение было сделано театром Вахтангова), я приступил к работе над пьесой уже как «взрослый» драматург.

История «Разлома» достаточно широко известна, чтобы на ней останавливаться. По крайней мере три поколения советских зрителей видели пьесу на сценах почти всех театров СССР.

С тех пор мной написано много прозы, публицистики, очерков, пьес. Перечислять все невозможно. Интересующиеся могут поглядеть в библиографические справочники.

Я советский писатель. Всем, что я мог сделать в литературе и что, может быть, еще успею сделать, борясь с возрастом и болезнью,— всем я обязан народу моей родины, ее простым людям, труженикам, бойцам и созидателям. Они учили меня жить и мыслить вместе с ними, они указывали мне дорогу, бережно поддерживали на ухабах, жестко, но дружелюбно наказывали за ошибки.

В литературе, как и в жизни, я не выношу позерства, шаманства, фокусничества, зазнайства. Не люблю, когда писатели носят самих себя, как некие драгоценные сосуды, и не говорят по-человечески, а изрекают и прорицают. Я люблю живой народный язык, берегу его чистоту и борюсь за нее. Мне физически больно слышать изуродованные русские слова: «учеба» вместо «ученье»; «захоронение» вместо «похороны»; «глажка» вместо «глаженье»; «зачитать» вместо «прочитать» или «прочесть». Люди, которые так говорят,— это убийцы великого, могучего, правдивого и свободного русского языка, того языка, на котором так чисто, с такой любовью к его живому звучанию говорил и писал Ленин.

1957

Борис Лавренев



ЗВЕЗДНЫЙ ЦВЕТ

Когда изумрудом зальется передзорное небо над двумя горбами Большого Чимгана и заплещут по нему чуть зримые розовые светы, гора становится темно-синей, резкой, огромной и нависает над мягкой шелковистой тишиной долины.

Ледяной ветер с фирнов[1] закружится над ветками садов, набухшими серыми сердечками почек, сорвет пыльный вихор с растрескавшегося дувала, со свистом пронесется по краснокаменному ложу Чимганки, где по круглым валунам с грохотом катается стальная льдистая вода.

Шарахнется с визгом под шатучий мост и, вырвавшись, ударит в низкую стенку чайханы.

Вздрогнут лайковые стволы тополей, взнесется яркоцветная бахрома паласа на перилах, и откроет воспаленные от анаши глаза зеленобородый чайханщик Ширмамед.

Плотнее запахнет на сморщенной волосатой груди вылинявший халат. Из его дыр клочками торчит побуревшая вата.

И пошевелит железным крючком потухающие уголья в мангале.

Холоден и зол фирновый ветер перед рассветом. Аллах насылает его напомнить старым костям дыхание ангела смерти, живущего там, на горе, между двумя горбами Чимгана.

---

[1] Фирн — зернистый лед высокогорных областей.

Но аллах всемилостив, и не успеет пронестись холодный порыв, как ослепительной полосой заблещут снега на острой грани хребта, и над ней, круглясь, вырастая, торжествуя, уже пылает низкое огромное солнце.

Звонко орут петухи, и из глубины долины, где бьет пенными губами в черные сиениты неукротимый Чирчик, вздымается теплый пар.

Зима доживает последние дни.

Ширмамед садится на коврик лицом к солнцу и долго раскачивается, склоняясь к земле и шепча белыми сухими губами молитвы.

— Митька!

— Що?

— Сидлай ко́ней? По фураж поидемо!

— За́раз!

Из глиняного короба курганчи[1] вылазит, зевая, Митька.

Под приплюснутой богатыркой пепельными спиралями Митькины кудри над бронзово-черным загаром лица.

Глаза у Митьки весенней полой водой днепровской играют, губы налитые, и широченной щелью расплылась над хлястиком шинель на гранитной спине.

Митька, щурясь, идет к коновязям, где шуршат клевером в мягких и влажных губах сытые кони.

Лет Митьке двадцать три, из-под Белой Церкви родом, и зовут его Дмитрий Литвиненко.

Так дома звала ненька и даже не так, а Митро, и так же кликали крутогрудые, крепкотелые девчата на вечерницах.

За два года забыл это Митро, и теперь зовут его: Девятого кавалерийского полка, второго эскадрона, красноармеец Литвиненко.

И не родные степи с золотыми нивами, с запахами полыни, чобра, с серебряными вениками ковыля вокруг курганов, а рыжие срывы скал, облепленные сахаром вечного снега, гудящие по камням потоки и загадочные молчаливые люди, говорящие на ином языке.

Древняя вотчина Тимура, сердце Азии, перекресток путей, приютившая в горячих песках черных пустынь кости всех народов, ходивших по этим путям.

От железных фаланг Искандера до апшеронских стрелков Скобелева.

Но над этим Дмитрию не думать.

Дело его простое.

Конь, винтовка, занятия и по временам лихие стычки с басмачами в теснинах долин Ангрена и Чирчика.

---

[1] Курганча — глинобитная постройка.

Дмитрий седлает двух коней, затягивает подпруги, ласково хлопает по гулким брюхам животин.

— Но-но, балуй!.. Стий смирно!.. Расскакався!.. Выедем, тоди и поскачешь.

Кони оседланы и зануздены. Дмитрий садится на одного, на другого карабкается неуклюжий Ковальчук.

С места они берут рысью, и, желтея в солнечном свете, ползет по кишлачной улице за копытами тяжелая белая лёссовая пыль.

Вспыхивает красками базарная площадь. Сегодня четверг. День базарный, и народу тьма со всех окрестных кишлаков.

Большой базар в Аджикенте. Сквозь толпу протолкаться трудно.

Кони пошли шагом, и Дмитрию слепит глаза водоворот цветного полыханья.

Вот лавка, пестреющая коврами, шелками, вышивками, медью, золотом, серебром, горящими колпачками тюбетеек, сверкающими полосами халатов.

В глубине лавки полумрак. Сквозь дыру в крыше скользящей стрелой падает солнечный луч на мохнатый ворс каратеке[1], и сквозь полумглу горит домокрашеная шерсть алым живым кровяным пятном.

На пороге, поджав ноги в вышитых туфлях, сидит чернобородый в белой, легче пуха, кашемирской чалме.

Пухлые щеки бриты, и сквозь темное золото кожи бьет густая синева. Глаза полузакрыты, спокойны, бесстрашны, и что-то в них такое, чего никогда ни в одних глазах не видал Дмитрий ни в Ольшанке, ни в Белой Церкви, ни в Фастове, ни в самом Киеве, ни даже в кацапской веселой Москве.

Страшно и жутковато смотреть в такие глаза, как в ведьмин омут, и никак за два года не может привыкнуть к ним Дмитрий.

Даже у мертвых сохраняют глаза это выражение непонятной простым русским парням тайны.

Видел как-то Дмитрий убитого басмаческого курбаши[2].

Лежал он, подвернув руку под голову, в траве под орешиной у горной тропинки, откуда сняла его красноармейская пуля. Халат раскрылся на выпуклой груди, белые зубы закусили нижнюю губу, а глаза, широко распяленные смертельной мукой, впились цепко в корень орешины, вздувшийся горбом у щеки.

И в их черных зеркальцах, подернутых уже мутью, была та же спокойная тайна всезнания.

И этого никак не мог понять Дмитрий.

Базар кончился.

Закрутились змеями, завились меж высоких дувалов узкие улочки.

---

[1] Каратеке — сорт текинских ковров, очень ценящийся.
[2] Курбаши — начальник.

Черт их знает, кто их настроил так, но везде и всюду, от малого кишлака до ханской столицы Иски-Маракенда, вьются они ужами, срываются вниз к желтой воде арыков, вползают курбетами на гору, ломаются, корчатся, гнутся, врываются в стены, проскальзывают под кирпичными арками ворот и сами не знают, куда заведет их бестолковый бег.

И всегда мертва, пустынна и безжизненна глиняная полоса дувалов, как глухая стенка тюрьмы.

Ни окна, ни домика на улицу, только глубоко врезанные в стену чинаровые низенькие двери, исполосованные узорами, совместной работой резца мастера и челюстей червя-древоточца.

Не любят правоверные чужого глаза.

Чужой глаз — дурной глаз, и вот от чужого глаза хранят трехтысячелетний уют глиняные толщи дувалов.

Лениво и вразвалку ехали Дмитрий и Ковальчук по улочке.

Дмитрий свернул козью ножку, пыхнул синеватым дымком.

— Ну и земля ж, матери ии кавынька!

— А що? — отозвался Ковальчук.

— Що? Двое рокив живем, як в домовину похованные. Пылюка та забор. А жара яка... А народ...

Дмитрий замолчал и глянул вперед.

Из-за угла дувала бесшумно выплыло на дорогу синевато-серое пятно, бесформенное и жалкое в сверкающем весеннем свете, с черным квадратом наверху.

Увидело едущих и прижалось к стенке.

Когда красноармейцы ехали мимо, пятно совсем влипло в стену, и только колыхалось и билось пугливой дрожью тело под вислыми складками глухой паранджи, и сквозь черную сетку чимбета[1] полыхали бликами испуга черные зрачки глаз, расширенных и остановившихся.

Дмитрий яростно сплюнул.

— Бачив?.. Чи не ж тоби людына? Можно казаты, у нас дома баба, вона, мабуть, и не зовсим людына, а все ж баба,— более ясно выразить свою мысль Дмитрий не смог, но Ковальчук сочувственно кивнул головой.— А це що? Чурбан не чурбан, торба не торба, на мордяке, як решетка в острози — не дай бог парубок загляне. А забалакай з ней, так сама с переляку лужу налье, а тут ця чертовня, як побигне з ножами, так тильки тикай во все четыре ноги, щоб кишок не оставить.

— Необразованность,— лениво сказал Ковальчук,— у их трохи кто грамоте знае, а кто и знае, так тильки бильш молитвы алле писать.

Улочки оборвались, дорога расширилась и шла между рядами талов, уже опушавшихся зеленым пухом.

За талами лиловела, синела, розовела, поблескивала снегами громада Чимганского хребта.

---

[1] Чимбет — волосяная сетка, чадра на лице.

Журчал у дороги, бурля и пенясь, арык.

В таловых ветках чирикала весенняя птаха.

За поворотом дороги открылась фуражная делянка, где стояли копны прошлогоднего клевера.

— Злизай, Трохим, приихалы!

Соскочили с седел, привязали лошадей к придорожному обрубку тала и пошли вязать снопы для нагрузки.

Большой бай Абду-Гаме.

Самая большая, самая богатая лавка в Аджикенте у Абду-Гаме, та самая, мимо которой проезжали Дмитрий с Ковальчуком и где в глубине горел от солнечной стрелы кровяным живым пятном каратеке.

Большой бай Абду-Гаме и ходжа. В молодости с караваном паломников ходил Абду-Гаме в Мекку и Медину поклониться Каабе и гробу пророка.

С тех пор надел чалму — знак своего достоинства.

В тот день, как вернулся он в родной Аджикент, отец молодого ходжи позвал самых уважаемых жителей на роскошный достархан[1].

Дымился янтарем и шипел в котлах жирный плов, высились на блюдах груды яств.

Сушеный урюк, оранжевое золото прозрачной кураги, хризолитовые капли бухарского кишмиша, крупные медовые комки катта-курганского и каршинского, терпкие рубиновые зерна граната, мелкие белые лодочки фисташек с масляным зеленым содержимым, грецкие орехи, виноградный, ореховый, белый, розовый, желтый мед, вяленая прозрачная дыня, засахаренные арбузы, леденцы, дешевые московские конфеты в цветных бумажках, и в тазах пенилась густая снежная масса мишалды[2].

Абду-Гаме сидел, сосредоточенный и важный, на почетном месте, справа от отца, и сам угощал гостей в этот день, отъедая из каждой передаваемой гостю пиалы плов и отпивая чай.

В промежутках важно и медлительно рассказывал о своем путешествии, о городах с бирюзовыми куполами и золотыми мостовыми, о розовых садах долины Евфрата, где на ветках поют бриллиантовые птицы с сапфирными хвостами и в гротах живут крылатые девы, прекрасные, как гурии.

О мертвых пустынях, где гнев аллаха засыпал миллион миллионов гяуров, где по ночам гиены откапывают трупы мертвых и утаскивают их в царство Иблиса, а на идущие караваны нападают дикие люди с собачьими головами и железными телами.

Гости жадно пожирали плов, чавкали, рыгали, ссорились из-за лучших кусков, но слушали внимательно, качая головами и приговаривая с изумленным почтением:

---

[1] Достархан — угощение из восточных сладостей.

[2] Мишалда — особое лакомство из сбитых белков с сахаром.

— Уй-бай?! Ала экбер!

А вскоре отец Абду-Гаме отошел в обитель верных, и ходжа остался обладателем лучших кусков земли под Аджикентом и самой богатой лавки.

Жил он сурово и скромно. Не тратил отцовских денег на страстные пляски нежнобедрых бачей, на птичьи бои, на заклады и все копил и копил.

Двенадцать четок перебрала рука аллаха на ожерелье лет.

Дважды брал жену Абду-Гаме, рождались смуглые коричневые звереныши, крепкие, как орехи, плоды горячих ночей, когда, по словам писания, «переходило крепчайшее семя в чистейшее лоно».

Крепка была рука и воля Абду-Гаме над Аджикентом, и сотни мардекеров и чайрикеров[1] работали на его землях, приносивших тучные урожаи риса и хлопка, и в его садах, клонивших ветви к горячей пахучей азийской земле под сладкою тяжестью плодов.

И когда в городах сероглазые урусы затеяли тамашу, свергли с престола владыку полумира Ак-Падишаха, а потом, осенью, под гул пушек и рокот шайтан-машинок, власть захватили байгуши-оборванцы, объявившие войну богачам и сильным, и разбежались с земель Абду-Гаме батраки и самые земли отняли у Абду-Гаме страшные люди в кожаных куртках, признававшие только одно право, висевшее у них в кобурах на поясе, молча перенес несчастье ходжа.

Остался у него сад и лавка. С этим можно было жить безбедно.

Жизнь в руке аллаха, и если отнял аллах землю — да благословен будет его праведный суд.

Абду-Гаме не верил в долгое царство оборванцев.

Часто сидел со старым муллой у себя в лавке, и однажды мулла рассказал ему мудрую сказку.

— Жила в благословенной столице Тимура, Самарканде, глупая мышь, которую очень хотелось съесть кошке. Но как ни глупа была мышь, она была ловка и увертлива. Кошка стала раздумывать, как бы ей справиться с мышью. И однажды мышь, высунув нос из норки в амбаре, увидала кошку, сидящую на мешке с зерном, в парчовом халате и чалме. Мышь удивилась.

«Уй-бай! — сказала она.— Уважаемая кошка, родная племянница мудрости, скажи, что значит этот твой костюм?»

Кошка повела усом и подняла глаза к небу.

«Я теперь ходжа,— сказала она,— скоро уйду в медресе, где буду проводить время в молитвах о грешном мире перед аллахом. И мне уже больше нельзя есть мяса, а ты можешь сказать всем мышам, что я их больше не трогаю».

---

[1] Мардекеры и чайрикеры — наемные батраки.

Глупая мышь обезумела от радости, заплясала по амбару, крича: «Ура! Ура! Яшасын адалет!»[1]. И, скача, она приблизилась к кошке. Одно мгновение на весах вечности — и кости мыши захрустели на зубах хитрой кошки. Я сказал — праведные да разумеют.

И Абду-Гаме уразумел.

Когда приезжали из города люди в кожаных куртках, собирали народ на митинг на базарной площади и хлестали воздух резкими, пронзительными словами о борьбе и мести, о будущем счастье, Абду-Гаме сидел в лавке, смотрел неподвижными глазами на оратора и на толпу и едва заметно усмехался.

«Одно мгновение на весах вечности... Праведные да разумеют...»

За горами великий афганский эмир, и ему помогает другой Ак-Падишах, иглиз, пушками, ружьями, офицерами, и в бухарских горах собирает рать верных доблестный зять калифа, Энвер.

Мышь бегает, мышь кричит: «Яшасын адалет!»

Миг — и нет мыши.

Абду-Гаме спокоен, и только от пережитого прошла змеистая складка по лбу, и стал он молчалив с домашними.

Суровый приходил с базара и лишнего слова не говорил с женами, а когда слышал в доме трескотню женщин и писк детей, хмурил брови.

Мгновенно все умолкало, и на приветствие жен всегда одно отвечал Абду-Гаме:

— Меньше слов!.. Язык женщины что колокол при дороге. Звонит от всякого ветра.

В прошедшем году взял Абду-Гаме третью жену.

Надоели две первые: состарились, сморщились, согнулись, как корявые стволы саксаула.

А у соседа Карима подросла дочь Мириам.

Еще маленькой девчонкой бегала она по базару, и видел Абду-Гаме детскую рожицу с двумя круглыми блюдами глаз, опушенных мехом загнутых ресниц; рот — цветок граната и смугло-розовые щеки.

А предыдущей весной исполнился Мириам возраст зрелости, и лег на лицо вечной тенью черный чимбет.

И от этого стала сразу таинственной и желанной.

Абду-Гаме послал сватов. Карим, бедняк и неудачник, обезумел от радости породниться с самым богатым баем Аджикента, с ходжой. Скоро условились о калыме, и вошла Мириам маленькими ножками в дом Абду-Гаме.

Было Абду-Гаме тридцать шесть лет, невесте — тринадцать.

И в ночь к испуганной и трепещущей пришел Абду-Гаме, муж и владыка.

Долго рыдала Мириам, и ласково утешали ее старые жены

---

[1] Да здравствует свобода!

Аиль и Зарра, сидя по сторонам и гладя тоненькие плечи, покрытые синяками и укусами.

Не знали они ревности, нет ее в этой стране, и по сморщенным щекам их сбегали слезы. Может быть, вспоминали такие же ночи, испытанные в дни, когда входили они женами в дом Абду-Гаме.

Так же плакали и покорялись.

Но Мириам не покорилась.

И хотя каждой ночью приходил Абду-Гаме и каждой ночью горело воспаленное тело Мириам, она возненавидела Абду-Гаме твердо и неистово.

Но Абду-Гаме ничего не нужно было, кроме тела, которое можно было ощущать под крепкими пальцами, щипать, мять, кусать, вжимать в него свое тело и отдавать ему избытки мужского хотения.

В полдень Дмитрий вышел из огороженного двора курганчи на улицу.

— Куда собрался? — спросил его стоявший у ворот отделенный.

— До базару. Кишмишу купить, халвы.

— Разве разбогател?

— Вчора почту привезли с Ташкента. Батька грошей прислав трохи.

— Что ж, угощаешь?

— А як же, товарищ отделенный. Чайку выпьем.

— Ну, катись!

Дмитрий пошел к базару, насвистывая и загребая сапогами пыль.

Перешел базарную площадь и направился к лавке Абду-Гаме.

Кроме халвы и кишмишу, ему хотелось купить вышитую золотом тюбетейку, к которой давно он приглядывался.

— Отслужу, вернусь в Ольшанку, напялю девчатам на завидки,— не хуже попа в камилавци.

Абду-Гаме сидел, как всегда, поджав ноги, и курил чилим. Булькала в медном, горящем на солнце кувшине вода, хрипел чубук, и клокотал дым в горле курильщика.

Дмитрий подошел.

— Здорово, бай. Як живешь?

Абду-Гаме не спеша выпустил дым.

— Здравствуй, джигит.

— Вот, бачишь, хочу тюбетейку купувать.

— Красивый хочешь сделаться? Жена бирать задумал?

— Ну, бай, це ты заврався. Де тут жинку знайти? Хиба на овце жениться?

— Уй-бай! Такой джигит всякий красавица пойдет.

— Добре... Ты меня сосватай, а поки давай тюбетейку.

— Какой хочешь?

— Самую гарную, щоб в золоти.

Абду-Гаме достал откуда-то из-за спины расшитую бухарскую парчовую тюбетейку, засверкавшую золотыми, зелеными, апельсинными переплесками так, что Дмитрий даже зажмурился.

— Чок-якши,— сказал Абду-Гаме, чуть улыбнувшись.

Дмитрий напялил тюбетейку на голову и достал из кармана осколок зеркальца. Улыбнулся довольно и гордо.

— Гарно! Чистый курбаши!

Абду-Гаме кивнул головой.

— Ну ты, бай, кажи, скильки грошей, та кажи по-божески.

— Егерма-бишь мин сомм[1],— ответил Абду-Гаме, погладив бороду.

— Чи ты сказився?.. Егерма-бишь. Ун мин сомм[2],— бильш не дам.

Абду-Гаме протянул руку, стащил тюбетейку с головы Дмитрия и молча отправил ее за спину.

— Да ты кажи толком, чертяка, скильки? — обозлился Литвиненко.

— Моя сказал.

— Казав!... Языку б твому отсохнуть! Ун ики мин дам, бильше не проси.

— Ун ики? Твоя мала-мала давал. Абду-Гаме баранчук, жена. Кушать надо...

— Кушать, брат, каждому треба,— наставительно ответил Дмитрий.— Скильки хочешь, кажи зáраз?

— Такой джигит,— егерма ики отдам.

— Пшел ты... Сам егерма ики не стоишь!

Дмитрий повернулся и пошел от лавки.

— Джигит!.. Джигит!.. Егерма мин!..

— Ун беш мин, и ни одного гроша...

— Егерма!

— Ун беш!

Солнце палило. Пять раз уходил Дмитрий, и пять раз возвращал его Абду-Гаме. Наконец тюбетейка перешла к Дмитрию за семнадцать тысяч.

Он свернул богатырку, сунул ее в карман, а тюбетейку нахлобучил на затылок.

— Зачем так надевал?.. Так наш не носит. Надвигай вперед.

— Добре, и так гарно. Бувай здоров, бай.

Дмитрий пошел за кишмишом.

Абду-Гаме проводил его взглядом и задумался.

Наставала пора приводить в порядок сад и виноградник. Одному Абду-Гаме не справиться. Жены слабосильны, а дети малы еще.

---

[1] Двадцать пять тысяч рублей.
[2] Десять тысяч.

Нужен один-другой сильный работник.

Но возьмешь работников, тут как раз тебе налоги и другие неприятности с союзом кошчи и уездным советом. А этот джигит здоровенный малый. Ишь какая спина!

Абду-Гаме с удовольствием взглянул на распиравшую гимнастерку спину Дмитрия, пробующего у торговца сладостями халву.

Предложить ему поработать в саду и пообещать фруктов, когда поспеют. Урус джигит голодный, на рисовой каше сидит, он за черешни и урюк пойдет возиться над садом.

Дмитрий расплатился за сласти и шел обратно, придерживая мешочки с кишмишом и халвой.

— Эй-эй!.. Джигит! — позвал Абду-Гаме.

— Що?

— Иди, пожалуйста... Разговаривать будем.

— Ну, якого биса ты балачку завел?

— Пожалуйста, слушай. Моя сад есть, виноград есть. Весна идет, ветки подрезать надо, виноград палки ставить... Хочешь сад работать?.. Когда фрукта поспеет,— кушать будешь даром... черешня, урюк, персик, груш, яблок, виноград. Товарищ достархан давать будешь.

Дмитрий задумался.

—Того... я, брат, дюже занятой. Ось чуешь, джигиту много дила. Винтовка, коняка, ще политчас, про конституцию, про буржуазные препятствия...

Абду-Гаме не понял ни про политчас, ни про буржуазные препятствия, но сказал спокойно:

— Днем занят,— вечером свободна. Времени нимнога. На два час придешь — многа поможешь. Товарищ зови один. Вдвоем работай. Урюк харош, виноград харош.

Дмитрий полузакрыл глаза.

Ему вспомнилась Ольшанка, тихая речка за левадами, черешневый садок в цвету, звенящая песня под вечер, и крестьянское черноземное сердце сжалось и гулко дрогнуло.

Нестерпимо захотелось покопаться в земле, раздавить между пальцами пахучие земляные комья хотя бы этой чужой желтой земли, врезать в нее, податливую, готовую рожать, острое лезвие лопаты.

Он усмехнулся и сказал мечтательно:

— Гарно!.. Подумаю!

— Завтра приходи, ответ говори.

— Добре!

После чаю с халвой Дмитрий лежал на нарах и мечтал об Ольшанке, о леваде, о земле.

Подошел Ковальчук, задававший корму лошадям.

— Що, Митька, засумовав?

Дмитрий быстро повернулся на нарах.

— Стривай, Трохим. Зараз куповав я тюбетейку у бая, и вин предложив, щоб у его в саду поработать. Ветки там подризать, лунки окопать, виноград пидставить. Каже — ввечори часа два с товарищем поработаешь, а затем, як фрукты поспиють, то кушай задарма. Яка твоя думка? Дюже хочется в землице покопаться.

И его губы смялись в застенчивую и робкую улыбку.

Ковальчук похлопал ладонью по толстому колену и неторопливо ответил:

— Що ж!.. Воно гарно бы!.. Я пийшов бы... Тильки, як эскадронный?

— А що? Спросимся! Все одно — по вечерам задарма сидим. Книжок нема; чим нары протирать, то гарнише на працю.

— Ну що ж!

— Так зараз пидем до эскадронного. А то моготы нема!.. Дмитрий не кончил.

С начала этой весны он затосковал и не мог отдать себе отчета, откуда пришла тоска, странное безразличие и лень.

Часто сидел на завалинке курганчи и смотрел на небо — синее, тяжелое, почти чувствуемое на ощупь, на горы, на речку, на долину пустыми светлыми глазами.

Чего ему не хватало, он не мог понять.

Не то родных тихих полей и хаты под вишняком, не то веселых гулянок с гармоникой и песнями, не то ласковых карих глаз, цветной ленты в волосах, певучего смеха и близкого, с нежностью прижимающегося тела.

Но чего-то не хватало...

— Ну, гайда до эскадронного!

Они вышли из курганчи и пошли в чайхану, на балахане которой жил, как скворец в скворечне, эскадронный, товарищ Шляпников.

Товарищ Шляпников сидел на террасе балаханы и строгал из палочек клетку для перепела, которого подарил ему чайханщик Ширмамед.

Он выслушал просьбу Дмитрия и Ковальчука и немедленно разрешил.

— Только, ребята, чтоб без озорства! Избави чего стянуть, или хозяина обидеть. Сами знаете — народ чужой, у него свои обычаи, и мы должны их уважать. В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Приказ по фронту читали?

— На вищо забижать? — ответил Дмитрий.— Мы, товарищ начальник, розумием. А поработать на землице хочется.

—Хорошо... идите! Да когда будут фрукты, так меня не забудьте.

— Спасиби, товарищ начальник!

— Скажите отделенному, что я вам разрешил, чтоб он не препятствовал.

Возвращаясь в курганчу, Ковальчук взглянул на потемневшее небо, потянулся и сказал:

— А гарнесенько в садочку!

На следующий день после обеда Дмитрий с Ковальчуком пошли к Абду-Гаме.

Хозяин встретил их на улице и провел в парадную половину, где шипел в котле плов и стояли сласти.

— Садись, джигит... Покушать надо.

— Дякуем... сыты.

— Садись, садись. Отказать нельзя — хозяину обида!

После казенной похлебки жирный плов был особенно вкусен и приятен.

Ковальчук уплел три пиалы и налился по горло чаем.

После чая Абду-Гаме повел работников в сад, показал им кетмени[1] и научил, как окапывать землю вокруг деревьев.

— Теперь ямка копал, потом ветки резал, виноград палки сажал.

В другом углу сада копались в земле три женские фигуры, закрытые с ног до головы паранджами и чимбетами.

Абду-Гаме сам взял кетмень, и работа закипела.

Ковальчук любопытно поглядывал в угол, где работали женщины.

— Бай, а бай!

— Что?

— Кажи, будь ласков, чого це у вас баба в наморднике ходыть?

Абду-Гаме, продолжая копать, неохотно бросил:

— Закон... Пророк сказал... Женщина должен быть закрыт от чужой глаз. Соблазн нет.

Ковальчук рассмеялся.

— Да... де тут до соблазну? Черт его разбери, що воно в тым мишке? Може, баба, як баба, и молода, а може, стара карга, якой не приведи пид ночь побачить. Пузо расстроишь.

Дмитрий отозвался из-за дерева.

— Це воны с того придумалы, що у их,— бабе двадцать стукнуло — вона як твоя ведьмачка. Спеклась, сморщилась, неначе яблоко печено. Ось их и завешують, щоб замуж сдать. Под намордником муж не разбере, яка харя, а женився — терпи.

Замолчали. С гор тянул легкий ветерок, шуршали ветки тополей вдоль дувала.

Прожужжал между деревьями ранний жук.

Кончили работать, когда смеркалось.

Абду-Гаме проводил работников на улицу, пожал руки.

— Якши работал. Большой спасибо говорил. Якши адам, джигит!

---

[1] Кетмень — сапа, орудие для вспахивания земли.

— До зобачення, бай.

— До свиданья. Приходи завтра, пожалуста.

Ночь оседала над кишлаком прозрачной ультрамариновой холодной пленкой.

Абду-Гаме вернулся из мечети с молитвы и прошел к Мириам.

Нашел ее спокойно спящей под одеялом, сбросил халат, поставил рядом ичиги и полез под одеяло.

Толкнул, разбудил и прилип к влажным губам.

Мириам покорно, безвольно раскрылась мужниному желанию.

Но сегодня больше, чем всегда, была чужой и равнодушной.

— Чего ты, как бревно, лежишь? — шепнул зло Абду-Гаме, толкнув ее в грудь.

— Я больна сегодня,— тихо ответила она.

— Что с тобой?

— Не знаю... Горит тело и какая-то сыпь.

Абду-Гаме испугался. Подумал, что у нее, может быть, черная оспа и она может заразить его. Грубо пнул коленом в живот.

— Ты что ж раньше не сказала?

— Я не успела...

Абду-Гаме зло вылез из-под одеяла и надел ичиги.

Но тело женщины раздразнило его. Он не был удовлетворен и, постояв в раздумье, перешел через дворик в комнату Зарры.

Он уже три года не приходил к ней, и женщина тупо изумилась, когда, не успев проснуться, почувствовала себя взятой.

Мириам же после ухода мужа заложила руки под голову и стала смотреть в дверь на синевший квадратик ночного неба. Золотой каплей дрожала на нем звезда Железный Гвоздь.

Глаза Мириам пристально уперлись в блеск звезды, и вдруг она ахнула и приподнялась на локте. На месте звезды заколыхалась голова в смешной урусской шапке, из-под которой пепельными спиралями вились тугие кольца и полой зеленой водой играли веселые добрые глаза.

Звезда Железный Гвоздь продолжала гореть на шапке, но стала четкой, пятилучевой и ярко-алой.

Мириам испуганно закрыла глаза, почувствовала душные, частые и полные удары сердца.

По телу прошла томительная и нежная дрожь, как будто кто-то коснулся его упругой теплоты мягкими, ласковыми и желанными руками.

Женщина простонала, заломила руки и потянулась телом к золотой капле звезды.

Губы прошептали бесконечно нежное, бесконечно трогательное название.

Потом она откинулась назад, вытянулась в счастливой истоме, повернулась на бок, съежилась в комочек и крепко заснула.

По дворам перекликались предутренние петухи.

Дмитрий и Ковальчук вторую неделю работали в саду.

Деревья были подстрижены, окопаны лунками, стволы понизу обмазаны смесью дегтя и извести.

Нужно было окопать, подрезать и привязать к дугам виноградные лозы.

Над разбухшими почками урюка и черешен уже розовели полураскрытые чашечки цветов.

Кончая работу, Абду-Гаме сказал, положив кетмень:

— Завтра аллах даст хороший день, урюк цветет, черешня цветет. Красиво будет.

Утром сад залился нежно-розовой, воздушной, тающей пеной цветов.

Было воскресенье. Дмитрий пришел с утра один. Ковальчук отправился на пасеку, которую держал в трех верстах бывший военнопленный мадьяр, за медом.

Абду-Гаме уже работал и приветливо кивнул Дмитрию.

Он сделал выгодное дело. Урусы джигиты оказались хорошими и непритязательными работниками.

— Якши!.. Скоро фрукта кушать будем. Бери кетмень, Димитра!

Дмитрий вслед за хозяином стал прокапывать канавку для арыка.

Женщины возились над виноградом.

Мириам прилежно обрезала ножом сухие лозы и изредка мельком взглядывала в сторону, где алела звезда на приплюснутой богатырке Дмитрия.

Внезапно ощутила резкий прилив крови к голове.

Поднялась, ухватилась за палку, подпиравшую виноград, и помутившимися глазами обвела сад.

Розовая пена кипела всюду, и вдруг Мириам показалось, что на ветках урюка и черешен, давно знакомых и простых, не цветы, а алые звезды.

Весь сад ослепительно расцвел алым звездным цветом.

Мириам зашаталась, выронила нож.

Абду-Гаме что-то крикнул ей. Дмитрий поднял голову.

Мириам не ответила.

Абду-Гаме шагнул к жене и опять крикнул повелительно и грубо. Она опять не ответила.

Тогда Абду-Гаме поднял руку и с силой толкнул ее. Она ахнула, опрокинулась на палку, сломала ее телом и упала навзничь.

Абду-Гаме выругался.

Дмитрий вступился.

— Бай, за що бьешь? Не бачишь,— баба зомлила вид сонця. Нездорова!

— Баба должен быть здоров. Баба болен — выгнать надо. Баба сволочь!

— На вищо так? Баба — вона помощныця, треба бабу жалеть и поважать. Поднять треба та побрызгать водицею.

Дмитрий забыл, что он в Аджикенте, а не в Ольшанке, и, зачерпнув в богатырку воды из арыка, направился к лежащей.

Абду-Гаме схватил его за руку.

— Нельзя джигит! Пророк не велел!.. Бросай, пожалуста. Бабы поднимут.

Он крикнул на жен, те подбежали и подняли Мириам, понесли ее к дому.

Дмитрий высвободил руку и с презрением посмотрел в глаза Абду-Гаме.

— Сволочной вы народ, я тоби скажу. Кто бабы не поважае, той сам хуже собаки! Баба, вона нас рожала, мучалась, всю жизнь на нас работае. Хиба ж можно над бабою глузовать?

Абду-Гаме пожал плечами.

Через два дня подрезали виноград.

По одну сторону длинного ряда лоз работали мужчины, по другую женщины.

Проходя по ряду, Дмитрий видел с другой стороны сквозь ветки мелькавшую паранджу, видел маленькие руки, твердо и уверенно работавшие ножом.

«Мабуть, та сама, що зомлила вчора»,— подумал он.

Разобрать их Дмитрий до сих пор не мог. Рост одинаковый, паранджи одинаковые, у всех намордники. Кто их знает, которая?

Ряд кончался.

Дмитрий отрезал кончик сухой лозы, поднял глаза и обомлел. Сквозь редкие веточки сквозило смуглое, залитое нежным румянцем лицо невиданной красоты.

Солнцами сияли влажные миндалевидные глаза и улыбались полные, полумесяцем вырезанные, прекрасные губы.

Протянулась тоненькая рука и трепетно коснулась, как пламя, здоровенной лапы Дмитрия.

Потом палец прижался к губам, метнулся чимбет, упал на лицо, и все кончилось.

Дмитрий поднялся, воткнул нож в палку и долго простоял неподвижный, изумленный, обрадованный.

— Что не работал, джигит? — спросил его подошедший Абду-Гаме.

Дмитрий помолчал.

— Устав трошки... Солнышко дюже грие. Гарно!

— Солнце якши. Солнце аллах сделал. Солнце — добрый, злой одинако греет.

Дмитрий неожиданно зло взглянул на хозяина.

«Да, и тебе, черта, грие... Ишь раздувся, бабу соби зацапав, неначе розочку. Тебе б ще не грило, сукина сына»,— подумал он.

Потом схватил нож и до конца работы резал яростно, сосредоточенно и молча.

В эту ночь на жестких нарах в курганче в духоте и храпе то-

варищей Дмитрий долго не мог заснуть и все вспоминал чудное лицо.

— Така маненька, тоненька, ясочка. Як барвиночек, або вьюночек полевой. И досталась черту черноцапому. Бье небось бидолагу.

И чудное лицо улыбалось ему зовуще и любовно.

Работа близилась к концу.

Еще день — и виноградник готов.

Дмитрию жаль было расстаться с садом.

Все время, подрезая виноград, он украдкой смотрел в сторону женщин — не покажется ли опять незабываемая улыбка.

Но по винограднику двигались смешные живые мешки, закрытые глухими сетками чимбетов, и сквозь них ничего нельзя было рассмотреть.

Уже под вечер Дмитрий очутился в конце виноградника и присел отдохнуть и завернуть цигарку.

Пока зажигал спичку, почувствовал легкое прикосновение на плече и увидел просунувшуюся руку. Быстро повернулся, но чимбет был закрыт.

Только услышал легкий шепот, смешно коверкавший слова чужого языка.

— Молльши, джигит!.. Ночи петух кукурек... дувал знайишь? — Она быстро показала пальцем в сторону пролома в дувале, выходившего на пустырь.

— Ммойя жжидал будит. Джигит жжидал... Абду-Гаме ярамаз шайтан!..[1] Джигит якши!.. Мириам джигит марджя.

Рука слетела с плеча, и Мириам скрылась.

Дмитрий даже ахнуть не успел.

Посмотрел вслед, покачал головой.

— Загвоздочка, елки-палки. Неначе на кохання зове. Цикава дивчина! Як бы не влопалась! На це халява тут. Тыкнуть ножом в пузо — и всё.

Он отбросил цигарку и встал.

Подошел Ковальчук, за ним Абду-Гаме.

— Ну, кончили, хозяин!

— Спасиб. Якши джигит, работник джигит. Приходи урюк кушать, груша кушать. Джигит гость!

Абду-Гаме пожал руки красноармейцам и проводил до выхода.

Красное солнце глотало верхушки далеких тополей на полях.

Дмитрий шел молча, смотрел в землю и раздумывал.

— Митро! Ты опять засумовав?

Дмитрий поднял голову, пожал плечом.

— Бачь, яка загвоздка вышла. Баева жинка мени кохання назначила о пивночи.

---

[1] Паршивый черт.

Ковальчук стал пивнем посреди дороги, икнул от неожиданности.

— Не врешь? Як так?

— А так.— И Дмитрий коротко рассказал.

— Так, так... Що ж ты?

— А сам не знаю ще, що робить?

— Опасно з ими! Проклятущий народец! Без башки можно остаться.

— Ну, того я не боюсь. Може, сам кому голову сдыбаю. Тилько б ей не було худо. А пийти — я пиду, бо вона дуже прохала. Надоив ей, мабуть, черный черт, хуже редьки. Треба бабу уважить.

— Что ж, дай тебе успеха да любви.

— А ты, Ковальчук, не смийся, бо тут не жарт якийнебудь. Чуяв я, що замучилась баба у бая, вроде скота. Человичьей мовы ей треба, щоб побалакать з ей по душам.

— Так як же ты з ей балакать станешь? Она по-русски ни бе ни ме, а ты — по-ихнему.

Дмитрий тряхнул плечом, свистнул и, как бы отгоняя ненужную мысль, сказал:

— Колы кохання, то и слов не треба. Душа душу розумие...

После ужина Дмитрий полежал на нарах, покурил, решительно поднялся и подошел к взводному.

— Товарищ Лукин, одолжи на сегодня нагана.

— Тебе зачем?

— Та позвав мене тут бай один на свадьбу. Так зараз пусти мене погулять, а наган на всякий случай, бо вин за кишлаком в саду живе, ночью вертаться с оружьем способней.

— А если что случится?

— Так коли наган буде, то ничого и не случится. А тильки що ж случиться може, басмачей кругом нема, народ мирный.

— Ну, бери, леший с тобой!

Взводный вытянул из кобуры потрепанный наган и сунул Дмитрию.

Дмитрий посмотрел в барабан, повертел и положил в карман.

В одиннадцать часов он вышел из курганчи и побрел по улице.

Стоял легкий туман, а в нем плавала и колыхалась большая, кривобокая и мутная луна, клонившаяся к закату.

До свидания оставалось ждать добрых два часа.

Дмитрий спустился по узкой улочке к мосту через Чимганку и сел на большом плоском камне у самой воды.

Речка бурлила и кипела полой ледяной водой, хлестала пеной в жерди моста; в воздухе стояли брызги и было мокро и душно от сырости.

Зеленоватым жемчугом переливались снега на Чимганском хребте.

Дмитрий долго сидел, всматриваясь в бегучее кружево водяных струй между камнями, вертевшихся и летевших с неимоверной быстротой, пока у него не закружилась голова.

Далеко из глубины кишлака кукарекнул первый петух.

Дмитрий встал с камня, потянулся и пошел в гору. Перешел вымерший базар. Возле лавок к нему подошла какая-то лошадь, бродившая по площади, ткнулась теплым носом в плечо, обдала пахнущим сеном дыханием и тихо и ласково заржала.

Дмитрий потрепал ее по шее, свернул в знакомую улочку и быстро двинулся к саду.

Сердце с каждым шагом билось гулче и чаще, и в висках стучала кровь, а пересохший язык с трудом ворочался во рту.

Пустырь развернулся справа, темный и таинственный.

Дмитрий шагнул через развалившийся дувал и вдоль линии тополей стал бесшумно пробираться к пролому в сад Абду-Гаме. Пролом зачернел на серой линии дувала рваным пятном.

Против пролома торчал срубленный тополевый пень. Дмитрий уселся на нем, чувствуя странную дрожь во всем теле и сжав в кармане нагревшуюся сталь револьвера.

Опять заорали петухи. Луна совсем ушла за горы, потемнело вокруг, и потянуло холодом.

Шуршали в вершинах деревьев тонкие веточки, и пряно пахли сочные, липкие почки.

Хрустнуло за дувалом. Дмитрий вжался в пень и подался вперед.

Летучая тень метнулась по глине и выросла в проломе. Оглянулась по сторонам, легко прыгнула на пустырь.

— Джигит?..— расслышал Дмитрий дрогнувший шепот.

— Здесь!— ответил он, поднимаясь, и не узнал своего сломавшегося голоса.

Женщина бросилась вперед, и в руках Дмитрия затрепетало дрогнувшее, обжегшее пальцы тело.

Он растерянно, недоумевающе и неумело прижал ее к себе. Зашептал бессвязно:

— Ясочка моя, коханая, дивчина моя любая!

Мириам отклонила голову, взглянула ему в лицо черными, бездонными жаркими колодцами, потом обвила шею руками, приникла щекой к щеке и, захлебываясь, забормотала какие-то нежные, трепетные, волнующие слова.

Три ночи сгорели, как отблеск зари на чимганских снегах.

Дмитрий ходил ошалелый, рассеянный, возбуждая крепкий хохот красноармейцев, кое о чем догадывавшихся.

Но ему не было ни до чего дела, и даже днем, когда он чистил коней, упражнялся в рубке прутьев или слушал рассказ политрука, как умирали люди в далеком Париже, защищая первую коммуну, перед ним вставали бездонные глаза и рубином расцветшие губы и заслоняли все и заглушали все.

А ночью знакомая дорога, пустырь и сладкое ожидание.

И каждой ночью до полуночи, покорная, принимала ненавистные ласки мужа Мириам, закусив до крови в темноте губы.

А когда насытившийся уходил Абду-Гаме на балахану и скоро колыхал камышовые маты его храп, она бесшумно вставала, пробиралась невидимой тенью через виноградник к арыку, тщательно смывала с губ, со щек, с груди, со всего тела следы мужниных объятий.

Набрасывала на освеженное холодной водой, воскрешенное тело тонкую рубашку из маты и бежала к пролому.

И там пила без страха, без сомнений свое ночное счастье с белокурым джигитом, крепким, стыдливым и нежным, шептавшим ей такие же непонятные трогательные слова, какие она шептала ему.

Когда кончилась третья ночь и Мириам пробиралась обратно, проснулась у себя Зарра и вышла в сад за обычной нуждою.

И между деревьями увидела скользящий легкий призрак.

Испугалась сначала — не злой ли джин бродит по саду, чтобы наброситься на нее и унести к Иблису,— но в ту же минуту узнала Мириам.

Покачала головой, вернулась к себе и снова зарылась в одеяло.

А утром рассказала Абду-Гаме о странной встрече.

Не из ревности. Любила и жалела маленькую Мириам, но непорядок. Не должна добрая жена ходить ночью по саду неизвестно куда.

Налился кровью Абду-Гаме, свел брови и сказал:

— Молчи!..

Спустилась четвертая ночь.

Как всегда, ушел к себе на балахану Абду-Гаме и поднялась Мириам.

Но вслед за ней тихо слез с балаханы Абду-Гаме и пополз по винограднику.

Видел, как омывалась Мириам в арыке, как пробежала к пролому и исчезла в нем.

Подполз вплотную и заглянул в пролом.

Кровь ударила в голову, задрожали ноги. Схватился в ярости за печак [1], но вовремя сообразил, что с джигитом дело иметь опасно. У джигита, наверно, есть пистолет, и он убьет Абду-Гаме прежде, чем он успеет добежать до изменницы.

Вгрызся зубами в сухую глину дувала, и по губам проступила пена. Но молчал, застыв в напряженном внимании взбешенного хозяина.

Видел, как прощалась Мириам с джигитом Димитрой, как целовала его, как Димитра пошел по улочке к кишлаку и Мириам смотрела ему вслед.

---

[1] Печак — нож.

Грустно опустила голову и тихо, легко переступая босыми ногами, пошла обратно.

И едва перенесла ногу в пролом, Абду-Гаме молча прыгнул к ней.

Коротко крикнула Мириам, но жесткая ладонь зажала ей рот.

— Вот ты какая жена!.. К неверному урусу ходишь, проклятая тварь... Ты изменила слову пророка... Пусть же будет с тобой по закону пророка... Завтра...

Но Мириам с кошачьей упругостью вырвалась из дубовых рук.

В темноте белыми пятнами засверкали обезумелые от злобы глаза.

— Черт!.. Собака!.. Верблюжий ублюдок, чтоб пропало семя твое и детей твоих, чтоб на него мочились свиньи!.. Ненавижу тебя... проклятого, ненавижу!.. Люблю джигита!.. Убей меня — пока я тебя не убила...

Абду-Гаме отшатнулся в ужасе. В первый раз он слыхал такие слова от женщины. Ни он, ни отец его, ни отец отца не слыхали никогда ничего подобного. Земля поплыла под ногами.

Он беспомощно оглянулся и увидел рядом суковатую длинную палку, подпиравшую виноградные лозы. Хрипнув, вырвал ее из земли и с размаху ударил женщину в бок.

Мириам упала, и тогда Абду-Гаме, замычав быком, стал хлестать ее палкой сверху мерными и размашистыми ударами.

Она сначала стонала, потом затихла.

Абду-Гаме бросил палку и нагнулся к неподвижному телу.

— Довольна, собака?

Но жалко свернувшееся тело вдруг выпрямилось, перевернулось, и Абду-Гаме почувствовал режущую нестерпимую боль в сухожилье, над пяткой левой ноги, куда с неистовой силой врезались зубы Мириам.

Тогда он, охнув от боли, вырвал из-за пояса печак и наотмашь ударил Мириам под грудь. Кровь брызнула ему на руку, тело дрогнуло и забило ногами.

Несколько стонов и тишина.

Абду-Гаме вытер печак о полу халата.

— Лежи, падаль!.. Завтра я вытащу тебя в овраг, и пусть тебя пожрут псы, как негодное мясо!..

Он толкнул тело ногой и, прихрамывая, поплелся к дому.

Уже легкие зеленые узоры выткала заря по синему ковру ночи над горами. Резче чернеет массив, глуше шумит река.

У ворот курганчи веселый часовой, побрякивая карабином, поет про молодость, про борьбу, про мужицкую правду — вполголоса и проникновенно.

Поет и ходит взад и вперед. Час назад вернулся со свидания Дмитрий, хмельной и светлый. Поговорил в воротах с часовым, поделился своим счастьем. И часовому грустно и весело.

Он зевнул, пощупал рукой деревянный столб ворот и снова

пошел в сторону кишлака, но резко остановился, перегнувшись вперед, и быстрым движением вскинул карабин.

Ему показалось, что под дувалом на противоположной стороне что-то ползет.

Дувал в тени, темно, но, кажется, к нему прижалось какое-то серое пятно.

— Хто иде?

Жадно лязгнул затвор.

Молчание... Тяжелое, сырое предрассветное молчание.

— Хто иде? — И голос часового дрогнул и надорвался. Молчание.. Но уже часовому ясно видно, что вдоль дувала медленно и низко ползет... собака не собака и не человек, а нечто бесформенное, расплывающееся на фоне стены.

— Стой! Стрелять буду!— крикнул часовой, нервно ловя пятно на мушку, еле видную в серой мути.

Палец его уже почувствовал упругий упор спуска, как от забора донесло с ветерком явственный стон.

Он опустил карабин.

— Что за хреновина, язви его в душу?.. Як бы стонет?..

Держась настороже, он двинулся к дувалу и, подходя, различил очертания человеческого тела, прижавшегося полусидя к забору.

— Хто такой?

Нет ответа.

Часовой нагнулся и увидел белое, точно мелом намалеванное, лицо с ввалившимися глазами и в разрезе рубашки, сползшей с плеча и залитой чем-то черным, маленькую женскую грудь.

— Баба!.. Вот так оказия!.. Ах ты ж сволочи!

Он выпрямился.

В воздухе, задыхаясь и трепеща, забилась яростная трель свистка.

В курганче зашевелились люди, заговорили, вспыхнул свет, и на улицу высыпали красноармейцы без рубах, в подштанниках, но с винтовками и подвязанными патронными сумками.

— Что?.. Чего свистел?.. Где?.. Кто?..

— Товарищ взводный, идить сюды. Тут баба мертвая!..

Взводный побежал к дувалу, но уже, опережая его, летел Дмитрий, добежал, взглянул и крепко сжал кулаки...

— Заризав-таки, шайтан черногузый,— тихо и взволнованно сказал взводному.

— А кто такая? Чья она?

— Моя, товарищ взводный! Тая самая, с которою я кохався.

Взводный вгляделся в мертвенно-бледное личико у дувала и перевел глаза на твердое лицо Дмитрия.

И у рта взводного, прошедшего германскую войну и трудные годы борьбы, дрогнула складка растерянной жалости.

— Ну!.. Что стали... мощи китайские?.. Нужно отнести ее в курганчу. Может, жива еще... Жаль, фершала нету, уехал, черт

полосатый, за медикаментом... Ну ладно,— политрук маракует. Подымай!

Привыкшие к винтовкам железные руки, как перышко, подхватили Мириам и понесли через дорогу.

В курганче ее уложили на койку взводного.

— Беги кто за политруком! Буди, скажи, нужно раненого перевязать!

Сразу трое бросились за политруком.

— Ребята, расходись, не толпись... Воздуху надо больше!.. Ах, черти!— сказал взводный, нагибаясь с коптилкой над Мириам, и отвернул рубаху на груди.

— Ишь как распорота,— он проследил глазом глубокую рану, тянувшуюся из-под правой груди до ключицы,— промахнулся мерзавец, немного.

— Не помрет, товарищ взводный?— вздрогнув, спросил Дмитрий.

— Зачем помрет?.. Типун на язык! Помереть не помрет, а поболеет. Натворил ты, братец, делов. Теперь насыпет нам товарищ Шляпников соли на хвост чище, чем своей перепелке.

Дмитрий вздохнул, как мех кузнечный выдавил.

— Что, али любил, парень?

— Так як же, товарищ взводный? Я ж не жартував, не силком узяв, а як побачив первый раз, як вона мучится у того черта, бая толстобрюхого, то мене у серце вдарило. Така маненька, така гарненька, неначе пташка в клетке. Жалко стало, и вона мени як жинка, дарма, що я ни слова не понимав, що вона казала, ни вона — що я...

— Где? Кого ранили, какую женщину?— спросил, подходя, политрук.— Что за вздор?

— Не, брат, не вздор, а можно сказать — приключение. Ты, Фома Иваныч, кое-что смыслишь в костоломии, так я тебя приказал позвать, потому фершала нет. Помоги бабе! А то Дмитрий с горя помрет!— подмигнул взводный.

— Девчонка совсем! — сказал политрук, наклоняясь над Мириам.— Ребята, несите сюда воды, лучше кипяченой из куба, пару чистых полотенец да иголку... Ну, ворочайтесь скорей!..

— Что такое?.. Что здесь происходит?..

Это сказал уже сам эскадронный, товарищ Шляпников, разбуженный кем-то из красноармейцев.

Взводный вытянулся и взял под козырек.

— Товарищ начальник, разрешите доложить...

Товарищ Шляпников молча выслушал, смотря исподлобья на взводного, погладил пальцем ус и сказал спокойно:

— Литвиненко на пять суток под арест за ночные отлучки без моего ведома. Вам, товарищ Лукин, объявляю выговор за распущенность взвода и неумение дисциплинировать людей.

Потом товарищ Шляпников повернулся и пошел к выходу.

— Товарищ командир!— окликнул политрук.— А как быть с женщиной?

Шляпников повернулся и задумался.

— Перевяжите и перенесите в околоток. И потом зайдите ко мне утром. Нужно будет поговорить. Знаете, какая история может выйти? Неприятностей не оберешься. И так жизнь каторжная.

Утром кишлак взволновался.

Красноармейцы разболтали на базаре о ночном происшествии.

Узбеки качали головами, мрачнели и сходились к мечети.

Около полудня из мечети вышел мулла в сопровождении толпы народа и двинулся к чайхане.

В чайхане с утра сидели Шляпников и политрук.

Политрук долго и горячо убеждал Шляпникова, что нельзя отдавать Мириам мужу.

— Товарищ Шляпников! Это против всех наших принципов, против коммунистической этики. Раз женщина захотела уйти от мужа, раз она полюбила другого, наш долг встать на ее защиту, особенно здесь. Ведь отдать ее — это значит послать на смерть. Он просто прирежет ее опять. Вы возьмете на свою душу это дело?

— Я знаю... А вы знаете, что, если мы ее удержим,— это возбудит население на сто верст в окружности? Знаете, какая история начнется? Нас с вами загонят куда Макар телят не гонял. Знаете, что такое восточная политика?

— Слушайте, товарищ Шляпников. Я беру это на себя. Я сам отчитаюсь перед партийными организациями, но пустить женщину на зарез я не могу. А потом я говорил сегодня с Литвиненко. Он хороший парень, и тут не простая шутка, не забава от скуки. Он ее любит...

— Как же он, к черту, ее любить может, когда он ни слова по-узбекски, а она ни слова по-русски?

Политрук усмехнулся.

— Ну, для любви слов не нужно!

— Да что он с ней делать будет потом?

— А он просит ее отправить в Ташкент. Я ему пообещал устроить, чтоб ее женотдел под свою руку принял, поместят пока в интернате, обучат по-русски. А Литвиненке скоро в бессрочный, и он говорит, что женится, потому что очень она ему полюбилась.

— Чудеса! Делайте как знаете! Черт с вами! Я с себя всякую ответственность снимаю.

— Товарищ командир! Вас мулла спрашивает,— сказал, входя, дежурный.

— Во!... Начинается. Выкручивайтесь теперь, гвоздь в седало вашей бабушке!— фыркнул эскадронный.

— Выкручусь!.. Не впервой... Зовите его преподобие,— сказал, почесав в вихрастом затылке, политрук.

Мулла вошел степенно и чинно, погладил бороду и поклонился.

— Селям алейкюм. Твоя начальник?

— Вот с ним говори,— ответил эскадронный, ткнув пальцем в политрука.

— Алла экбер... Твоя, товарищ, отдай женщина!

Политрук откинулся на табурете спиной к стене и иронически взглянул в глаза мулле.

— Почему отдать?

— Закон такой... Пророк сказал... Жена — мужу... Муж хозяин. Муж мусульман — жена мусульман. Твоя джигит нехорошо делал, жена у муж отнимал. Ай, нехорошо! Твоя большак закон — наш мусульман закон живет.

— А мы что же, без закона живем?— спросил политрук, не меняя позы.

— Зачем так говоришь?.. Мусульман своя закон — большак своя закон. Твоя большак закон живет, моя своя закон. Отдай женщина.

— А ты в какой стране живешь,— в советской или какой? Или для тебя советский закон необязателен?

— Советский закон — урус, мусульман пророк закон. Шариат живет.

— Что ж, это по шариату жен можно по ночам, как баранов, резать?

— Зачем баран?.. Жена мужа менял... Муж убить может. Пророк сказал.

— Заладила сорока про пророка. Слушай, мулла! Женщина любит нашего красноармейца. Она сама об этом сказала. У нас такой закон советский — кого женщина любит, с тем и живет. А заставить ее жить насильно с нелюбимым никто не может. Женщину мы не отдадим и отправим в Ташкент. Это мое последнее слово. Больше можешь не приходить.

— Мусульман обидишь... Мусульман сердит будет! Народ басмач уйдет!

Политрук открыл рот ответить, но товарищ Шляпников перебил.

При ответе муллы он забыл, что не хотел впутываться в дело. Скулы его сжались, он подошел к мулле вплотную и сказал, цедя слова, тяжело и властно:

— Ты что ж это... басмачеством пугать задумал? Я тебе попугаю. Если хоть один человек из кишлака к басмачам уйдет, я буду считать, что это ты их подбиваешь. А там разговор короток. Мулла не мулла — пожалуй к стенке. Отправляйся в кибитку и всем закажи меня пугать. И если хоть одного красноармейца пальцем тронут — камня на камне от кишлака не оставлю. Марш!

Мулла ушел. Шляпников разозленно ходил по балахане. Политрук расхохотался.

— Что, не выдержала душа?

— Выдержишь с ними!.. Склизни! Трудно тут работать. Косность анафемская и тупость. Всех скрутили, всех заставили

головы склонить, генералов, адмиралов, Антанту, даже махновское кулачье, а этих?.. Сами под их дудку пляшем... Противно даже!

— Да, придется еще поработать. Тут много времени надо, чтобы раскачать, вспахать перегной предрассудков и суеверий. Теперь придется держать ухо востро.

Пять суток высидел Дмитрий в хлевушке, где пахло коровьим навозом и пылью.

На шестые его освободили.

Помывшись и почистившись, он пошел к эскадронному.

— Товарищ командир! Дозвольте побачить Машу!

Шляпников усмехнулся.

— Что ж, ты ее так любишь?..

— Мабуть, що так,— застенчиво улыбнулся Дмитрий.

— Ну, валяй! Но по ночам больше не шляться, а то под суд отдам!

Дмитрий отправился в курганчу, где помещался эскадронный околоток.

На пороге сидел приехавший из Ташкента фельдшер.

— Товарищ фершал! Мне Машу побачить. Эскадронный дозволил.

— Соскучился, рыцарь Личарда? Иди, иди, она тебя тоже спрашивала.

Дмитрий взволнованно перешагнул порог и остановился. Мириам сидела на постели похудевшая, тоненькая, прозрачная. Ресницы ее вздрогнули, распахнулись бабочкиными крыльями, глаза просияли горячим светом, и она протянула Дмитрию здоровую руку.

— Димитра!... Джан!..

Дмитрий неловко подошел к постели, опустился на колени и уткнулся головой в одеяло.

Мириам тихо провела пальцами по его волосам и прошептала несколько ласковых слов.

И не знал Дмитрий как, но сползла и повисла на его кирпичной щеке радостная горячая капелька.

Мириам выздоравливала и уже выходила греться на солнце на дворик околотка.

Дмитрий каждый день приходил в околоток, приносил цветы, набранные в долине Чимганки, сплетал ей венки.

Он приводил с собой красноармейца Уразбая, киргиза, и с его помощью разговаривал с Мириам.

Она охотно согласилась ехать в Ташкент, охотно согласилась уехать с Дмитрием на родину.

И с каждым днем радостнее темнели ее глаза и звонче становился смех.

Эскадрон весь был под знаком любовной истории, и красноармейцы бродили рассеянные, мечтательные и рассказывали друг другу романтические приключения.

Абду-Гаме сидел по-прежнему в своей лавке, суровый и молчаливый, замкнувшийся, и не обращал внимания на перешептывание соседей.

Вечером в воскресенье Мириам проводила Дмитрия до казармы и вернулась в околоток.

Ночь наступала горячая, душная, тяжелая. Над горбами Чимгана ползли черные круглые тучи и полыхали зарницы. Собиралась весенняя гулкая гроза.

Около полуночи Мириам проснулась. В комнате было душно, пахло лекарствами. Ей захотелось подышать воздухом.

Тихонько приподнявшись с кровати, она вышла наружу, перешагнула через спящего на пороге фельдшера и перешла двор.

Свежий ветерок взвихрил пыль и приятно прошелестел по разгоряченному телу.

Мириам вышла за ворота и прислонилась к дувалу, смотря на горы, которые видела в последний раз. Завтра с почтой она должна была уехать в далекий Ташкент, а оттуда с Димитрой еще дальше.

Зарницы полыхали чаще, медленно катался по скатам ласковый гром.

Мириам вдохнула воздух полной грудью и повернулась, чтобы идти обратно, но сразу что-то жестко заткнуло ей рот, сверкнула в воздухе узкая полоска и впилась в горло.

Сдавило грудь, забулькала в гортани хлынувшая черной волной кровь, и она сползла по стенке дувала в пыль.

В глазах поплыли оранжевые круги, и вдруг земля, небо, дувалы, деревья сразу зацвели ослепительным алым звездным цветом, как в ту ночь, когда она впервые увидела Дмитрия, но только неизмеримо прекраснее, неизмеримо пышнее.

Потом потоком хлынула тьма.

Разбуженный хрипом фельдшер бросился к воротам и поднял тревогу.

Сбежались красноармейцы, пришел товарищ Шляпников.

Мириам уже не нужна была помощь.

Нож перерезал шею до позвоночника.

Товарищ Шляпников не зевал.

Патрули немедленно бросились в дом Абду-Гаме и муллы.

Муллу привели. Абду-Гаме исчез...

Жены рассказали, что с вечера к нему пришел отец Мириам, они оседлали лошадей и ночью ушли.

Вернулись, сели на лошадей и умчались, куда — неизвестно.

Муллу пришлось отпустить.

На следующий день похоронили Мириам за окраиной кишлака.

Дмитрий осунулся, побледнел и ходил как незрячий.

Но, когда взгорбатился глиняный холмик над телом, он выпрямился и, стиснув зубы, молча погрозил кулаком по направлению к горам.

Через неделю в долине Ангрена завозились басмачи.

От эскадрона пошла в горы разведка. Один разъезд на юг, другой на восток.

Во втором разъезде пошли Ковальчук, Дмитрий, Уразбай и еще два человека.

Они прошли по горным тропинкам, среди цветущих эремурусов и полыхающих огнем маков, тридцать верст, не встретив противника, заночевали в кишлаке Сой-Тюбе у знакомого узбека.

Утром двинулись в обратный путь.

На спуске у Ангрена пришлось вытянуться в длинную цепочку.

Лошади осторожно скользили по круглым голышам, фыркали и оступались.

Уразбай лениво качался в седле, тянул унылую долгую киргизскую песню, застревавшую в скалах.

Дмитрий ехал понуро и равнодушно и два раза чуть не вылетел из седла, когда конь споткнулся.

— Митро, очухайся! — крикнул Ковальчук

Дмитрий только махнул рукой.

А на другом берегу Ангрена, над серо-зеленым обвалом гранита, упершимся в тропинку, высокое солнце вспыхивало блеском на маленьком сияющем колечке, и колечко шевелилось, вздрагивало и неуклонно поворачивалось за лошадью Дмитрия.

И, когда лошадь вступила на трясущийся мост, сияющее колечко на сотую долю секунды застлалось синеватой пленкой.

Стозвучным отгульем запрыгал по горам выстрел.

Дмитрий поднял руку к шее, выронил поводья и ссунулся с седла на доски моста. Ноги его повисли над бешеным ревом Ангрена.

Но Уразбай одним скачком подлетел и, перегнувшись с седла, оттащил от края моста.

Повернулся и крикнул Ковальчуку:

— Давай ска́чка!

Огретая камчой лошадь Уразбая птицей перелетела мост, но сейчас же хлопнул второй выстрел, и лошадь уткнулась головой в щебень, а Уразбай выкатился комком в сторону.

Ковальчук вынесся вперед, крепко зажав шашку.

Он увидел, как из-за камня карабкается вверх от тропинки, к отвесным скалам, человек в полосатом халате, с винтовкой.

Лошадь, тяжело дыша, карабкалась скачками в гору.

«Догоню, не догоню?» — подумал Ковальчук и свирепо всадил шпоры.

Лошадь рванулась.

Расстояние между человеком и лошадью сокращалось быстрее, чем между человеком и скалами.

Человек понял, обернулся и вскинул винтовку.

Ковальчук зажмурился.

Бах... мимо.

Лошадь в два маха донесла Ковальчука до человека в халате.

Красноармеец сразу узнал откормленное лоснящееся лицо бая, его черную бороду.

Абду-Гаме лихорадочно защелкивал затвор.

Но поднять вторично винтовку не успел, Ковальчук был уже совсем рядом.

Шашка метнулась кверху, Ковальчук перегнулся и крикнул:

— Получай!.. За Митро!.. За Машку!..

И свистнувшая сталь застряла в зубах Абду-Гаме.

. . . .

Дмитрия положили на винтовочных ремнях между двумя лошадьми и повезли в Аджикент.

Приехали вечером, и Ковальчук отправился с рапортом к товарищу Шляпникову.

— Молодец! — сказал эскадронный.

Дмитрия утром на арбе отправили в госпиталь в Ташкент с простреленным легким и без сознания.

Сурова и крепка земля железного хромца Тимура.

Десятки веков не тают снега на упирающихся в небо пиках, десятки веков горячей смертью душат пески неосторожных путников в черных пустынях.

И десятки веков лежат камни на горных тропинках, над ревущими ложами горных потоков.

И люди в стране Тимура как камни — недвижимы и крепки.

И в глазах у них, даже после смерти, каменная неразгадываемая тайна.

Как три тысячи лет назад, стоит над краснокаменным руслом Чимганки приземистая чайхана, и заря, зеленеющая над двумя горбами Большого Чимгана, золотит вековую глину.

И тот же зеленобородый чайханщик Ширмамед кутается по утрам в рваный халат от ледяного ветра, ползущего с фирнов.

И только сады в долинах шестой год процветают по весне ослепительным алым звездным цветом, ширятся, разрастаются, захватывают горные склоны и камни.

И на тучном лёссе, удобренном костями всех народов — от железных фаланг Искандера до апшеронских стрелков Скобелева,— пышен и победен звездный ослепительный цвет.

Ташкент,
1923





ВЕТЕР

(Повесть о днях Василия Гулявина)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТАРАКАН

Позднею осенью над Балтийским морем лохматая проседь туманов, разнузданные взвизги ветра и на черных шеренгах тяжелых валов летучие плюмажи рассыпчатой, ветром вздымаемой пены.

Позднею осенью (третью осень) по тяжелым валам бесшумно скользят плоские, серые, как туман, миноносцы, плюясь клубами сажи из склоненных назад толстых труб, рыскают в мутной зге шторма длинные низкие крейсера с погашенными огнями.

Позднею осенью и зимой над морем мечется неистовствующий беснующийся, пахнущий кровью тревожный ветер войны.

Ледяной липкий студень жадно облизывает борты стальных кораблей, днем и ночью следящих жесткими глазницами пушек за туманным западом, пронизывающих черноту ночей пламенными ударами прожекторов.

В наглухо запертом вражескими минами водоеме беспокойно мечется вместе с ветром обреченный флот.

В наглухо запертых броневых мышеловках мечутся в трехлетней тоске обезумелые люди.

Осень... Ветер... Смятение...

Балтийского флота первой статьи минер Гулявин Василий — и ничего больше.

Что еще читателю от матроса требуется?

А подробности вот.

Скулы каменные торчат желваками и глаза карие с дерзиной. На затылке двумя хвостами бьются черные ленты и спереди через лоб золотом: «Петропавловск». Грудь волосами вразрез голландки, и на ней, в мирное еще время, заезжим японцем наколоты красной и синей тушью две обезьяны, в позе такой — не для дамского деликатного обозрения.

Служба у Гулявина мурыжная, каторжная. Сиди в стальном душном трюме, глубоко под водой, в самом дне корабля, у минного аппарата, и не двинься.

Воняет маслом, кислотами, пироксилином, горелою сталью, и белый шар электрической лампочки в пятьсот свечей прет нахально в глаза.

А что наверху творится — не Гулявино дело. Всадят в дредноут десять снарядов под ватерлинию или мину подпустят, а Гулявин, в трюме засев, и не опомнится, как попадет морскому царю на парадный ужин.

Помнит Василий об этом крепко и от скуки, на мину остромордую сев, часто поет про морского царя и новгородского гостя Садко матерную непристойную песню.

Три года в трюме, три года рядом с минным погребом, где за тонкой стеной заперты сотни пудов гремящего смертного дыха.

С этого и стал пить запоем Василий.

Война... Заливку достать трудно, но есть в Ревеле такая солдатка-колдунья. Денатурат перегонит, и получается прямо райский напиток для самых деликатных шестикрылых серафимов. Одно слово — ханжа.

Но пить опять же нужно с опаской,— потому если, не приведи, в походе пьяное забвение окажешь,— расправа короткая.

В какую ни будь погоду, на каком ни есть ходу привяжут шкертом за руку и пустят за борт на вытрезвление. Купайся до полного блаженства.

Потому и приучился Гулявин пить, как и все прочие, до господ офицеров включительно, по-особенному.

Внутри человек пьян в доску, а снаружи имеет вид монашеской трезвости и соображения даже ничуть не теряет.

Но только от такой умственной натуги и раздвоения организм с точки сворачивает, и бывают у человека совершенно неподходящие для морской службы видения.

И нажил себе Гулявин ханжой большую беду с господином лейтенантом Траубенбергом.

Нож острый гулявинскому сердцу лейтенантовы тараканьи усы.

По ночам даже стали сниться. Заснет Василий, и кажется: лежит он дома, в деревне, на печке, а из-под печки ползет лейтенант на шести лапках и усищами яростно шевелит:

— Ты хоть и минер, хоть и первой статьи, а я тебя насмерть усами защекотать могу, потому что дано мне от морского царя щекотать всех пьяниц.

Рвется Гулявин с печи, а лейтенант тут как тут, на спину насел, усами под мышку — и давай щекотать.

Хохотно!..

Разинув рот, беззвучно хохочет Гулявин, и вот уже нечем дышать, в горле икота, в легких хрип...

Смерть!..

И проснется в холодном поту.

Чего только не делал, чтобы избавиться от тараканьего наваждения. Даже к гадалке персидской ходил в Ревеле, два целковых отдал, рассказал свое горе, но гадалка, помешав кофейную гущу, ответила, что над лейтенантом силы она не имеет, а выходит на картах Василию червонная дама и большая дорога.

Выругал сукой Гулявин гадалку и ушел. Два рубля даром пропало.

И так невтерпеж стало от треклятого сна, что, хватив однажды ангельской ханжи против обычного вдвое, подошел Василий мрачно к лейтенанту на шканцах и сказал, заикаясь:

— Вашскобродие! Явите милость! Перестаньте щекоткой мучить! Мочи моей больше нет!

Свинцовые остзейские лейтенантовы буркалы распялились изумленно на матроса:

— Ты обалдел, осел стоеросовый? Когда я тебя щекочу?

А усы тараканьи сразу дыбом встали.

Пригнулся Гулявин к лейтенантову уху, хитро подмигнул и зашептал:

— Вашскобродие! Я ж таки понимаю, что ежели человек по ночам в таракана оборачивается, значит так ему на роду написано, и злобы на вас у меня нет. Только терпеть нет силы! Пожалейте. Возьмите Кулагина — он вдвое меня здоровее, а меня отпустите на покаяние. Так и помереть можно!

Отскочил Траубенберг и сухим кулаком больно ткнул Гулявина в зубы.

— Пшел вон, мерзавец!.. Ты пьян, как сукин сын! Три наряда вне очереди, месяц без берега.

А Василий утер кровь на губе и сказал сурово:

— Нехорошо, вашскобродие! Я к вам по-человечески, а вы меня в зубы. Как мне это понимать? А вам такие права по уставу полагаются, чтоб матросов щекотать? Я претензию могу заявить. Погоди, со всеми вами разделаемся... гады! — повернулся и пошел на бак.

А лейтенант, взбешенный, побежал к старшему офицеру,

и посадили Гулявина в мокрый подводный карцер на две недели. В карцере, на голых досках ворочаясь, под крысиный писк, возненавидел лейтенанта Гулявин и в темноте зубами скрипел:

— Погоди, тараканья сволочь! Будет и у нас праздник!

В карцере, должно быть, и застудил Гулявин легкие, так что в середине января свезли его на берег, в госпиталь.

В госпитале теплынь и чисть, хорошо, кормили сладкими кашами, но ханжи ни-ни — и достать никак не возможно.

И пожаловался однажды Василий соседу по койке, матросу с «Резвого», которому обе ноги сорвало немецким снарядом.

— Ну и жизнь!.. Выпить человеку не дадут!

Матрос повернул заострившееся лицо (четко белело оно на серой масленой стене, опушенное черной бородкой).

— Меньше пил бы, дурак, умней был бы...

Гулявин вскипел:

— Полундра... черт поддонный! Ты, должно, умный стал, как тебе ноги ободрало?

Сухо усмехнулся матрос.

— У меня одна задница останется и то умней твоей головы будет. Время не такое, чтоб наливаться.

— Какое же такое время, по-твоему?

— Долго, брат, рассказывать... Хочешь, вот почитай лучше,— сунул руку под матрац и вытащил затрепанную книжонку.

Взял Гулявин недоверчиво, прочел заглавие:

«Почему воюют капиталисты, и выгодна и нужна ли война рабочим?»

Сел у окошка и давай читать. Даже в голову ударило сразу, и огляделся по сторонам:

— Одначе... кроют! Чистая буза!

Прочел книжку до конца, и сделалось у него в мозгу прямо смятение.

Ночью, когда спал весь госпиталь, в темноте, сел Гулявин на койку безногого, и безногий звенящим шепотом швырял ему в ухо о войне, о царе, о Гришке-распутнике, о том, как рабочие силу копят, и что ждать уже недолго осталось и скоро дадут барам взашей.

— И офицерье пришить можно будет? — спросил вдруг Василий.

— Всех, брат, пришьем!

— Спасибо, братишка, обрадовал!

И в темноту зимней ночи, свисавшей за окнами, погрозил Гулявин большим кулаком.

С той поры стал безногий давать Гулявину разные книжки, которые приносили ему с воли навещающие...

И жадно, как хмельную обжигающую ханжу, глотал Гулявин неслыханные слова. Многого не понимал, и сосед слабеющим голосом растолковывал непонятное, старательно и долго.

А в первых числах февраля, в полночь, серьезно и тихо умер сосед.

Пришла сестра, сложила ему руки и прикрыла глаза. Потом вышла известить госпитальное начальство.

Гулявин быстро приподнял матрац и выгреб книжонки, перебросив их под свою подушку.

Постоял возле покойника, посмотрел на тонкий прозрачно-желтый нос, нагнулся и крепко поцеловал мертвого в губы.

— Прощай, братишка! Расскажи на том свете матросне, что наша возьмет,— и накрыл сухое лицо простыней.

До середины февраля провалялся еще Василий, а потом комиссия при госпитале дала ему две недели для поправки здоровья.

И решил Гулявин съездить в Питер, к давней зазнобе своей Аннушке, что служила в кухарках у инженера Плахотина, на Бассейной.

«В крайнем разе отъемся на инженеровых бламанжах, и Анка тоже баба не вредная».

Получил после двадцатого февраля документы и, сидя в вагоне, чем ближе подвигался к Питеру, тем больше слышал тревожных разговоров, что неспокойно в столице, бунтуют рабочие, а солдаты не хотят усмирять.

И от этих вестей сердце Василия распирало ребра и не билось, а грохотало тревожно, напряженно и часто.

Над поездом безумствовала и выла февральская злая вьюга.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МЕТЕЛЬНЫЙ ЗАВОРОТ

На Балтийском вокзале, едва слез Гулявин с поезда и вышел на подъезд, навстречу толстомордая тумба городового и растерянная жердь — сухопарый околоточный.

— Эй, матрос! Документы!

Вытащил, показал. Все в порядке.

Околоточный оглядел подозрительно глазными щупальцами и буркнул:

— Проходи прямо домой. По улицам не шляться!

А Гулявин ему обратно любезность:

— Катись колбаской, пока жив, вобла дохлая.

Околоточный только рот раскрыл, а Василий — ходу в толпу.

С узелком с вокзала на извозце (не ходили уже трамваи) приехал к Аннушке. Постучался с черного хода. Открыла Аннушка, обрадовалась изумительно, усадила в натопленной кухне, накормила цыплячьей ногой и муссом яблочным, напоила чаем.

— Слушай, Анка! Выматывай, что в Питере делается!

Аннушка пригнулась поближе. Слушал Гулявин, не слушал — всасывал в себя Аннушкины рассказы. Припомнил лейтенанта.

«Что, взял, тараканья порода?»

На минутку забежала в кухню по делу инженерова племянница, тоненькая барышня. Увидела Василия и к нему:

— Вы матрос, товарищ?

Встал Василий, руки по швам (обращение всякое знал) и ответил:

— Так точно, мадмазель!

— Не знаете, как революция?

— Точно сказать невозможно, но ежели рассуждать по всем обстоятельствам, то без большого столкновения не обойтись.

Разные слова знал Василий и с каждым мог разговаривать. Барышня в комнаты убежала, а Василий, кофею еще попив, пошел за Аннушкой в ее каморку, позади кухни, на широкий, знакомый пуховик.

Но посреди ласк Аннушкиных, жарких и милых, грызла Василию мозг упорная, неотвязная и настойчивая мысль.

И, Аннушкины руки отдернув, сел он на постели в подштанниках одних, крепкий, что камень, и спичку зажег.

— Вася! Ты что?

— Пойду!

— Очумел? Куда средь ночи-то?

— Эх... баба ты! Хоть ты и хорошая баба, а понятия в тебе настоящего нет. Рази порядок на кровати валяться, когда фараонов бить нужно? Иду!

И, решительно встав, зажег Василий лампочку.

Напрасно, прижимаясь пышной грудью, упрашивала Аннушка:

— Что ты, Василий? Куда ж ты, голубчик? Под пули?

Отстранив бабу, Василий сурово, молча оделся и тихонько по черной лестнице вышел.

С трудом пролез, зацепившись хлястиком, в калитку, прихваченную на ночь цепочкой, и очутился на улице.

Нежным желтым трепетом в летящем снегу мерцали высокие фонари, и далеко где-то трахнул раскатистый выстрел.

Василий — на другую сторону улицы и беглым шагом, прижимаясь к домам, побежал легко по тротуару.

. . . .

А спустя полчаса мчался Гулявин по улицам с безусым пухлявым вольнопером в Павловские казармы — солдат выводить.

Что было потом, в течение пяти дней, слабо помнил и даже Аннушке толком не мог рассказать.

Только и помнилось.

На Морской с чердака шестиэтажного дома трещал пулемет, и пули с визгом косили все живое на улице. Звеня, сыпались стекла магазинных витрин.

Сюда налетел Гулявин с командой солдат и студентов на трехтонном грузовике.

Хлестнуло свинцом по машине, и со стоном схватился за

пробитую голову, сронив винтовку, синеглазый студентик-горняк.

Побледнел Василий.

— Ах ты, черти подводные! Ребят бить. Становь машину под дом!

Грузовик выперся на тротуар у стены.

Соскочил Гулявин.

— Давай желающих три человека, фараона снимать!

Вышли черный, схожий с водяным жуком, солдат-ополченец, шофер и рябой рабочий.

Гулявин к воротам и остальным на ходу:

— Братва... За мной!

По черному ходу, по лестнице с запахом кухонь (Аннушку вспомнил Гулявин) наверх, на чердак.

Дверь заперта. Прикладом... Еще... Доски с треском разверзлись, и душная мгла чердака другим, револьверным, ответила треском.

В проломе двери застрял упавший рабочий, а Гулявин одним прыжком через него и, вскинув наган в темноту: трах...трах...

Мимо уха зыкнула пуля, вперед ринулся черный солдат, и сейчас же с шипением вошел штык в сукно серой шинели плотного пристава.

Пулеметчик-городовой обернул иссиня-белое лицо и, стуча зубами от страху, крикнул:

— Сдаюсь!.. Не бейте!..— Но удар прикладом в затылок бросил его на задок пулемета.

Взглянул на лежащих Гулявин.

— Тащи на крышу! Пустим летать!

Сквозь слуховое окно протащили на снежную крышу, раскачали пристава и через решетку — вниз. Три раза перевернулся в воздухе серой шинелью, и... мозги розово-желтыми брызгами разлетелись по желтому петербургскому снегу.

Пулеметчик очнулся, отбивался, кричал, кусал за пальцы, но Гулявин схватил поперек, перегнулся через перила и разжал руки. Глухо ударилось тело, а Гулявин в исступлении кулаком себе в грудь и во весь голос:

— О-го-го-го-го!..

Второе было в зале Таврического дворца. Толстый Родзянко, с дрожащей челюстью, вылез мокрым тюленем держать речь к пришедшим в Думу войскам.

Слова были жалкие, растерянные, прилипали к стенам, но Гулявину вчуже казалось, что горит в них весь огонь бунта и злобы, который трепетал в его сердце, и когда сказал Родзянко:

— Солдаты! Мы — граждане свободной страны. Умрем за свободу! — в напряженной тишине гаркнул Василий:

— Полундра! Правильно, толстозадый!

Остальное слилось в багровый туман пожаров, стрельбы, алых полотен, песен, бешеной гонки по улицам на автомобилях, криков, свиста, бессонницы.

Опомнился только на шестой день, когда сел в зале на дубовое кресло с мандатом в руке, а в мандате прописано:

«Предъявитель сего минер товарищ Гулявин, Василий Артемьевич, есть действительно революционный матросский депутат от первого флотского экипажа, что и удостоверяется».

И начались для Гулявина странные дни.

Прошлое отошло в свинцовый туман, закрылось вуалью, а на смену ему — голосования, вопросы, фракции, восьмичасовой день, парламентарность, аграрный вопрос, учредиловка, меньшевики, большевики, эсеры, загадочный Ленин, ноты, аннексии, контрибуции, братство народов, Софья с крестом на проливах, митинги, демонстрации,— и все жадно глотала голова; под вечер нестерпимо болели виски от неслыханных слов, и зубрил Гулявин словарь политических слов, взятый у одного члена совета.

А по ночам опять стал сниться лейтенант Траубенберг. Выползая из-под печки, усами грозился:

«Хоть ты теперь и депутат, а я тебя до смерти защекочу. Моя власть над тобою до гроба. Гадалка не помогла, и совет не поможет».

Просыпался Василий с криком и тревожил сладко спящую Аннушку. Жил у Аннушки на правах депутата, и инженер Плахотин весьма доволен был и гостям приходившим хвастался:

— А у нас депутат матросский на кухне живет. Герой! Трех полицейских ухлопал!

И гости, заходя в кухню, как бы ненароком, смотрели на Гулявина и ласково с ним разговаривали, а один спичечный фабрикант расплакался даже и сторублевку дал:

— Я, товарищ матрос, вас уважаю, как народного самородка и освободителя родины от царского гнета. Возьмите на революцию!

Взял Гулявин. Купил на эти деньги Аннушке шарф шелковый и ботинки самого американского шевро (разве Аннушка революции не на пользу?), а остальные семьдесят прокутил.

А через три дня разделался и с тараканьим кошмаром.

Шел ночью через Измайловский полк с митинга, увидел впереди себя худую фигуру в черном пальто без погон и при свете фонаря разглядел лейтенанта Траубенберга.

В революцию сбежал лейтенант с «Петропавловска» и прятался в Петербурге у тетки.

Залило глаза Гулявину черной матросской злобой.

Кошкой пошел, неслышно ступая, за лейтенантом.

Траубенберг дошел до подъезда, оглянулся и мышкою в дверь, а кошка-Гулявин — за ним.

На второй площадке догнал лейтенанта.

— Что, господин лейтенант?.. Не послушали добром?.. Теперь прикончу я тараканьи штуки-то ваши!

Траубенберг открыл рот, как вытащенный на сушу судак, и не мог ничего сказать. Минуту смотрели одни в другие глаза:

мутные — лейтенантовы, яростные — матросские. Потом шевельнул лейтенант губой, ощерились усы, и показалось Василию — бросится сейчас щекотать.

Отшатнулся с криком, схватился за пояс, и глубоко вошел под ребро лейтенанту финский матросский нож.

Захлюпав горлом, сел Траубенберг на ступеньку, а Василий, стуча зубами,— по лестнице и бегом домой.

Раздеваясь, увидал, что кровью густо залипла ладонь.

Аннушка испугалась, затряслась, и ей рассказал Василий, дрожа, как убил лейтенанта.

Аннушка плакала.

— Жалко, Васенька! Все ж человек!

Сам чуял Василий, что неладно вышло, но махнул рукой и сказал гневно:

— Нечего жалеть!.. Тараканье проклятое!.. От них вся пакость на свете. К тому же с корабля сбежал, и все одно как изменник народу.

Повернулся к стене, долго не мог заснуть, выпил воды, наконец захрапел, и во сне уже не приходил Траубенберг мучить тараканьим кошмаром.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КОЛЛИЗИЯ ПРИНЦИПОВ

В июне знал уже Василий много слов политических и объяснить мог досконально, почему Керенский и прочие — сволочи и зачем трудящемуся человеку не нужно мира с Дарданеллами и контрибуциями.

Внимательно учился революции, и открывалась она перед ним во всю свою необъятную ширь, как дикая степь в майских зорях.

А в совете записался Василий во фракцию большевиков.

Самые правильные люди, без путаницы.

Земля крестьянам, фабрики рабочим, буржуев в ящик, народы — братья, немедленный мир и никакой Софьи с крестом.

Самое главное, что люди не с кондачка работают, а на твердой ноге.

Только вот говорить с народом никак не мог научиться Гулявин так, чтоб до костей прошибало.

И очень завидовал товарищу Ленину.

В белозальном дворце балерины Кшесинской не раз слыхал, как говорил лысоватый, в коротком пиджаке, простецкий,— как будто отец родной с детишками,— человек с буравящими душу глазами, поблескивавшими поволжскою хитрецой.

Кряжистый, крепкий, бросал не слова,— куски чугуна, в людское море, мерно выбрасывая вперед короткую крепкую руку.

И всегда, слушая, чуял Гулявин, как по самому черепу лупят комья чугунных слов, и зажигался от них темною яростью,

жаждой боя, и отдавался дыханию пламенеющего вихря. Уходя же, думал: «Вот бы так говорить! За такими словами весь мир на стенку полезет».

Дома разладилось у Гулявина.

Инженер Плахотин, Аннушкин барин, узнал, что Василий в большевики записался, и озлился. Зашел в кухню, но уже руки не подал, под визитку спрятал и, качаясь на пухленьких ножках, сказал:

— Прошу вас, товарищ, мою квартиру покинуть, потому что я в вас обманулся. Думал, вы народный герой, а вы просто несознательный элемент, и к тому же немецкий шпион. А у меня в квартире жена министра бывает, и сам я кадетской партии, так как бы не вышло коллизии принципов.

Удивить думал принципами. А Василий в ответ:

— Насчет принципов — мы это дело оставим, а вот ты мне скажи... почему я немецкий шпион? Чей я шпион? Ты мне платил, сукин сын?

Инженер отскочил на полкухни и в Василия пальцем:

— Вон отсюда, хам неумытый!

Затрясся Гулявин, от злобы почернел, шагнул и кулаком смоленым по румяной инженерской щеке.

— Растудыт твою! Ты мне платил? Получай задаток обратно!

Плахотин платочком скулу прижал и в комнату бегом, а Василий напялил бескозырку на лоб, взял сундучок под мышку и в совет к коменданту.

— Приюти, товарищ, где можно, потому столкновение вышло между народом и интеллигенцией, и вот я без каюты.

Отвел комендант маленькую комнату под лестницей, с красным атласным диваном, и зажил Василий самостоятельно.

Жизнь кружит. Днем по митингам, по командам, дела разбирать, агитацию разводить.

Один день за советы, другой против проливов, за братанье, против министров-капиталистов, потом еще всякие комиссии, а скоро начали по заводам обучать рабочих орудовать винтовкой в Красной гвардии.

За день намается Гулявин — и к себе на атласный диван. Диван короткий, и пружины, как штыки, торчат, всю ночь вертеться приходится.

Если подумать — буржую на пуховой постели рядом с пухлой булкой-женой лучше, конечно, чем Гулявину на коротком диване, вдобавок без Аннушки, да как вспомнишь, что у буржуя совесть нечиста, по спине мурашки и в сердце дрожание, то, пожалуй, на диване и лучше.

К июлю скверно стало работать.

Совсем кадеты осатанели, того и гляди посадят в кутузку, потому что вышел приказ правительства за Керенской подписью, что Ленин под пломбой приехал в мясном вагоне и

Россию продал за двадцать миллионов керенками и все большевики свободе изменники.

На митингах разные гады из углов шипят и криком норовят речи сорвать, а на Знаменской позавчера так палкой по черепу Гулявина двинули, что в глазах потемнело.

Обидно Василию.

Идет по Невскому вечером с митинга, а кругом разодетые, в шляпках и котелках, а из-под котелков в три складки жирно свисают затылки.

Дать бы по затылку, чтоб голова на живот завернулась.

Плюнет с горя Гулявин и идет через мост к академии, где в ледяную черную невскую воду смотрят древние сфинксы истомой длинно прорезанных глаз, навеки напоенных африканским томительным зноем.

Сядет на ступеньку. Под ногами мерно шуршит вода, и свивается в космы над рекою легкий туман.

Смотрит Гулявин, и вот уплывают в облака шпицы, дома, мосты, барки на реке, и нет уже города.

И не было его никогда.

Мгновенное безумие бредовой мечты бронзового строителя — и волей бреда на топях черных болот, на торфяной зыби, приюте болотных чертей, сами собой встали граниты, обрубились кубами, громоздясь в громады стройных домов по линиям ровных проспектов, по каналам, Мойкам, Фонтанкам. Дворцы и казармы, казармы и дворцы. По ранжиру, под медный окрик сержанта Питера, в ряды, в шеренги, в роты, по кровавой дыбящей воле, построились, задышали желтым отравленным дымом, населились людскими прозрачными призраками, зажглись призраками не сущих огней. По Неве, по каналам призраки мачт на призрачных шкунах, на призраках волн. Из-за зубчатых призрачных стен на город щерятся призраки пушек. И тень часового с тенью ружья на плече одиноко в ночи проходит по бастионам, и слышит Россия окрик команды: «Слу-уша-а-ай!» И в мрачных тенях мрачных дворцов меняются тени сказочных царей. Черная жизнь черных призраков. Насилие, кровь, удушье, шпицрутены, казни, ссылка, отрава... И призрачной белой ночью на Сенатскую площадь приходит курносый призрак, с пробитым виском и туго стянутой шарфом шеей, и, высунув синий язык, дразнит медный призрак Строителя, а вокруг ведут хоровод пять теней в александровских тесных мундирах, также высунув языки в смертной гримасе.

Нет Петербурга! Нет и не было!

Был бред, золотая мечта новорожденной империи о Европе, о двери, широко открытой в ослепительный мир, зовущий императорскими маршами и громом побед.

Но вокруг гранитной мечты, построенной в роты, вырастал понемногу грозной реальностью из бетона, железа и стали, в душ-

ной копоти, в адских огнях, в металлическом громе и рокоте строй кирпичных грохочущих зданий, где согнанные рабы молча ковали силу и мощь империи призраков. И в визге станков, свисте приводных ремней, лязге молотов, радуге молний бессемеровых груш, под гигантскими лапами кранов, в зареве, взмывавшем до звезд, рабы плавили в горнах металл и копили шлаком в сердцах оседавшие ненависть и гнев. И из города-призрака приходили в город реальности неизвестные люди с книжками и словами, полными отравы и гнева. Тогда зажигались глаза у горнов мечтой и восторгом. А наутро на стенах белели листки со словами, пылавшими кровью. Взывали гудки, и рабы, толпами в тысячи тысяч, шли к сердцу города-призрака; смертной вестью лился гул бунта, и струями свинца заливались толпы до нового бунта, пока ветром осенним, тугим и упругим октябрьским штормом не был развеян призрачный мир удушья и впервые в истории в одно слились оба города.

Нет Петербурга... Есть город октябрьского ветра...

Долго сидит Гулявин, и в матросских упрямых глазах бегают желтые огоньки, и мысли буравит все то же: «Землю всю перестроить надо. По-настоящему. По-правильному, чтобы навсегда без войн, без царей, без буржуев обойтись! Ленин башковит! Как это у него выходит? Ничего не потеряем, кроме цепей, а получим всю землю».

И от этой мысли захватывало дыхание.

Видел перед собою всю землю, большую, круглую, плодоносную, залитую солнцем, мир бесконечный, богатый, широкий, и мир этот для него, Гулявина, и прочих Гулявиных, и когда бросал взгляд на свои смоленые руки, казалось, что на них слабо звенят ослабевшие цепи.

Нажать разок — и лопнут, и нет их.

Вставал лениво и шел в совет на атласный диван.

По дороге окликали гулящие барышни:

— Кавалер! Дай папироску!

— Матросик, пойдем со мной!

Но хмуро теперь смотрел на них Гулявин и мрачно ругался в ответ. Не до баб было.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВЕТРОВОЙ ИЮЛЬ

Июль был душным, тяжелым и ветреным.

Хлестало ветровыми плетьми по граниту, носило на мостовых едкую, горькую пыль, забивало глаза, стискивало горло.

Рождали ветры смятение и глухую бурлящую ярость.

Гарнизон Петербурга — солдаты, матросы, рабочие — почувствовал впервые свою силу перед лицом актеров, неврастеников и адвокатов.

Уже не программа требовала — бушевала блестками молний стихия, и в раскаленном воздухе дышали ветры и грозы.

И с утра поползли по улицам, ощетинясь штыками, волоча тупорылые пулеметы, полки, отряды, толпы, шеренги.

Понеслись, рыча, по проспектам грузовики, а над грузовиками шуршащие страстью и местью шелка:

ДОЛОЙ МИНИСТРОВ-КАПИТАЛИСТОВ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕМЕДЛЕННЫЙ МИР!

А по тротуарам толпилось разодетое море, и на лицах, сквозь зеленую бледность и злобу, ползали презрительные усмешки.

— Хамье на престол всходит!

— Взлупят!

— Давно не пороли! Спины зажили, вот и дурачатся!

Дурачатся?

А если у Гулявина и тысячи Гулявиных не сердце — уголь жаркий в груди и жжет и палит гневом и вековою наросшею ненавистью?

Но в душном лете расплавился, рассосался призрак восстания.

И как хрупкий снег петербургской зимы некогда впитал без остатка безумную кровь декабристов и январскую рабочую кровь, так в июле мягкий асфальт и раскаленные торцы выпили большевистскую.

Среди дня на Литейном, на Гороховой зарокотала стрельба неизвестно откуда. Пулеметы посыпали улицы свистящим свинцом, и на мостовой забились тела в предсмертных конвульсиях.

С панелей, по домам, в подворотни, теряя палки и шляпы, метнулось разодетое стадо с воплями, с воем, давя друг друга.

А на смену ему из-за всех углов юнкера, офицеры, ударники.

Эти твердо знали, что делать, и работали по плану, гладко.

На перекрестках задерживали автомобили и демонстрантов, отнимали знамена, винтовки и пулеметы, уводили в подворотни и тяжело били окованными концами прикладов.

И видел Василий, носясь на грузовике, что со всем гневом и яростью ничего не сделать, потому что не видать командира.

А какой же бой без командира, без штаба, когда никто не знает, что делать, куда идти?

Главное дело — организация.

Вспомнил, как Ленин во дворце говорил:

— Товарищи! Наша сила в организованности!

Где же организованность?

Чуть вынесся грузовик на Литейный — прямо напротив казаки конные цепью, винтовками щелкают.

— Стой... Стой, ироды!

Шофер прет напором.

Треснули винтовки, свалился шофер, и грузовик — с размаху в витрину булочной, разбрызгав стекла.

А с грузовика, обозлясь, матросы из наганов и браунингов по казакам и:

— тах

— пах

— тах

— тах.

Но казаки уже рядом, и лезут в машину лошадиные пенные морды.

— Слазь... песьи фляки!

— Большевицкие морды!

— Шпиёны!

Окружили и тащат с грузовика за что ни попало.

Изловчился Василий, прыгнул на тротуар и побежал, пригибаясь, к переулочку.

А сзади донская кобыла по торцам:

— цоп

— цоп.

Оглянулся на бегу: скачет черный сухонький офицерик и шашку заносит.

На ходу поднял Василий наган и —

трах!

Промазал... Над головой жарким дыханием метнулась злая кобылья морда. Свистнула шашка, в затылок резнула несносная боль, а торцы мостовой стали сразу огромными, близкими и с силой влипли в лицо.

Очнулся Гулявин в чужой квартире. Подобрали какие-то курсистки, пожалели.

И середь буржуев добрые люди бывают.

Лежал в столовой на оттоманке, а хозяйский сын, студент-медик, забинтовывал голову.

Увидел, что Василий открыл глаза, и сказал, присвистнув:

— Фуражка спасла. Не будь фуражки — пропасть бы башке! — И добавил нравоучительно: — Нехорошо бунтовать! Верите всяким немецким наемникам.

Помрачнел Гулявин. Встал, шатаясь, с оттоманки, поднял с пола надвое распластанную, залитую кровью бескозырку.

— Что помогли — на том спасибо. А насчет бунта, так это еще не все. Дальше чище будет! Только не моя уже башка пропадет! Прощайте!

И вышел.

Но, придя в совет, почувствовал себя плохо от потери крови, и пришлось поехать в лазарет.

Неделю провалялся в лазарете, пока совсем затянулся длинный розовый шрам от шашки через весь затылок.

А когда оправился, назначил его комитет инструктором по обучению Красной гвардии на металлический завод.

Стал Василий с интересом приглядываться к заводу. Заводских мало знал, больше понаслышке.

Вырос в вологодской глухой деревне, на рыбачьем деле, по деревням шла молва, что фабричные — лодыри, охальники и пьяницы.

Из деревни на фабрику шли одни горькие сивушники либо чистые голодранцы.

А на заводе увидел людей копченых, суровых, медленно, но крепко думавших и знавших обо всем куда больше, чем он сам, Гулявин.

И пришлись заводские ему по сердцу так, что скоро со своего дивана из совета переехал Василий совсем на квартиру к старику фрезеровщику.

И делу своему новому весь отдался.

В пот вгонял красногвардейцев, до поздней ночи мучил перебежками, прицеливанием, примерными атаками, рассыпанием в цепь, стрельбой.

И когда делали смотр в сентябре красногвардейским отрядам, получил гулявинский отряд похвалу от комитета как образцовый.

Шли дни, взъерошенные, бурные, быстрые.

Надвигалась осень.

Летели с залива серые низкие тучи, поднималась вода в Неве, нагоняли ее свистящие низовые ветры, и стоял против Николаевского моста низкий, серый, даже в неподвижности стремительный, как ветер, и угрожающий крейсер «Аврора».

И ветер дышал сыростью и кровью.

В самом начале октября арестовали Василия юнкера и отвели в Петропавловку.

На допросе капитан с красно-черной ленточкой на рукаве хотел было на дерзкий ответ Гулявина ударить его по лицу, но посмотрел в карие с дерзиной глаза, покраснел и опустил руку.

А через три дня выпустили по требованию комитета, и опять отправился Василий на завод.

С осенними ветрами росла и ширилась буря в человеческих сердцах, и на учениях красногвардейцы кололи штыками соломенные мешки с такой суровой злобой, как будто были мешки живыми и олицетворяли собой все, что ненавидели прокопченные у станков люди.

И пришло это в бурную ночь, когда в лужах на огромной площади длинными иглами дробились золотые зубы дворцовых окон и ревела невская вода, бросаясь на граниты набережной.

Тесным кольцом облегли красногвардейцы и солдаты площадь.

Летели, повизгивали пули ударниц женского батальона от дворца, и в ответ впивались в багровое распухшее мясо дворцовых стен красногвардейские пули.

В бесконечных дворцовых переходах и коридорах толпились

растерянные, не знающие, что делать, юнкера и молча сидели в кожаных креслах неподвижные, обреченные министры.

Надеялись на что-то, и только когда гулко дрогнула стена и с Невы ветер бросил в стекла оглушительным раскатом морского орудия, а площадь залило криком и гомоном, поняли, что больше не на что надеяться.

В числе первых ворвался Гулявин во дворец, в числе первых вбежал в зал заседаний.

— Где министры?

— Мы сдаемся, товарищи,— ответил, вздрагивая и потирая нервно руки, кто-то поднявшийся с кресла.

— Где министры, я тебя спрашиваю?

— Мы и есть министры.

И, услыхав этот ответ, даже не поверил Василий.

Такими жалкими, маленькими, растерянными были прижавшиеся к спинкам кресел бледные люди, что не мог никак Гулявин взять в толк, что это и есть настоящие министры.

Бушевавшему сердцу его казалось, что сбитый красногвардейскими пулями вековой строй должен был представляться огромными, крепкими, величиной с дворцовую колонну людьми.

И когда уверился, наконец, что это и есть министры, презрительно плюнул на персидский ковер и сказал, смотря в глаза министру:

— Это от такой сопли и столько паскуды было? Гниды мокрохвостые!

В октябре тяжко вздыхали пушки в Москве. Ночью пылало багряное зарево на Тверском бульваре и Поварской. Шесть дней вздыхали пушки, и шесть дней факелами светили в бою никем не гасимые, полыхающие дома.

В Москве твердо и упорно защищалась старая жизнь, поливая каждый отданный шаг вражеской кровью, медленно отходя и огрызаясь зверем в последнем издыхании.

И только к концу шестого дня, радостные, загромыхали большевистские орудия, веселее запели свинцовые птички между голыми ветвями бульваров, и среди серых шинелей, рваных пальтишек и кепок побежали, пригибаясь, черные, окрыленные вьющимися ленточками бушлаты.

Тогда лишь, обессиленные, стали отходить к последнему убежищу на Знаменку стойко и упорно не сдававшие разрушенного перекрестка Никитских ворот юнкера и ударники.

Из Питера на помощь московской Красной гвардии пришел матросский сводный полк.

А командовал полком первой статьи минер, большевик и депутат Гулявин Василий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

Из Москвы в декабрьские стужи, ветры и снега сотнями, тысячами, закаменев и сжимая корявыми пальцами облезлые приклады ржавых винтовок, уходили черные, прокопченные, с твердыми подбородками на Украину, на Дон, на Волгу, и декабрьское небо над ними было не серым, туманным, а пламенным и острым, как меч.

И просторы звали их темными голосами затравленных паровозов, бурями, грохотом пушек, рыжими лохматыми дымами пожаров.

И носились над Россией гремящие чугунные дни.

В гремящий чугунный день в штабе Красной гвардии сутулый маленький человек, утопавший в губернаторском кресле за саркофагом письменного стола, сказал Гулявину:

— Ну, товарищ!.. Придется вам поработать много. Не подведите. Сейчас вся надежда на вас, матросов и фронтовиков. Вы знаете боевое дело, и вам честь принять первую тяжесть.

Василий пожал протянутую сухую руку и прочел поданную бумажку:

«Товарищ Гулявин, начальник летучего матросского полка Красной гвардии, направляется на Украину с заданием действовать на операционных линиях украинских белогвардейских войск и немецких отрядов. Товарищу Гулявину предоставляется вся полнота власти в полку, вплоть до расстрела в случае необходимости. Местным советам предлагается оказывать широчайшее содействие полку в снабжении продовольствием, обмундированием и боевыми припасами, под страхом революционного суда».

— Понимаете задачу? — спросил сутулый человек.

— Не пальцем делан!.. Чего не понять? — сурово отозвался Василий.

— Да, еще!.. Мы придаем вам начальника штаба. Партийный и дело знает. Пройдите к товарищу Сонину, он вас с ним познакомит.

Пошел Гулявин в кабинет товарища Сонина. Зеленый от бессонницы, товарищ Сонин яростно поедал копченую колбасу, сидя на подоконнике.

— Товарищ, слышь, у тебя тут мой начальник штаба.

Сонин торопливо прожевал колбасу.

— Строев!.. Строев!.. Идите сюда!.. Гулявин пришел!

Из боковой комнаты выскочил тонкий, невысокий юноша в пенсне, в длинной офицерской артиллерийской шинели, на плечах которой еще поблескивали краешки срезанных погон.

— Вы Гулявин?.. Очень рад познакомиться!

Посмотрел Гулявин на розоватое ребячье лицо, на франтовскую шинель и спросил:

— Ты из каких будешь, товарищ?

— Я?.. Я из артиллеристов. Прапорщик!..

Василий насупился... «Чудно! Большевицкий прапорщик! Первый раз такая штука — никогда еще видать не приходилось».

— Ты что ж, братишка, из породы белых ворон, должно?

Строев усмехнулся.

— А, вы вот о чем?.. Да, должно быть, из ворон... Штука редкая, во всяком случае. Теперь давайте сговоримся, где вас на вокзале найти при отправке.

— Чего где? Просто на воинской платформе. Спросишь гулявинский отряд — всякая собака покажет.

— Когда отправляемся?

— А хошь сегодня. Лишь бы паровоз дали.

— Ну, тогда побегу вещи собирать. В шесть вечера приеду.

Гулявин внимательно посмотрел вслед.

— Товарищ Сонин!.. Чего вы это мне офицера дали? Что, я сам не справлюсь? Не доверяете разве?

— Не дури, Гулявин! Начальник штаба нужен с башкой. Сам знаешь!

— Что-то больно чудная волынка. Офицер советский! А если продаст, кто в ответе будет?

— Не бойся, не продаст. За него, как за себя, ручаюсь!

— Поживем — увидим! Бывает, вша медведя съедает. Будьте здоровы. Не по нраву это.

Отправился Василий на вокзал. Грузил отряд, патроны, снаряжение.

Ругался, грозил наганом, свирепел.

Ровно в шесть приехал Строев.

С одним маленьким чемоданчиком и японским карабином. Бросил в вагон и с места принял горячее участие в погрузке.

Где Гулявину приходилось материться по полчаса, Строев кончал дело в пять минут ровной, спокойной и не допускающей возражений настойчивостью.

Посмотрел Гулявин и подумал: «А и впрямь парень деляга!.. Ну и чудеса!»

Строев подошел с тремя матросами:

— Товарищ Гулявин... Разрешите взять еще одну платформу, потому что снаряжение некуда грузить.

Василий почесал затылок:

— Ладно!.. Проси еще одну... И потом... братишка, у меня в отряде не выкай. Ты там по-деликатному, может, и обучался выкать, а у меня матросня, как братья родные... Нам килиндрясы не под стать. Тебя как звать-то?

— Михаил!

— Ну, и будешь Миша! А меня кликай Василием, безо всяких штук...

Строев внимательно взглянул в глаза Василию, улыбнулся и спокойно ответил:

— Хорошо! Так и будет!

Через две недели, когда под Конотопом Строев одним пулеметным огнем сбил с позиции гайдамаков, подкрепленных австрийцами, и сам впереди цепи пошел в атаку, сломался последний лед в гулявинском сердце.

После боя подошел Василий к Строеву и, хлопнув по руке, сказал твердо:

— Молодец, братишка! Язви тебя в душу! Ты меня прости: я не очень все время тебе верил. Поглядывал, так, на всякий случай, не придется ли тебе свинца запустить в кишки. А теперь вижу, какой ты парень! — и крепко поцеловал Строева.

С тех пор в отряде все делалось по-строевскому, и Гулявин требовал от матросов беспрекословного послушания.

— Чтобы ни-ни... Начальник штаба прикажет — это я приказал! Чтоб пикнуть не смели! Цыц!.. Железная дисциплина! По-революционному!

Один только раз поссорился Василий с начальником штаба по пустому случаю.

Захотели матросы придумать название отряду. Показалось чересчур просто — «матросский отряд».

Думали, думали и придумали крепко:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛЕТУЧИЙ
МАТРОССКИЙ ОТРЯД
ПРОЛЕТАРСКОГО ГНЕВА.

И пришли к Василию, чтобы разрешил. Василий и разрешил.

А Строев, когда услыхал название, папиросу изо рта выронил, упал на диванчик в купе, и пять минут били его конвульсии неудержимого хохота, а Гулявин стоял над ним, недоумевая и злясь...

— Чего ржешь, Мишка? Хрен тебе в зубы!.. Говори же!

Но Строев ничего не мог выговорить от хохота. По щекам его текли слезы, он задыхался и только отрывисто рычал.

— Да не ржи, чертов перлинь! Что такое?!

— Кто это такое выдумал? — спросил, наконец затихнув, Строев.

— Как кто?.. Братва вся!..

— Слушай, Василий!.. Это же ерунда! Нас на смех подымут! Это не название отряда, а целый музей курьезов.

— Какой еще музей?.. Что мелешь?

— Да ведь смешно же. Ну, что это такое: «Международный смертельный летучий матросский отряд пролетарского гнева»? Почему международный? Почему смертельный? К чему «пролетарского гнева»? Это же безграмотная чушь.

Тут впервые рассвирепел Гулявин на начальника штаба.

— Матери твоей черт! Заткни хайло!.. Смеяться... На колени стать тебе надо, а не смеяться. Ученый нашелся — из гузна выполз. Люди от чистого сердца придумали, потому на смерть

идут в первый раз за свое дело... Ну, и нужно, чтоб красиво было. А ты — смеяться... Хоть и с нами вместе идешь, а это у тебя барская, брат, блевотина. Презираю, мол, неученость вашу. А ты не презирай!.. Ты не снисходи, а войди в душу человека. В кои веки раз пришлось не за барскую спину, за свою волю драться... Ну, и надо, чтоб слова огнем пекли. Неграмотно, да прошибает. А если смеяться будешь, катись к матери! Вот тебе чистая дорога да пуля вдогонку!

Выговорил все Василий и задохнулся даже. Не привык к долгим речам.

Строев открыл серые, ясные глаза свои, смотря в рот Гулявину. Лицо его дрогнуло странно и смятенно, он встал с дивана, и хлынувшая к щекам кровь залила их ярким огнем.

Он шагнул к Гуляеву и протянул руку.

— Не сердись, Василий!.. Конечно, ты прав. Ей-ей, я об этом не подумал. Не сердись и прости мой смех. Это совершенно невольно вышло. Давай руку.

Но Василий сердито отвернулся.

— Не хочу! Очень ты меня обидел. Потому я в тебя крепко верил, а в тебе еще барин сидит и хвостом вертит вовсю. Подумай, може, не по дороге с нами? — и вышел из вагона насупленный.

Лишь вечером еле-еле вымолил себе Строев полное прощение, но еще несколько дней лежала тень между ним и Василием. Только в следующие дни, когда пошли упорные и тяжелые бои под Николаевом и Строев, как и прежде, распоряжался молниеносно и спокойно, выводя полк из самых скверных положений, сгладилась ссора.

После николаевского боя, ночью, в селе Копани, Гулявин собрал военный совет из командиров рот и батальонов.

Становилось плохо и невозможно держаться на Украине: немцы чугунной лавой давили и сметали слабые, плохо вооруженные отряды красноармейцев.

Нужно было отходить, но не решил еще Василий куда: к северу или к югу.

В избе, при керосиновой лампочке, склонились над картой обветренные, почернелые лица.

Тыкали в потертую двухверстку мозолистые, черные от грязи пальцы.

— Мое мнение, что к северу идти незачем. Пока мы успеем добраться до Харькова, его займут немцы. Нужно будет пробиваться на Воронеж, а оттуда, по сведениям, жмет казачня. Нам один путь — в Севастополь! Там советская власть! Флот, матросы, все свое и свои!..

— Ты так, Мишка, думаешь?.. А вы, братва, что мекаете?

Ротные командиры согласились с мнением Строева.

— Опять же в Крыму зимой не дюже холодно,— добавил один, закручивая козью ножку.

— Ну, баста! Завтра выступать! А теперь на боковую. Можно выдрыхнуться. Немцы далеко.

Командиры вышли. Гулявин сбросил бушлат и сел разуваться. Строев смазывал заедавший маузер.

В дверь постучали, и, не ожидая ответа, вошел начальник разведки.

— Ну, Гулявин!.. Чего вышло!.. Сейчас приведу тебе атаманшу... Баба смачная, есть что помять! Пальцы обсмоктаешь!

— Чего мелешь?.. Какая такая атаманша?..

— А вот сам увидишь! Эй ты, царица персицкая, прыгай сюды! — крикнул начальник разведки в раскрытую дверь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

АТАМАНША

Как был Василий со штиблетом в руке, так и замер на припечке.

Смотрит только на дверь, раскрыв глаза, а в двери — чудо.

Пава — не пава, жар-птица, а в общем — баба красоты писаной.

Бровь соболиная, по лицу румянец вишневыми пятнами, губы помидорами алеют, тугие и сочные.

А на бабе серый кожушок новехонький, штаны галифе нежно-розового цвета с серебряным галуном гусарским, сапоги лакированные со шпорами, сбоку шашка висит, вся в серебре, на другой стороне парабеллум в чехле, на голове папаха черная с красным бантом.

Стоит в дверях, глазами поблескивает и усмехается.

Даже глаза протер Гулявин. Нет — стоит и смеется.

— Ты кто такая будешь? — спросил наконец.

А она головой встряхнула и коротко:

— Я?.. Лелька!

Супится Гулявин.

— Ты не мотай! Толком спрашиваю. Откедова, кто такая?

— Из мамы-Адессы — папина дочка.

А сама все хохочет.

— Сам знаю, что папина дочка. Чем занимаешься, зачем пожаловала?

— А в Адессе с мальчиками гуляла, а теперь яблочком катаюсь.

Озлился Гулявин.

— Толком говори, чертова кукла! Нечего лясы точить!

— А толком сказать — атаманша. Гуляю, красного петуха пускаю, а со мной босота гуляет. Отряд атаманши Лельки.

— Народу у тебя много?

— На мой век хватит! Тридцать голов есть! Было больше, да под Очаковом третьего дня пощипали. Теперь на Крым нам дорога лежит. А ты из каких генералов будешь?

Смеется Гулявин.

— А я — фельдмаршал советский! В Крым тоже катимся. Что ж, приставай, по пути. Произведем в адъютанты. Что, Мишка, хорош адъютант будет?

Посмотрел Василий на Строева, а Строев молча сидит, на атаманшу в упор смотрит, и глаза, как иголки, стали злые и пронзительные. Лицо каменное.

— Как думаешь? Возьмем атаманшу?

Строев плечом повел только.

— Ну, атаманша, оставайся! Где люди-то у тебя?

— Люди по хатам разместились, а я пока без места.

— Ну и оставайся здесь! В тесноте, да не в обиде!

Села атаманша на лавку, кожушок сбросила, в одной гимнастерке сидит, румянец пышет, грудь круглая гимнастерку рвет.

Строев поднялся — и из хаты на двор. Василий за ним вышел.

— Ты, Михаил, чего надулся? Атаманша не по сердцу?

— Нет, ничего! — А голос холодный и ломкий.

— Нет, ты скажи по правде. Вижу, что злишься.

— А по правде, так я против этой атаманши. Неосторожен ты, Василий. Пришла баба, черт ее знает какая, откуда; черт знает что за отряд? Зачем ее к нам втаскивать? Пусть идет своей дорогой. На свою ответственность брать незачем!

— Ну, пошел страхи пускать! Баба как баба! Раз с буржуями дерется, значит нам помощница.

— Да мне все равно. После не пеняй только!

— Ничего. Пенять не придется.

Вернулись в избу. Строев сразу же на лавке за столом спать завалился. Василий на печку полез.

Атаманша со двора вьюк притащила, по полу разостлала, одеяло вынула шелковое, цветное, все в кружевах.

— Одеяло-то у тебя царское. Приданое сварганила?

— Сшила матушка-ночь да батюшка-ножичек!

Села атаманша на пол, косу заплела, гимнастерку стащила. Руки нежные, розовые, круглые. Груди птицей под рубахой трепещутся.

— Ты лампочку-то гаси! Ловчей раздеваться! Все баба!

— Зачем? Была баба и вышла. Лягу — погашу.

Завернулась в одеяло и дунула на лампочку.

Темнота в хате, только ветер погуливает вокруг и шуршит камышинами на крыше.

Не спится Гулявину. Ворочается на печке. Томительно что-то. И мельтешат в глазах атаманшино плечо голое и жаркая грудь. В сердце даже захолонуло. Давно Гулявин без бабы, а плоть бабы требует. На то и живет человек. Эх, промять бы атаманшины бедра железом пальцев, въесться губами в помидорные губы.

Горячо телу стало. Сплюнул со зла Гулявин.

— Тьфу... сатана!

Зашевелилось на полу, и слышит Гулявин шепот бабий:

— Не спишь, генерал? Тошно?

И шепотом в ответ:

— А твоя какая забота?

— А коли не спишь, сыпь под одеяло. Согрею!

Как молния по избе шарахнула! И кошкой вниз бесшумно Василий. Схватил край одеяла, откинул. Пахнуло теплом — и навстречу хваткие руки и полные атаманшины губы.

А на лавке за столом, так же бесшумно, на локте приподнялся Строев.

Поглядел в темноту, покачал головой и снова лег.

Наутро выступили по Херсонской старой дороге к Днепру, на Алешковскую переправу.

Перед выступлением осмотрел Гулявин Лелькин отряд.

Тридцать человек, все на конях, кони сытые, крепкие, видно, из немецких колоний. Сами не люди — черти. Немытые, грязные, а на пальцах кольца с бриллиантами в орех, у всех часы золотые с цепочками, бекеши, френчи — с иголочки.

Строев, пока смотрел отряд, все больше мрачнел, и открытое детское лицо осунулось, губы смялись брезгливой складкой.

Но когда, повернувшись, сказал Гулявин: «Лихая братва! В огонь и воду!» — промолчал Строев, ничего не ответил.

В Херсоне простояли два дня, ждали, пока лед отвердеет. И как только пришли в Херсон, рассыпались атаманшины всадники по всему городу, а вернулись к вечеру с полными седельными мешками.

А на другой день то же.

А вечером пьяные горланили «Яблочко» и дуванили добычу. И еще больше колец на черных пальцах, и — чего не было в гулявинском полку — матросы тоже приняли участие в дележе.

Не все, человек десять, не более. Соблазнились.

Ночью вернулся из города Строев и застал в штабе Василия и атаманшу. Сидела атаманша, расстегнувшись, перед бутылкой водки, блестели ярко атаманшины глаза, и тянула она высоким фальцетом:

Спрашу я Машу:
— Что ты будешь пить? —
А она говорить:
— Голова болить...

Повернулась к вошедшему Строеву, протянула стакан и крикнула:

— Выпей, красная девица! Что сопли пускаешь?

Ничего не ответил Строев — и к Василию:

— Нужно с тобой по делу поговорить. Серьезное!

— Ну, говори!

— Выйдем в другую комнату.

Вышли. Заходил Строев взволнованно из угла в угол и потом прямо к Василию:

— Дело очень грязное! Я сейчас из совета! Позорно и скверно! Нас обвиняют в грабежах. Говорят, что наши кавалеристы грабили по домам и даже у рабочих. В предместье какой-то подлец старуху застрелил из-за копеечных серег. Это взволновало рабочих. Говорят, что советские войска — бандиты. Я тебя предупреждал! Просил не брать этой...— не кончил и брезгливо поморщился.

— Амба! Ты не горячись!.. При чем тут она? Народ у нее распущенный — это верно. Так она же баба — подтянуть не умела. А я их сам с завтра шкертом за глотку возьму — шелковые станут.

— Да не в том в конце концов дело! Не место в наших рядах такой сволочи! Кто она — бульварная девка!

Рассердился Василий.

— Смотри, Мишка! Опять барская блевотина! Тебя послушать: так бульварная девка — не человек? Опять поссоримся.

— Совсем не то! На этот раз не уступлю. Если бы она была втрое хуже, но пришла к нам потому, что ее зажгла революция, выжгла в ней все прошлое, я бы раньше тебя ее принял, как друга. А ты вглядись! Что ты, ослеп? Ведь она идет просто грабить. Для нее все это, чем мы горим: революция, борьба — только богатый гость, которого удобно обобрать, а потом кликнуть кота и пришить этого гостя. Понимаешь? Ее просто к стенке нужно поставить и с ней всю ее рвань. Из-за таких дело гибнет! Я требую убрать ее из полка... Впрочем...— Строев усмехнулся болезненно.— Пожалуй, это тебе не по силам. Удобная баба... Искать не нужно!

Покраснел Василий от укола и еще больше озлился. Но рта раскрыть не успел, потому что с дребезгом настежь шатнулась дверь, и ворвалась в комнату вихрем Лелька.

И сразу к Строеву:

— Ах ты подстилка свиная!.. Меня к стенке?.. Ты что за командир выискался, буржуазное семя!.. Я шлюха? Говори! — и ухватила Строева за грудь.

Но взял Строев спокойно атаманшины руки и зажал их. Никогда не думал Гулявин, что сила есть у парня, а тут, как побелело вмиг атаманшино горячее лицо, понял, что железом захвачены Лелькины руки.

Попыталась вырваться, но только прошептала:

— Пусти, говорю.

А Строев, обернув лицо к Гулявину, равнодушно сказал:

— Я бы попросил тебя употребить власть командира.

Подошел Гулявин, взял Лельку за ворот.

— Вот что!.. Ты не в свое дело не путайся! Твоей заботы тут нет! Иди-ка, девушка!

Довел до двери и коленкой поддал. Вылетела атаманша пухом.

А Гулявин затворил дверь за ней и засмеялся:

— Сражение! Ишь какая вояка!..

Строев удивленно смотрел на него.

— Что же? Ты и после этого ее не выставишь?

И Гулявин ответил резко:

— Нет!.. Я командир и за себя отвечаю! И в мои дела не лезь. Спутался я с ней или не спутался — не твое дело. Если и спутался, так и то моя забота, а не твоя. Жалко мне бабу, а у тебя жалости к человеку нет. Ей помочь нужно на ноги встать, а не гнать. Не ждал я от тебя, что ты свиньей будешь!

— Василий!..

— Чего Василий? Двадцать шесть лет Василий! Правду в глаза скажу! Дорога мне баба за удаль!

— Может, за что другое?

— Может, и за что другое! Другое я знаю!

— Ну, если меня не слушаешь, подумай о всем полку. Она нас втянет еще в историю. Собой ты можешь рисковать, мной тоже можешь, но сотнями людей ради последней девки нельзя!

— Фу-ты ну-ты, какие страхи! Довольно! Не хочу учителей слушать! Сам учить могу!

— Делай что хочешь! Но я теперь — только начальник штаба. Вне службы мы люди чужие, и при первой возможности я уйду.

— И черт с тобой!.. Фря тоже...

Повернулся Гулявин и спокойно пошел к атаманше.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГВОЗДИ

Зимним хрустальным, свежим утром по звенящему льду протянулся полк через Днепр и змеей пополз по Перекопской старой чумацкой дороге в Крым.

Ехал Гулявин впереди полка мрачный и злой.

Строев сдержал слово и почти перестал разговаривать.

На «вы» перешел, и все официально:

«Как прикажете, товарищ командир!», «Мое мнение такое, товарищ командир!» — и больше слова из него не вытянуть.

Тошно.

Неприятно это Гулявину ужасно, потому что полюбил он своего начальника штаба, а тут такая разладица.

И уж сам на себя злился, что из-за бабы буза пошла. Повернулся в седле, оглянулся.

Далеко в хвосте колонны едет Строев, посреди матросов. Спокойный, как ни в чем не бывало,— видно, шутит, смеется.

«Ишь характер какой дубовый! Коряга — не человек!» — подумал Василий и налево повернулся.

На золотистой тонконогой помещичьей кобыле, гоголем завалясь в седле, едет Лелька. Штаны гусарские розовой зарей горят, и алой зарей щеки пылают.

«Царица-баба! И что ему она поперек горла пришлась!»

Хороша атаманша, горячо ласкает атаманша в зимние холодные ночи.

Как с такой расстаться?

Повернул Гулявин коня: поехал в хвост полка к Строеву.

Подъехал вплотную, вгляделся.

Давно потеряло строевское лицо детский румянец, побледнело, закоптилось, осунулось, и у губ легли резкие складочки усталости и напряжения.

И глаза как у замученного зайца.

И, взглянув на друга, почувствовал Гулявин, как ударила ему в сердце горячая волна жалости.

Положил руку на колено Строеву.

— Миша!.. Михаил!..

— Что?

— Не сердись, браток! Сердце ты мне кромсаешь! Люблю же я тебя, парень!

Дрогнули складки на строевском лице.

— Я не сержусь... Только свернул ты с пути, Василий, а расплачиваться за это всем придется.

Перегнулся Гулявин с седла.

— Миша!.. Братишка! Вот тебе слово — дойдем до Симферополя, я ее к чертям собачьим выгоню. А сейчас пусть лучше с нами идет. Все под надзором — и людей больше. Нас-то ведь тоже немного осталось. Из Москвы тысяча вышла, а сейчас пятьсот еле-еле. Но в Симферополе пошлю ее к матери.

— И хорошо сделаешь!

— Ну, давай руку!

Пожали руки. Улыбнулся Строев опять той же своей детской ясной улыбкой, и Василий засмеялся радостно.

— Давно бы так!

Ударил коня — и опять во главу отряда.

А атаманша подбоченилась, зубы скалит.

— С недоноском своим лизался? Вояка!

И сама испугалась. Наехал Гулявин так, что отпрянула даже золотистая кобыла, и нагайку поднял.

— Т-ты, сволота!.. Нишкни, шлюхина морда! Слово пикнешь — спину нагайкой перешибу. Свое место знай!

Попробовала Лелька отшутиться:

— Испугал! Еруслан-богатырь!

Зыкнула в воздухе нагайка, и едва успела Лелька голову отклонить, мгновенно кожушок на плече разрезало и обожгло болью, а Гулявин как бешеный, и у рта пена кипит.

— Молчать... гадюка! Забью!

Шарахнулись даже кони от зверьего крика, и чем бы кончилось — неизвестно, но только из-за снегом засыпанных кучугур скачет разведка во весь опор.

Издали кричат еще:

— Командир!.. Гулявин!.. В Преображенке кадеты!

Спустил Василий нагайку.

Атаманша за плечо держится, губу закусила, а по щекам слезы текут. Но даже мельком не взглянул на нее Гулявин. А тут уже и Строев рядом:

— Много кадетов?

— До черта!.. Мы одного подхватили в кучугурах... Говорит: дроздовцы! На Таганрог идут!

— А где же пленный?

— Как где!.. В духонинском штабе в адъютанты пошел.

— Дурачье! Сюда тащить надо было. Списать всегда успеется.

— Чего таскать? И так все вымотали. Первый дроздовский полк. Семьсот штук кадетов и пушка одна.

Посмотрел Василий на Строева.

— Загвоздочка... елки-палки! С пушкой, сволочи!

— Ничего! Немцев с пушками били!

— Так-то оно так!

Задумался Василий. Потом прояснел сразу: «Чтоб пятьсот матросов — да кадетов побоялись? Тысячу давай — все равно убрать можно».

— Ну, Миша... командуй. Твоя работа!

Подозвали командиров рот, выяснили задачу.

Наступать решили, когда станет темнеть.

Две роты в лоб, одна с тылу охватом, и при ней Лелькина кавалерия.

— Сразу только!... Как мы отсюда на штык пойдем, так вы сзаду. Крика побольше!.. Эй ты, атаманша, слюни подбери! Дело делать нужно. После отревешься.

Через час рассыпались цепи и тихо поползли по пескам между голым лозняком, в котором посвистывал ветер.

Гулявин стоял на пригорке и в бинокль смотрел за уходящими цепями.

Далеко, в направлении экономии, хлопнул одиночный выстрел, потом второй, и сразу зачастило молоточными ударами по железу.

— Охранение заметило,— сказал Строев.

— Здорово службу знают, черти! — ответил не без зависти Гулявин.

Чаще и громче трещали винтовки, и, блеснув от экономии молнией, тяжело и гулко ударила пушка.

В нежно-синем сумеречном небе мигнул зеленым огоньком разрыв, и круглым звуком охнула шрапнель.

— Красиво... едят ее мухи.

— Высоко. Перенесло,— тихо отозвался Строев.

Опять рванула шрапнель, но уже низко, над самыми цепями. Еще и еще. На пригорок взлетел конный.

— Товарищ Гулявин! Невозможно идти! Шрапнелью кроет, ходу не дает. Отходят наши.

— Что?.. Отходят? Полундра! Я их отойду... в печенки! Первому, кто назад шагнет, пулю!

Вырвал из кобуры маузер, хлестнул лошадь и поскакал к цепям.

Подскакивая, издали видел, как, влипая в землю, скорчившись, ползут под низкими разрывами назад черные бушлаты.

Налетел на цепь и первого попавшегося с лошади в лоб.

Одним прыжком, бросив поводья, скатился с седла.

Злоба залила глаза красным туманом. Уже не кричал, а выл:

— Отступать... сволочи! Кадетов струсили, гады! Марш вперед!

Схватил винтовку застреленного и во весь рост побежал вперед:

— Ура!.. Давай кадета!

И с нестройным криком бросилась за ним цепь.

Опять оглушительно и визгливо, совсем над головами, брызнуло огнем и певучим снопом пуль, но сейчас же за разрывом донес ветер из-за экономии, с другой стороны, винтовочный треск.

И, поднимаясь с земли, разъяренные, не прячась и не сгибаясь, запрыгали по песку люди к окраине экономического сада, откуда разрозненно и неметко грохотали растерянные выстрелы.

Кадеты ушли к северу, бросив испорченную пушку.

В трехэтажном помещичьем замке на ночь расположился полк.

Хоть и короткий был бой, а потрепали кадеты порядком.

Сложили в сарае аккуратно, рядком, семнадцать убитых, а раненых разместили в большом зале, и возился с ними преображенский испуганный фельдшер с тряской козлиной бородкой.

Занял Гулявин кабинет помещичий, растянулся с удовольствием в глубоком кожаном кресле у горящего камина. Топили камин за полчаса до боя для кадетского генерала, а для Гулявина успел хорошо нагреться.

И, сидя за письменным столом, уплетали с аппетитом Гулявин и Строев генеральский ужин — цыплят под лимонным соусом — и пили красное вино из фальцфейновских подвалов.

Сунулась было в двери Лелька, но послал ее Гулявин по матери.

— Твоего здесь нет! Не лазь без доклада!

В бою взяли трех кадетов живьем, и приказал Строев запереть их до утра в чердачном чулане.

После ужина так и заснули Гулявин и Строев в кабинете на мягких диванах, в тепле.

И перед сном спросил еще раз Гулявин:

— Ну, Михайло?.. Совсем сменил гнев на милость? Не злишься?

И совсем сонным голосом пробурлил Строев:

— Сказал раз... Спокойной ночи!

Под утро уже точно сорвала с дивана Василия огромная рука.

Вскочил сразу на ноги и услышал: крик... удар... потом несколько криков и захлопавшие наверху глухие выстрелы.

Бросился к револьверу и, неодетый,— к дверям, но в дверях столкнулся с матросом.

— Гулявин!.. Несчастье!..

— Что такое? Чего там стрельба? Очумели?

— Товарища Строева убили!

— Что?.. Кто?.. Как?

— Лелька... на чердаке!

Но уже не слышал Гулявин и несся через три ступеньки на чердак.

В чердачном коридоре, в темноте, стояли густо матросы, а вдалеке, в каморке пленных кадетов, мерцал огонь.

Расшвырял Василий всех, как котят,— и к дверям каморки. И сразу все понял.

На скамейке связанный лежит один из пленных кадетов в одной рубашке, и рубашка вся в крови. Два других в страхе в углу забились, а на пыльном полу, ногами к выходу,— Строев, и вместо головы каша серых и розовых лохмотьев, спутанных с волосами.

У скамейки атаманша с револьвером и еще пятеро молодцов из ее отряда.

Ночью проснулся Строев от странных звуков и пошел проверить, что с пленными делается. Подошел к дверям каморки, а у дверей часовой-матрос, а из-за двери вопли дикие.

— В чем дело?

На матросе лица нет.

— Товарищ Строев! Что же это? Спьяна Гулявин, что ли? Пристрелить — так сразу, а зачем мучить?

— Как мучить?

— Лелька их там пытает... гвоздями, по гулявинскому приказу.

Распахнул Строев дверь.

Атаманша сидит на скамейке на пленном верхом, отрядник свечку держит, а она пленному гвоздь в плечо молотком забивает.

Строев шагнул внутрь, побелел.

— Кто вам позволил? Вон отсюда!

Повернулась атаманша, зубы оскалила.

—А ты что за указчик?

— Убирайтесь сейчас же вон! — вынул револьвер.

А Лелька в него из нагана хлоп, в голову. Матрос-часовой в атаманшу из винтовки промазал, а его тут же пристрелили. И сразу поднялась по всему дому тревога.

Взглянул Гулявин спокойно, приказал вынести Строева вниз.

— А этих... запереть до утра!

— Это меня-то запереть?

Не ответил Гулявин.

— Матросики!.. Что же это? Чего смотрите? Кадетского защитника пришила, так меня арестовывать? Продают вас командиры. Они наших товарищей побили, а мы с ними поделикатному?.. — и не кончила.

Тяжело упал на лицо гулявинский кулак, и села атаманша на пол.

— Завтра поговорим! Запирай! Башкой ответите, если уйдет!

Угрюмо молчали матросы.

Заперли дверь, сошли вниз. На диване, на том же, на котором спал, положили Строева, накрыли разбитую голову.

Подошел Василий, приподнял мертвую руку, и услышали матросы непонятные звуки, как будто человек кашлем поперхнулся.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВЕТРЫ

Рано утром на экономическом дворе построил Гулявин полк. Вышел сам из дому, белый, шатается, под глазами синяки, а рот в черточку подобран.

Как посмотрели матросы на командирский рот, у многих по спине дрожь пошла гусиными лапками.

— Полк... смирно!

Застыли шеренги.

А Гулявин вдруг перед полком в снег на колени стал и бескозырку снял.

— Простите, братишки! Виноват перед всеми! За бабу товарища продал. Жить мне, паршивцу, нельзя теперь. Пристрелите, братишки!

Молчат матросы.

— Чего ж, не хотите? Стыдно об такого гада руки марать? Ладно! Сам себя прикончу!

Вытаскивает маузер.

Но тут из первой шеренги вперед кинулись, за руки схватили.

— Не ломай дурака! Виноват — виноват! Дела не поправишь! А полку без командира негоже.

— Чи ты баба...

— Васька, очухайся!

А у Гулявина слезы в глазах стоят.

— Простите, братишки! Слово даю, что больше себя в позор не введу!

— Ладно!..

— Не тяни душу, сволочь!

— С кем не бывает!

— Больше дураком не будешь!

Поднялся Гулявин, слезы вытер и вдруг сразу во весь голос:

— По местам!.. Полк... смирно!

Опять замерли ряды.

А Гулявин к дому повернулся.

— Вывести лахудру!

С парадного крыльца между часовыми вывели атаманшу.

Нет атаманшиной красоты. Разнесло все лицо от гулявинского кулака, синее, и кровь по нему потеками, глаз левый запух совсем.

А за ней пятеро отрядников.

— Веди сюды!

Привели, поставили.

Гулявин уперся глазами в атаманшу.

— Ну, персицкая царица! Промахнулась маленько. Думал, ты человек как человек, коли на буржуев пошла, а ты б... была, б... и осталась. Ну и подыхай!

Ничего не ответила Лелька, голову только опустила.

И, отойдя, скомандовал Гулявин:

— Первый взвод... Пять шагов вперед, шагом... арш! — Помолчал и: — На изготовку!

Вздрогнула Лелька, подняла голову и взглянула Гулявину в глаза:

— Сволочь ты... На кровати со мной валялся, а теперь измываешься?

— Что на кровати валялся — мой грех. В нем и каялся. А тебя не помилую! — В тишине мертвой отошел в сторону.— По сволочам пальба взводом... Взвод, пли!

Рванул воздух трескучий и четкий залп, и кучкой легли шесть тел на хрупкий белый снежок.

По атаманшиным розовым штанам поползла черная струйка, и задрожали, сжимаясь и разжимаясь, пальцы.

— Взвод, кругом! Шагом марш! Стой, кру-угом!

И, не взглянув на трупы, пошел в дом Гулявин, как пришибленный внезапно обвалившимся на плечи небом.

Через три дня подходил полк к Симферополю. Шли без опаски, потому что от мужиков кругом было известно, что в Симферополе матросы и советская власть.

И не знали в полку, что уже курултай татарский с генералом Султан-Гиреем объявил крымскую автономию и что все офицеры, какие в Крыму были, тотчас в татары заделались, свинину есть перестали и в мечети начали ходить, и из них сформировали татарскую национальную армию в шесть тысяч, с пушками и пулеметами.

А матросские головы клевали вороны в симферопольских балках, лежали матросские тела по всей дороге от Севастополя до Джанкоя, присыпаемые снегом, и свистели над ними январские злые ветры.

Уже втянулся полк в долину Салгира и шел беспечно и весело, распевая «Яблочко», как вдруг с двух сторон долины треснули сразу пушки, собачьим жадным визгом залопотали пулеметы.

И за десять минут не стало половины полка.

Зажав пробитую ногу, успел только крикнуть во все горло Гулявин:

— Не толпись!.. Ложись, расползайся поодиночке! — А тут офицеры в черных бараньих шапочках с алым верхом — конной атакой.

И встретить не успели, как засвистели офицерские шашки, захрустели под копытами матросские ребра.

С пятнадцатью человеками только, хромая и матерясь, успел Гулявин юркнуть в сады и садами, вдоль заборов, выбраться на холмы, а за холмом залезть в брошенную каменоломню.

В каменоломне и укрылись, большинство — перераненные. Двое в первый же час умерли от потери крови.

Остальные кое-как друг друга перевязывали обрывками рубашек, полотенцами и всяким тряпьем.

До ночи просидели в каменоломне, боясь выползти, слыша, как рыскает по садам офицерская конница.

Мучительно тряслись от озноба, потери крови, голода. Ночью стали совет держать.

— Невозможно оставаться,— сказал Гулявин.— Сегодня не догадались, что мы в каменоломню залезли, все равно завтра найдут и пошлют к Духонину. Нет, братва! Выползать надо! Как-нибудь к своим доберемся. А здесь не с пуль кадетских, так с холоду или голоду подохнем.

— Не все идти могут, Василий! Трое совсем ослабели! С собой не возьмешь!

Переглянулись и опустили глаза.

— Эх, мать их... наделали делов!

— Братишки, не кидайте живыми! Замучат! — скрипнув зубами, простонал раненый.— Лучше покончите сразу.

И когда сказал сам раненый, стало легче.

К полночи собрались, распределили хлеб и винтовки на более сильных, подтянули снаряжение.

Перед выходом из каменоломни положил Гулявин в фуражку десять бумажек.

— Тащи! Потом зажгу спичку. У кого с крестом...

Молча тащили бумажки, вспыхнула спичка, и ахнул низенький коренастый Петренко.

— С крестом... у меня...

Выползли наружу. В черной дыре каменоломни вдогонку один за другим задохнулись три выстрела, и вылез наружу, шатаясь, Петренко.

— Ну!... Все?.. Трогай, братишки!..

Зимой ледяными пронзительными ветрами продувается степь от ревущего моря. Воют ветры над сухими ковылями, над жнитвом, над приземистыми плоскими курганами.

И на курганах стоят, сложив руки-обрубки на отвислых животах, раскосые, туполицые, жадные к человеческой крови каменные бабы.

По ночам приходят на курганы выть степные волки, и зеленые горячие волчьи зрачки упираются в раскосые глаза статуй.

И есть в этих древних глазах киммерийская давняя тайна, понятная только степным волкам, предки которых приходили выть ночами, когда еще не было ни курганов, ни баб.

Потом, повыв немного, опускают волки глаза и, поджав хвосты, с жалобным визгом, озираясь пугливо назад, сбегают с кургана, а вслед им глядят раскосые пустые глаза темным страхом веков.

И над Тавридой, над степными разлогами, над ристалищем печенежьих, половецких, татарских орд, над безграничными просторами синих снегов, над горящими городами яростным грохотом пушек и криком затравленных паровозов — ледяные пронзительные ветры, и сквозь ветры, ярость и жуть смотрят угрюмо и спокойно пустые глаза с древней тайной.

И зимой ветры закруживают в степи человека, сбивают с пути, слепят, сушат кожу и стягивают ее, а потом лопается она кровоточащими длинными ранами.

До костей промораживают ноги, и трудно становится отрывать их от мягкого, манящего на отдых снега.

Идет человек, и ветер качает его, поет колыбельную песню, нежно и ласково кладет в снег, накрывает легче пуха одеялом и усыпляет.

А ночью приходят опять голодные, воющие степные волки.

Степь... Ветер... Волки...

Над синим снегом сияет луна, и от облачков лиловые тени,

бегущие по снегу, и кажется он легким и нежным, пушистым багдадским ковром.

И под луной и по снегу вместе с облачными ползут человечьи тяжелые тени, опираясь на длинные палки, с трудом вытаскивая одеревеневшие ноги из снега.

Две человечьи тени.

Восемь осталось в степных сыпучих снегах под свистом ветров.

Медленно, тяжело, обходя жилые места, ползут человечьи тени к северо-востоку, а вокруг — метельный свист и с метельным свистом волчий надрывающий вой. И в мареве метели фосфорными горячими точками горят волчьи глаза.

Крупное облако наплывает на луну, и в тяжелый дымный мрак уходит снежная степь.

Когда снова кропит серебром луна, на снегу только одна тень.

Шатается, падает, поднимается и снова ползет к северо-востоку.

Ближе волчьи огни.

Тень поднимает длинную палку, мелькает капля огня, ветер подхватывает гулкий, рвущийся звук.

Поджав хвосты, отбегают назад волки.

В шесть часов утра разъезд красноармейской группы, двигавшейся от Таганрога к Ростову, подобрал в степи человека в лохмотьях, с фиолетово-почерневшим лицом, с покрытыми кровавой корой и замотанными в обрывки башлыка руками.

Он лежал ничком в снегу и цепко сжимал винтовку.

Когда его подняли на лошадь и разведчик влил ему в горло стакан автомобильного спирту, человек заперхал, полураскрыв безумные глаза, и пробормотал вяло:

— Буржуи-и? Всех перебьем... мать вашу! — и снова заснул.

А в остатках его штанов нашли мандат на имя Василия Гулявина.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

КАНИТЕЛЬ

Желтые полотняные занавески шевелит духмяный, пахнущий сиренью апрельский ветер, и по полу резвятся золотые солнечные зайчата.

А солнце на синем атласе, розовое, промытое, разжиревшее, поит сверкающим медом камни мостовой, тяжелые гроздья сирени, шумящие нежной зеленью шапки деревьев, а там, за холмами, за городом, в раздымленных далях, черные пятна

пухлого лилового, свежераспаханного пара и трепетные ростки озимей.

А в комнате золотые зайчата расшалились, распрыгались, забираются на стол, танцуют по бумагам, по человечьим рукам, забираются выше, и вот уже самый резвый заплясал на носу комиссара совнархоза.

Потянулся комиссар и нежно смахнул шалуна.

И снова брови над бумагами в черточку сдвинул.

Въедливая штука совнархоз. Это не полком командовать.

Сердит комиссар и председатель Липецкого совнархоза — Василий Гулявин.

После встречи со степными злыми метелями два месяца не вставал Гулявин с лазаретной постели в тамбовском госпитале, куда полумертвого привезла его летучка из-под Таганрога.

Тяжело и трудно заживали отмороженные руки и уши, а на левой ноге отняли четыре пальца.

И когда встал, пришлось ходить, прихрамывая, с палочкой. А в тамбовском парткоме по причине перенесенных трудов и потрясений сняли Гулявина с военной работы и посадили на Липецкий совнархоз.

Очень обозлился на это Гулявин.

— Что я, вошь, что ли, по бумаге ползать? Не желаю канитель тянуть!

Но против партийной дисциплины не пойдешь.

В момент собрался и выехал в Липецк принимать совнархозовские дела.

Липецк — городишко увалистый. На увалах и холмиках разбросал домишки кое-как, кочковато. С косогоров сползают дома к долинке, а в долинке парк старинный и лечебные прославленные источники.

Веснами зацветает густо липецкий парк черемухой и сиренью, густеет воздух от маслянистого дурманного духа, и вечерами, при желтой, смуглой, бродячей цыганке-луне, в парке на скамьях, на траве, под кустиками вздохи, шепоты, смех, поцелуи, визги, истомные стоны.

Каждой весной засевается город новым посевом, под соловьиные щекоты и переплески, чтобы не вымерло жадное к плоти своей человечье племя.

И в аромате, в соловьиных кликах и поцелуях ясное лето лениво просыпает из ладоней золотое зерно благоуханных дней.

А всего советского хозяйства в Липецком совнархозе: Боринский сахарный завод, две водяных мельницы, одна паровая и курортная гостиница при лечебном парке.

Только гостиница ныне — не гостиница, а распестрилось ее трехэтажное, покоем разлегшееся здание яркой кровью

вывесок: «Совет», «Исполком», «Партийный комитет», «Штаб красногвардейской армии» и другими.

А на фронтоне намалевана ярчайшими красками «живописцем и вывесочных произведений художником» Соломоном Канторовичем двухаршинная советская звезда с золотыми лучами, и держат звезду рабочий и крестьянин.

У рабочего голова переехала совсем на левое плечо и глаза смотрят в разные стороны. А в сапоги бородатого крестьянина мог бы обуться самый большой на свете слон. Но зато в первый раз не на утеху толстопузому лабазнику писал Соломон Канторович, и водила его кистью не презренная мысль о хлебе, а пламенное вдохновение революции; и даже в разные стороны глядящие глаза рабочего, может быть, выражали бесхитростно затаенную мысль, жегшую старую, поросшую седыми вихрами голову Канторовича, что должен рабочий, взяв на крепкие плечи свою звезду, смотреть зорко во все стороны, ибо всюду враги революции.

Из окна председателя совнархоза видно картину, и часто отдыхают на ее ослепительной яркости гулявинские глаза, оторвавшись от ровных и сухих строчек бумаг.

Скучно Гулявину. Не по сердцу такая работа.

Входящие, исходящие, планы, сметы, доклады, инструкции, циркуляры...

Все прочитывай, во все вникай, и отовсюду тебя надуть норовят разные примазавшиеся жулики.

Как под топором ходишь. К вечеру голова пухнет, выйдешь в парк отдохнуть — и тут нет покоя от проклятого соловьиного треска, вздохов, шепота и сиреневого пряного, раздражающего духа.

Не затем шел Гулявин в большевики, чтоб в бумагах крысой копаться.

Всякому человеку свое.

Кто любит огонь, кто воду.

Ветер любит Гулявин.

Тот безудержный, колыхающий ветер, который бросает в пространство воспламененные гневом и бунтом тысячи, вздымает к небу крики затравленных паровозов и рыжие космы пожарных дымов.

Не пером на бумаге — кровью горячей и душной на полях писать революцию Гулявину.

И тоскливо до тошноты — каждый день, в тот же час, за тем же столом ставить под тупыми строчками, отпечатанными на ломаном ундервуде без букв «у» и «к», узловатую такую закорючку подписи: В. Гулявин — и круглый собачий чернильный хвост под ней.

Сидит Василий, вертит бумагу в руках и читает вяло и зло:

«...на основании вышеизложенного предлагается вам срочно прислать соображения о видах юрожая свехлы в бюдющем годю. За неисполнение бюдете нахазаны революционным порядхом...

Хомиссар юездного совнархоза»

Тошнота к горлу подступает.

А машинистка, белобрысая дура, вся в завитушках, лицом похожая на кудрявого мопса, никак в толк не возьмет, что нужно пропускать нехватающие буквы и вписывать их потом от руки, а прямо валит: «хомиссар» и «юезд». Терпел, терпел Василий, а однажды вышел из себя и обматерил дуру.

Машинистка в рев и пошла председателю совета жаловаться.

Товарищ Жуков — человек положительный, сельским учителем был и выражений не любит. Пришел к Гулявину в кабинет и развел пропаганду:

— Вы поймите, товарищ Гулявин, что это антиреволюционно. В Советской стране — и вдруг женщину по матери. Это неэтично и оскорбляет полноправное достоинство раскрепощенной гражданки.

— Гражданка! Шлюха она подзаборная! Каждую ночь в парке под кустами валяется. Сам видел!

Развел товарищ Жуков руками.

— Мы не имеем права в частную жизнь мешаться. Если ж у нее такая физиологическая функция? И я вас прошу, товарищ Гулявин, не материться.

— А у меня такая функция... — начал было Гулявин, да махнул рукой устало и закончил лениво: — Ладно! Хрен с ней! Пусть функционирует!

И с тех пор равнодушно стал подписывать «инструюхции» и «цирхюляры».

На заседаниях исполкома сидел безучастно и часто дремал на стуле, слушая препирательства, и только ночью, уходя в самый конец парка, где в сизоватом серебре дрожала холмистая степь, садился на пень, радостно дышал ночной бодрой свежестью и слушал, как шумит в листве холодящий ветерок.

Думал о революции, о буре, ветре, пламени, грохоте пушек, топоте несущихся вперед армий и яростно сжимал кулаки.

Часто досиживал до утра и со скукой шел в совнархоз.

А совсем худо стало, когда поступила в совнархоз секретаршей комиссара Инна Владимировна.

Помещик Федотов, владелец сахарного завода, бежал после Октября невесть куда, а дочка осталась.

Училась прежде в Москве на докторских курсах, но революция закупорила ее в Липецке, деваться было некуда, и по протекции товарища Жукова, с которым вместе работала Инна Владимировна на тифе, определилась на службу в совет.

Сразу невзлюбил ее Гулявин за то, что помещичья дочка.

— В прорубь их всех надо! — сказал он Жукову, когда узнал о назначении секретарши.

— Нельзя так огульно. Девушка хорошая. Может быть полезной работницей. Нам привлекать интеллигентов надо. Такая партийная директива.

Насупился Василий на партийную директиву.

Собственно, не столько помещичье звание вооружило Гулявина против секретарши, а совсем другое, в чем сам он себе не хотел признаваться.

После атаманши дал себе Василий зарок даже не смотреть на баб.

А Инна Владимировна выбила председателя совнархоза из колеи.

Было с ней тяжело и смутно.

И она первая стала льнуть к Василию. Говорила с ним таким особенным певучим говорком, подавая для подписи бумаги. Старалась в это время платьем, локтем или коленом коснуться Гулявина и смотрела прямо в глаза ласковыми глазами, а в глубине их играли кошачьи жадные огоньки.

Когда стояла рядом, всегда тревожило Гулявина царапающее шуршание шелковой юбки, и сладко щекотали ноздри духи. От этого путались буквы в бумагах, прыгали, расползались, терялась нить соображения, и рука с пером беспомощно тыкалась куда не нужно, и всегда с воркующим смешком поправляла Инна Владимировна:

— Что вы, что вы, товарищ Гулявин? Не здесь подписывать. Бумагу портите!

Брала его руку нежной горячей рукой и показывала место подписи.

Потом уходила, усмехаясь.

А Василий ломал перо о стол, вцеплялся в ручки кресла и злобно плевал на стенку.

Иногда подходил к зеркалу и разглядывал себя.

«И черта во мне, что она липнет? На лешего я ей сдался?»

Но зеркало молчало и показывало в зеленоватой глубине своей загорелое, точно из дуба вырезанное лицо, карие глаза с дерзиной, крепкий нос и припухлые красные губы под стрижеными усиками.

Пожимал плечами и опять садился за стол.

Полтора месяца прошло в таком томлении, а удалить секретаршу Гулявин никак не мог.

Придраться было не к чему. Была аккуратна, исполнительна, бóльшую часть работы делала самостоятельно, оставляя Гулявину только подписывать готовые бумаги.

И однажды утром пришла с обычным докладом.

Сразу увидел Василий новую шелковую в полосках кофточку, с большим вырезом, и розу в смоляных косах.

Положила бумаги на стол и, низко нагнувшись, стала докладывать. От движения отстал вырез на груди, и в нем, за тонким батистом рубашки, нечаянно скосившись, увидел Гулявин розовую, круглую, как резиновый мяч, грудь с темным пятнышком родинки.

Захолонуло под ложечкой. Сердито отвел глаза, слушал и не понимал ни одного слова.

Задохнулся, повернулся что-то сказать и опять увидел, как нежно колыхался от дыхания розовый мяч.

Взглянул. Заметила Инна Владимировна и взгляд и дрожь и чуть заметно улыбнулась победной, тревожной и поощряющей улыбкой.

Еще ниже нагнулась, и ощутил плечом Гулявин теплое прикосновение тела.

Поднял голову, взглянул в глаза и сразу схватил секретаршу за руку и впился губами в открытое плечо.

Ахнула Инна Владимировна.

— Ах! Василий Артемьевич, оставьте!... Зачем!..

А сама только ближе прижалась.

Но уже не слышал Василий никаких слов. Притянул Инну Владимировну к себе, тиская и ломая, ища ее губы.

Но вдруг между ним и этими губами тенью мелькнула, пронеслась на миг простреленная, изуродованная голова Строева.

Неистово крикнул Гулявин, опрокинул кресло и отпрыгнул в угол.

Смотрел широко раскрытыми глазами на ошеломленную, красную секретаршу и трясущимися губами сказал шепотом:

— Вон!.. Пошла вон... сволочь!

— Вы с ума сошли, Василий Артемьевич?... Как вы смеете?..

Но уже в бешенстве подскочил Гулявин к столу, схватил графин и закричал на весь совет:

— Вон... сволочь... Убью!

Бросилась Инна Владимировна к двери и едва успела проскочить, как за ней, забрызгав всю комнату стеклом и водой, разлетелся о косяк графин.

А Гулявин совсем обезумел.

Схватил кресло и с размаху по столу,— лопнула доска, и подпрыгнула чернильница, выплеснув лиловую кровь в лицо Василию.

А он продолжал крушить все в комнате и, когда прибежали служащие и красноармейцы, бросился на них, но упал в припадке, и испуганно смотрели сбежавшиеся, как лежит председатель совнархоза на полу с синим лицом, дрыгает ногами, а на губах кипит, пузырясь, пена.

Наутро пришел Василий к товарищу Жукову и сказал:

— Уезжаю!..

— Куда?

— На фронт поеду! Не желаю больше зад просиживать! Счастливо оставаться!

— Да вы же больны, товарищ! Вы изнервничались совсем! Куда вам на фронт!

У Гулявина перекосилось лицо.

— На фронте вылечусь! Воздух мне нужен настоящий! А здесь только случками на кобыльем заводе заниматься!

Вышел, забрал свой чемоданчик, пешком побрел на вокзал, втиснулся в набитую доверху мешочниками вшивую и вонючую теплушку и уехал.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОГУРЧИКИ

Над пожелтевшей осыпающейся пшеницей ядреный июльский жар.

В тучных кубанских нивах гремящие выклики пушек, и поля, оставшиеся без хозяев, шелестя, роняют в землю янтарное налитое зерно.

Вдоль брошенной дороги, в межевой канавке, влипая телами в землю, разно и оборванно одетые, кто в сапогах, кто босые, лежат запыленные люди, прижимают к плечам винтовки и безостановочно стреляют по заросшей вербами плотине, над голубым полноводным ставом.

Знойная тишина сбивается в гремучие клочья треском выстрелов.

А за плотиной, также вжавшись телами в насыпь, стреляют по канавке другие люди, и на плечах у них солнцем вспыхивают блестящие брызги.

С утра пролетарский железный полк ведет бой за станицу и с утра не может продвинуться дальше канавки.

Кадеты попались отборные: марковцы, офицеры, призовые стрелки.

Чуть высунется из канавки неосторожная голова — хлоп, и тычется голова в землю, а меж глаз кровоточит круглая дырка.

Устали красноармейцы, измучились, голодны и яростны, и вокруг слипшихся губ у каждого резкая складка суровой злобы.

— Никак его не возьмешь!

— Сволочи!

— С хланга обойтить!

— Сказал!.. С хланга! По ровному полю? Ночи нужно дождаться.

— Гляди! Антошку убило!

— А було б тоби сказыться, холера твоей матери!

Так же лежит, прижимая винтовку к плечу, Антошка, но

по-особенному вяло распущенному телу знают другие, что Антошка больше не встанет.

— Ах, разъязви твою бабку! На штык бы! Кадет штыка не любит.

— Дойди до штыка! Кишки по дороге оставишь!

— Антилерию надоть!

За плотиной начинает, задыхаясь, плевать горячим ливнем пулемет.

По сухой целине дороги дрожит белая струйка пыли и ползет ближе к канавке, и у лежащих расширяются глаза, следя за страшной, приближающейся струйкой, и еще плотнее вжимаются в землю тела.

Позади цепи, за плоским курганчиком, лежит Гулявин с помощником.

Давно ушли из памяти совнархоз, инструкции, Инна Владимировна.

И опять просторы. Ветер. Воля. Простое и нужное дело.

И нет ни томления, ни скуки, ни смятенности.

Родным звуком свистят свинцовые пчелы.

Только полк уже не тот, не свой, матросский.

Повыбивали матросов, поредела фабричная первая гвардия.

И на смену уже растет в гудящих телефонными и телеграфными зовами, кричащих миру листами газет и плакатов городах новая сила — Красная Армия.

Фабрики и заводы, профсоюзы и парткомы бросают в огненные жерла фронтов самое молодое, самое крепкое, самое пламенное.

Хороши ребята в гулявинском полку, да только обучены мало. Еле с винтовкой управляются, а кадеты трехлинейкой, как портной иглой, орудуют.

И Строева нет. А лежит рядом с Гулявиным новый помощник.

Фамилия у помощника чудная — Няга, а сам еще чуднее фамилии.

Лицо с одной стороны пухлое и короткое, с другой — худое и длинное, как лошадиная морда.

Когда взглянуть слева на помощника, кажется, что Няга — человек веселый: и сложением крепок и жизнью доволен, а справа — лицо и выражение навеки обиженное.

И даже глаза у Няги разнокалиберные. Когда смотрит Гулявин в глаза помощнику, вспоминает всегда картины Соломона Канторовича.

Один глаз, левый, золотистый, ухарский, на солнце огнем поблескивает, а правый — мутно-серый, неживой и бельмом еще затянут.

Сосет всегда Няга короткую носогрейку с махоркой.

Косится на него Гулявин. Как это такого человека сделали? Не иначе, как в два приема.

— Эй, желтоглазый! Плохо дело что-то!

И отвечает Няга голосом как из пустой бочки:

— Нехай!.. К вечеру одужаем!

И опять трубку сосет.

Ходит Няга всегда в широкополой зеленой фетровой шляпе, хохлацких желтых чоботах с подковками, плисовых шароварах и чесучовом пиджаке.

А главная гордость у него — золотые часы с цепью дутой, в полвершка толщины и в аршин длиною. А на цепи брелоков полсотни и все с неприличными картинками.

— С буржуя снял,— говорит,— у Кыиви.

И чтоб всегда часы на виду были, носит Няга поверх синей косоворотки с вышитым крестиками передом шелковый фрачный серый жилет, поперек худого живота и по жилету двумя гирляндами цепь болтается.

Чисто линейный корабль на якоре.

Но храбрости Няга замечательной и в атаки ходит, как за кашей.

Встанет в саженный рост, шляпу на лоб нахлобучит, карабин под мышку и идет с трубкой в зубах.

Идет и духовные стихи распевает — про Алексея божьего человека или про грешника и монаха и никогда шагу не прибавит, не пригнется, равно загребает землю сапожищами.

И когда завидят кадеты в цепи такую фигуру — до того нервничать начинают, что никак в Нягу попасть не могут.

Пулемет с плотины все стрекочет. Няга поворачивает голову и лениво рычит.

— Бида буде! Бачь: за млыном гармату ставлять!

За ветряной мельницей, слева от станицы, копошатся в золотом хлебе люди и лошади, и еще не успевает Гулявин как следует навести бинокль, как жарким снежком вспухает над цепью первая шрапнель.

Гулявин ругается и сует в рот свисток.

Дребезжит захлебывающаяся трель, и поодиночке начинают отползать люди сквозь густую пшеницу, назад, к курганчику.

— Отходить! Против рожна не пойдешь!

Жалко Гулявину. С матросами не пошел бы назад. Пушку и ту забрали бы.

А тут хороший молодняк, но необстрелянный еще.

Оттягиваются цепи. Умолкает грохот с плотины и от мельницы.

Кадеты не преследуют. Им в станице хорошо и сытно.

А железный полк дотягивается до обоза, строится в отдельную колонну и уныло ползет назад, к оставленному вчера хутору.

Но на загибе дороги из маленькой балочки карьером вылетает офицерская кавалерия. Блестят на солнце шашки.

Едва успевает Гулявин рассыпать цепь:

— Цыц! Не стрелять до команды! Залпами!

Уже близко летят лошади и пригнувшиеся к седлам всадники.

— Р-рота... пли!

Дергается воздух от неровного залпа. Второй, третий. Закувыркались лошади, и люди забились в пыли.

Не выдержала конница, повернула и понеслась назад. А Няга на ноги вскочил — и кукиш вдогонку.

— Кишка тонка? Н-на дулю, шибеники!

Бьются на поле и ржут раненые лошади, молчаливо лежат, стонут и пытаются приподняться люди.

— Тащи сюда.

Бегут красноармейцы по полю. Хлопают одиночные выстрелы.

— Не трогать! Веди на допрос!

Привели четверых. Три молоденьких офицерика и долговязый, сухопарый ротмистр с сивыми усами.

Все целехоньки, только ушиблись, слетев с лошадей. Смотрит Василий, наганом помахивает.

— Здравия желаю, ваши благородия! Как живете-можете?

Трясутся молодые, зубами стучат. А ротмистр исподлобья спокойно глядит, и такая усмешечка ядовитая. Заядлый человек — сразу видно.

— Какой части?

— Конного генерала Маркова офицерского дивизиона.

— Сколько ваших в станице? Да не врать, а то! — и ткнул наганом.

Пожал ротмистр плечами.

— На это мне плевать! А врать незачем. Наших больше, чем ваших. Тысячи полторы будет!

— Артиллерии сколько?

— Одна конная батарея.

Задумался Гулявин, потом рукой повел.

— В расход!

Самый молоденький затрясся, заплакал — и на колени перед Василием:

— Товарищ дорогой, голубчик, пощадите!.. Не убивайте. Больше не буду! Мама у меня! Не вынесет!

Поморщился Василий. Офицер, а ревет, как девка.

— А когда в драку лез, о матери думал? Нечего слюни распускать! Вша ползучая! Убрать!

Схватили офицерика, потащили, а он отбивается, кричит. И вдруг ротмистр на него зверем:

— Молчать!.. Стыдно!.. Сопляк! Вы офицерского звания недостойны!

Потом повернулся к Гулявину:

— Эй ты, большевистский Фош! Подыхать на сухой живот тошно. Дай самогону глотку промочить!

Усмехнулся Гулявин.

— Эй, братва! У кого самогон есть? Причасти его благородие!

Вынул один красноармеец фляжку, отвинтил пробку, налил хлебного.

— Пей, кадет, за тот свет!

А ротмистр выбил размахом руки чарочку и голосом, дрогнувшим от злобной обиды, сказал:

— У, сквалыги! Старому кавалеристу перед смертью наперсток? Подавитесь!

Занятно стало Гулявину. Лихой парень.

И приказал ближайшему красноармейцу:

— А ну, братишка, слетай в обоз к каптеру! Скажи, что я приказал бутылку спирту дать.

Собрались все кругом, принесли бутылку.

Вылил Гулявин в ведерко, разбавил водой, достал свою кружку.

— Хлещи, язви тебя в душу, чтоб господу на том свете на меня не скулил! Я человек щедрый!

Ротмистр сел на землю, поставил ведро меж ног, а кругом красноармейцы гогочут

— Го-го-го!..

— Вот это лафа!..

— Ишь ты! Змей Горыныч!

А ротмистр поднял кружку, понюхал, прищелкнул языком и крикнул весело:

— А нет ли, ребята, у кого огурчиков? Без закуски celà ne convient pas pour moi, как говорят французы. Вам этого не понять!

Пуще хохотали кругом. Притащили огурцов и хлеба. Разрезал ротмистр огурец, посолил, положил на краюху.

— За ваше здоровье, братцы! Бить вам нас — не перебить! Чтоб вам на том свете черти кишки на турецкий барабан мотали!

Провел по усам и единым духом всю кружку, даже не сморщился.

Красноармейцы уже за животы держались.

Сам Гулявин рот раскрыл, а Няга под бок локтем:

— Оце дитына! Що?.. Горилку, як тую воду!

А ротмистр вторую кружку, потом третью.

Выцедил остаток в четвертую, выпил, посмотрел грустно на донышко, встал и чуть заплетающимся языком сказал усмехаясь:

— Спасибо на угощении! С-мм-мирно! С-становись! Генерал — марш в рай, без пересадки. С-пасибо!

Гулявин поднял кружку и постоял в раздумье. Потом сказал:

— А ну, отведите его благородие в обоз! Пусть проспится! Я с ним еще поговорю!

— А других, товарищ комиссар?

— Других... списать! Амба! Сопляки, гады!

Через пять минут тянулся полк по дороге, оставив на поле три теплых офицерских трупа.

Розовела на небе закатная бронза.

В обозе на телеге беспробудно спал вдребезги пьяный ротмистр.

Гулявин и Няга ехали перед полком. Няга долго двигал сзади наперед знаменитую свою шляпу и наконец спросил:

— От-то! Що ж ты з им робить будешь?

И Гулявин ответил спокойно и медленно:

— Знаешь, что я думаю? Ежели человек так пить может, значит из него толк будет! Пусть проспится! Завтра я его в правильную веру оборочу! Спецом у нас будет! Рано ему еще помирать.

И Няга удивленно фыркнул и засвистел.

Утром ротмистр только что проснулся и сидел на телеге, продирая глаза, под красноармейский смех, когда подъехал Гулявин.

— Проспался, ваше благородие? Здоров ты пить, леший тебя задери! Вот что я тебе хотел сказать! Бросай свою сволоту! Переходи к нам! Нам толковые люди нужны! Плюнь ты на свою барскую косточку! Косточки-то у всех одинаковые! Все по-одинакому подохнем! Сдуру ты на нас полез! Небось обиделся — погоны сняли, а того в толк взять не можешь, что народу погоны ваши — как удавка на шее! За себя народ дерется, и все одно мы вам шею своротим, сколько ни вертись. А я тебя выручу, в штабе сдам, и командуй у нас полком — сделай удовольствие! Говорю: люди нужны.

Что-то дрогнуло в изумленном и распухшем лице ротмистра, и он посмотрел прямо в глаза Гулявину.

Потом отвел глаза и сказал тихо:

— Первый раз такого вижу!

Опять поднял голову и кончил уже твердым голосом:

— Согласен! Мое слово твердое! Можешь положиться!

— Я, брат, и сам знаю. Пить можешь, значит и слово держать можешь! — и одобрительно потрепал ротмистра по плечу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПОРУЧЕНИЕ

К вечеру подошла на хутор вызванная из соседней группы батарея.

На хуторском широком дворе кучами сидели красноармейцы у костров и ужинали пшенной, пахнущей дымом кашей.

Тонули в сизом мареве остывающие поля, и перелетали по востоку бледно-розовые мгновенные зарницы.

И когда кончился ужин, вышел на крыльцо Гулявин, оглядел двор и скомандовал:

— Полк... становись!

Засуетились, забегали люди, спешно убирая котелки, зазвякали, сталкиваясь, винтовки.

— Батальонные, сюда!

Подошли батальонные командиры.

— Ну, братишки, трогай! Выбить надо кадетов к чертовой матери! Теперь пушки помогут. Наступать по-настоящему. Третий батальон в обход. С резервом Няга останется.

А в эту минуту, разгоняя толпившихся в воротах красноармейцев, вскакал во двор ординарец.

— Где командёр? Пакет срочный!

— Давай!

Разорвал Василий пакет при свете зажигалки, поданной батальонным, прочел бумагу и засвистал.

— Що воно тамечка? Яка-небудь пакость? — спросил Няга.

— Пакость не пакость, а нужно к командующему ехать. Приказано, чтоб сейчас. Скажи, чтоб дали мне тачанку, а тебя оставлю заместителем. Не придется подраться, язви его! Да пусть его благородие, ротмистр, тоже собирается. Разом и его в штабе сдам.

Подали тачанку, и когда садился Гулявин, подкладывая бурку, вышел из темноты ротмистр.

— Ну, собрался, ваше благородие?

— Невелики сборы. Штаны на мне. Чемоданчик-то мой там остался!

— Не беда! Наживешь! Садись!

Сытые серые лошаденки с места рванули тачанку и понесли по ночной степной дороге крупной играющей рысью.

Молчала степь, молчал Гулявин, прикорнул и задремал в углу тачанки ротмистр. Только стучали дробно и четко неподкованные копыта и играла селезенка у левой лошади глухим и ворчливым звуком.

К полночи въехали в станицу. У часового спросил Гулявин, как проехать к штабу, и тачанка подкатила к поповскому дому подле церкви, со сбитой снарядом колокольней, где разместился штаб.

Выпрыгнул Василий из тачанки, размял ноги, за ним ротмистр.

Из освещенного окна ложилась на землю золотая полоса света, и беловатыми клубами оседала поднятая лошадьми пыль.

— Кто приехал? — спросил голос из раскрытой двери.

— Гулявин... К командующему, по вызову.

— Идите сюда!

Подтолкнул Гулявин ротмистра вперед и за ним пошел в дом.

В большой поповской гостиной, с выкрашенным желтой лаковой краской полом и плюшевой мебелью, было накурено и душно.

На столах, на креслах, на полу всюду вперемешку валялись карты, шашки, кобуры, окурки, разбитые тарелки, стаканы.

На диване согнувшись спал толстый человек и заливисто храпел.

Двое сидели за столом и играли в шашки. При входе Гулявина оба повернулись к нему:

— Здорово! Пожаловал? А кто с тобой?

Гулявин оглянулся.

— А это пленное благородие! К командующему привез. Доложите командующему!

— Чаю не хочешь?

— Потом!

Один из игравших открыл дверь в соседнюю комнату:

— Товарищ Корняков! Гулявин приехал!

— Пусть идет!

Гулявин снял бескозырку и бросил на стол. Ротмистр взволнованно оправил пояс на френче.

— Ты не тянись! Он, брат, не Корнилов. У нас попросту,— и шагнул вместе с ротмистром в кабинет.

Командующий сидел на столе, свесив ноги, и диктовал примостившемуся сбоку секретарю приказ.

Поднял на Гулявина веселые, круглые, немного усталые от постоянной бессонницы глаза, насмешливые и умные.

— А, товарищ Гулявин! Молодцом! Быстро!

— Я не один, товарищ командующий. Зверя вам привез замечательного. Пьет самогон, как лошадь, и к нам перейти желает.

Круглые глаза командующего с легкой усмешкой перебежали на ротмистра.

— Вы кто?

— Марковского конного дивизиона ротмистр Лучицкий.

— Сдались?

— То есть не совсем сдался. Лошадь из-под меня выбили, а потом забрали. Сначала вот он хотел меня в расход списать, а потом предложил перейти к вам. Я дал согласие. Может быть, вы мне не поверите. Но я совершенно искренне говорю. На меня можете положиться!

— Что же, вы изменили свои убеждения?

— Видите ли, долго об этом говорить. Бывают с людьми странные вещи. Вчера дрался против вас, а вот он сумел меня перевернуть в час времени. Этого не объяснишь словами. Перешел — и все. Не угодно — расстреляйте.

— Ручаюсь башкой, товарищ командующий! Он мне слово дал! Рубаха парень, хоть и кадет, черти его возьми!

Командующий спрыгнул со стола:

— В расстрелах не принимали участия?

— Никак нет! В бою многих положил, но я солдат и палачом не был. На это у нас есть специалисты.

— Хорошо! Отправьтесь к коменданту штаба, скажите, что я приказал поместить вас при штабе. Завтра я поговорю с вами подробно о многом. Тогда увидим!

Ротмистр поклонился и вышел.

— Вы почему думаете, Гулявин, что он надежен?

— А что ж, товарищ командующий? Если человек одним духом столько водки может выдуть и ни в одном глазе, так на него положиться можно.

— Как? — спросил командующий, и углы его рта запрыгали в сдержанном смехе.

И рассказал Гулявин, как взяли ротмистра и как он его обратил в советскую веру из кадетов.

Секретарь катался от хохота по столу, хохотали пришедшие из соседней комнаты, звучно и крепко смеялся командующий.

— Нет!.. Вас в агитотдел нужно! Таким способом вы всех кадетов переманите!

Но сейчас же оборвал смех командующий и сказал серьезно:

— Вы знаете, зачем я вас вызвал?

— Нет!..

— Очень большое дело! Достаньте документы, товарищ Фомин!

Взял в руки холщовый конверт, туго набитый документами, и продолжал:

— Дело такое. На днях в районе Астрахани захватили поручика Волынского. Ехал от восточной добровольческой группы к Алексееву с широчайшими полномочиями для связи и всякого такого. Ну-с!.. Нужно, чтоб поручик Волынский до Алексеева доехал. И связь держать будет... с нами. Кроме вас, послать некого. Нужен человек стальной и хорошо знающий военные дела. Малейшая оговорка — и каюк. Завтра выедете!

— Здорово!.. Р-работка, киль ей в душу!

— Что? Неужели не справитесь?

— Как?.. Не справлюсь? Это что за слово? — сказал Василий, и на лбу надулась гневная жила.

— Ну, ну!.. Не злитесь! Валите выспитесь! С вами поедет еще один человек, тоже с офицерскими документами. Когда получите сведения, которые вам нужны, срочно отправите его обратно, а сами останетесь и будете регулярно давать сообщения. Явки получите. Только будьте чрезвычайно осторожны. Ну, до утра!

Василий пожал мужскую, твердую руку и вышел во двор. Поглядел на унизанное звездами низкое июльское небо и почесал в затылке. Потом радостно усмехнулся, добрался до тачанки, залез в нее, закрылся буркой и крепко уснул.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ГОСПОДИН ПОРУЧИК

— Потрудитесь обождать минуточку, господин поручик. Сейчас доложу генералу.

Корнет привычно звякнул шпорами, приподнял красную бархатную портьеру и бесшумно исчез за дверью.

Василий оглядел блестящую залу женской гимназии.

Толпились повсюду офицеры в новеньких френчах и погонах, звенели шпоры, гудели голоса.

Посреди залы стоял сухощавый с четырехугольным лицом генерал и визгливо разносил испуганного офицерика.

«Ишь как!.. Дисциплина! Погоди, покажем мы вам дисциплину! — яростно подумал Гулявин.— А любопытно,— как это я выгляжу в их благородиях?»

Рядом стояло трюмо, и к нему подошел Василий.

В стекле фигура в обтянутом коричневом френче с походным снаряжением, с офицерским георгием в петличке и сияющими поручичьими погонами отразила совершенно чужое лицо, и Гулявину показалось, что это и в самом деле не он.

Даже неприятно стало на мгновение. Но тотчас же лицо хитро подмигнуло ему и неслышно сказало:

— Ни хрена, Васька! Не робей! Сами генералами будем!

Опять раскрылась дверь, и так же бесшумно вынырнул из нее корнет.

— Генерал просит вас, господин поручик.

Вздрогнул Василий, екнуло сердце, вспомнил все репетиции с командующим: как входить, как держать себя, закрыл на мгновение глаза, пригибаясь под портьерой, и твердым шагом вошел в генеральский кабинет.

Отпечатывая шаги по ковру, подошел на четыре шага к столу против окна и, остановившись, сказал, отрезая слова:

— Сто сорок восьмого Каспийского полка, поручик Волынский. Прибыл от командования восточной группы Добровольческой армии к его превосходительству, верховному главнокомандующему, с секретными поручениями и для установления постоянной связи и единства действий.

Начальник штаба, молодой и надменный генерал, привстал слегка с кресла и протянул холеную, холодную, пахнущую духами ладонь.

«Надушился, как девка»,— подумал Василий.

— Да, знаю! Мне докладывали. Очень рад, что вы благополучно проскочили фронтовую полосу. Для нас очень ценно установление связи с востоком. Очень жаль, что Михаил Васильевич нездоров и не может вас принять теперь. Я ему докладывал о вас, и он просил передать вам свои лучшие пожелания и сообщить, что он хорошо вас помнит.

— Кто это Михаил Васильевич?

— Генерал Алексеев,— сказал начальник штаба, удивленно подняв бровь.— Ведь вы же служили под его начальством?

Кабинет потускнел и поплыл в глазах Гулявина, и показалось, что молодой генерал вырос, распух и навалился на него, как гора. Но физически ощутимым, страшным напряжением воли сжал загрохотавшее частыми ударами сердце и сказал почти равнодушно:

— Я, знаете ли, привык называть его «ваше превосходительство», а имени-отчества не знал.

На столе задребезжал телефон.

— Виноват! — сказал генерал.— Алло!..

И пока разговаривал генерал по телефону, стиснув челюсти, сидел Василий и упорно думал: «Ну-ну... штука... хурды-мурды!.. Как же это наши проморгали? Не могли, сволочи, догадаться, что к Алексееву неизвестного человека не пошлют! Влип... Драла нужно, иначе амба. Ах ты обормот! Ну, погоди ж! Подыхать так с гаком. Высосу сейчас из кадета все, что можно. Лишь бы до вечера ничего не вышло. Передам товарищу вечером все, пусть катится. А потом сам ходу дам. Не сидеть мне здесь. Хорошо, если выдерусь».

Генерал положил трубку.

— Очень извиняюсь! У нас такая спешка!

— Понимаю, ваше превосходительство. Мне разрешите тут получить у вас справочку по нескольким срочным вопросам.

И вытащил из кармана лист, на котором записаны были данные командующим вопросы.

Генерал поморщился.

— Знаете, я напишу вам записку к начопероду. От него узнаете все. Как вы устроились? В «Бристоле»? Дрянь — клоповник! Переезжайте в «Лондон». Я распоряжусь коменданту. Вечером обязательно приходите в «Grill-Room». Мы там все собираемся. Женщины хорошие есть. Не оскудела еще русская земля. Это у большевиков там — стриженые жидовки только остались, а у нас есть на что посмотреть. И потом в ресторане свободнее. Можно будет поговорить,— сказал генерал, передавая записку.

Василий поднялся.

— Честь имею, ваше превосходительство!

Генерал опять протянул руку через стол и спросил:

— Ну, как у вас в восточной группе дела? Много сволочи набили?

— Набили-то много, да сволочь всюду растет, туды ее в душу! — сказал Василий, и сам вздрогнул от сорвавшейся брани.

Генерал опять удивленно поднял бровь, но ничего не сказал, и Василий вышел из кабинета.

Генерал внимательно посмотрел ему вслед и взялся за бумаги. Но неожиданно остановился и нажал кнопку звонка.

На белом лбу генерала прорезалась морщинка, и он застучал пальцем по столу.

В дверях вырос корнет.

— Изволили звать, ваше превосходительство?

— Вот что,— сказал медленно и как бы раздумывая генерал,— тут был у меня поручик Волынский, так вот...

Генерал остановился и посмотрел с напряжением на сукно письменного стола, закапанное красными чернилами.

— Впрочем, нет!.. Ерунда!.. Можете идти! — внезапно оборвал он и опять погрузился в бумаги.

В зале Василий взглянул в бумажку. В ней генерал предлагал начальнику оперативного отдела информировать поручика Волынского, как представителя восточной Добровольческой армии, по всем интересующим его вопросам.

Отлегло от сердца.

«Ладно! Что будет, то будет! Пока налево пойду,— сегодня нужно все высосать и переслать. А потом и сам уплыву в кильватер».

Мимо бежал какой-то адъютант, и к нему обратился Гулявин:

— Где кабинет начальника оперативного?

— Налево по коридору, за вторым поворотом, комната тридцать,— бросил адъютант на бегу.

По чистому коридору, с проложенными половиками, мимо офицеров-часовых дошел Василий до тридцатой комнаты и, проходя, дивился: «Чистота! У нас поди окурков бы нашвыряли и всякой блевотины, а тут ни пылинки. Как в церкви. Ну, ни черта! Накладем вам и с чистотой!»

Начальник оперода гнул мощную спину над картами и планами и искренне обрадовался поручику Волынскому. Можно было оторваться от наскучившей работы и поговорить всласть.

И засыпал Василия вопросами о восточном фронте, о чехословаках, о полковнике Муравьеве, любезно угощая толстыми папиросами. Сидел Василий и врал с три короба, и сам дивился, как хорошо выходит.

С полковником было легче. Был начальник оперода старый служака из кадровиков, выслуживший горбом полковничий чин, не дурак выпить, и говорить с ним не представляло затруднения — не то что с начальником штаба.

И когда загибал Василий по привычке словечки, густо хохотал полковник и одобрительно похлопывал по колену поручика Волынского волосатой красной ручищей.

И в промежутках разговора настойчиво, осторожно и внимательно выведывал Василий все, что было записано на вопросном листке, делая отметки цифр и названий.

Наконец полковник взглянул на часы:

— Пора кончать! Голодное брюхо к войне глухо! Хе-хе! Идемте, поручик, обедать. Я тут в жидовской домашней столовой питаюсь. Фаршированная щука — роскошь! — И полковник в умилении выпустил слюну на потертый френч.

— Нет, спасибо. Меня ждут! Завтра!

— Ну, вечером в ресторашку. Небось Романовский уже приглашал?.. Обязательно! Там только и отдыхаем!

Вышли из штаба вместе. Василий позвал извозчика и распрощался с полковником.

— До вечера! Но завтра непременно вас фаршированной щукой накормлю.

— Хорошо! Завтра можно!

И на прощание замахал еще полковник ручкой вслед отъезжающему извозчику.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

АМБА

В номер гостиницы бурей влетел Василий и бросился к спутнику.

— Братишка! Пропало дело! Сегодня тикай со всеми манатками!

— Что?.. В чем дело? — побледнел тот.

— А такое, брат, дело, что попали мы под лафет. Не догадались наши, а вышла совсем пакость... Дрянь дело. Поручик-то, оказывается, самому Алексееву знаком. Как сказал мне это начальник штаба — ну, думаю, тут мне и крышка. На счастье, сам Алексеев-то болен, и к нему допуска нет. А то сразу бы конец! Сейчас дам тебе все сведения, донесение напишу, и катись ты колбаской сейчас же!

— А вы, товарищ Гулявин?

— А я, брат, останусь.

— Вы с ума сошли! Ведь верная смерть! Командующий не предполагал же такого осложнения.

— Это я знаю! Но только без приказа вернуться не могу. Потом — пока генерал болеть изволит, мне не страшно. А выздоровеет — так я улизнуть успею. А я еще насосу из кадетов молочка.

— А я бы все-таки вам советовал уехать.

— Советовать можешь, а уехать я не уеду! Баста!

Сел Василий за стол, достал бумагу и настрочил донесение командующему. Распороли подкладку у френча и зашили в нее вместе с переписанным начисто опросным листом.

— Ну, вот и готово! Поезжай, голубь! Кланяйся нашим!

— Товарищ Гулявин! Едем вместе! Ведь бесполезное геройство.

— Чего?.. Геройство? Слова какие развел! Что ж, я подохнуть не смогу как следует?

— Но зачем же умирать без толку, когда вы можете еще пригодиться?

— А кто тебе сказал, что я умирать собрался? Не каркай,— и не подумаю. Еще тебя переживу! Ну, не копайся! Живо!

Сам проводил Василий товарища до явочной квартиры и попрощался с ним:

— Скажи командующему, чтоб не беспокоился. Пока страшного нет! — и пошел обратно в гостиницу.

Вышел на балкон и приказал подать себе самовар.

Шумела внизу кипящая людьми улица, под музыку шел какой-то отряд, и всюду на тротуарах толпились люди в офицерских погонах.

И пока смотрел Василий, грозная и зловещая ярость росла и ширилась в сердце.

«Слетелись, вороны?.. Летайте, летайте! Недолго вам, чертям, летать осталось! Обскребут с вас перышки!»

— Самоварчик готов, ваше благородие! — сказал половой, внося самовар.

Пока пил Василий чай, за дом зашло порозовевшее солнце, побежали косые синеватые тени по улице, расплылись, и за короткими кубанскими сумерками черным звездным бархатом накрыла город ночь.

И с первыми звездами издалека, с гор, подул холодный, все разрастающийся ветер. Стало холодно на балконе.

Василий поднялся идти в номер, и в эту минуту резкий шквалистый порыв рванул балкон, вздернул скатерть и свалил стакан.

И сейчас же засвистал по улице, завывая в верхушках тополей, пригибая их к земле.

«Штормяга будет ночью»,— подумал Василий, входя в номер и зажигая свет.

Прилег на кровать, но спать не хотелось.

Вместе с ветром, сухим и холодным, пришла тревога. Чаще стало биться сердце, и тяжело стискивало дыхание, как будто стал твердым воздух и с трудом проходил в легкие.

Василий встал с кровати и посмотрел в окно.

По улице несло густую пыль, и тополя страшно и мрачно раскачивались под порывами.

Василий вспомнил о ресторане.

«Пойти, что ли? Посмотрю, как офицерня гуляет. Потом же еще чего узнаю. Из пьяного легче вытянуть».

Он надел фуражку и пристегнул шашку к портупее. Внимательно осмотрел браунинг и положил в карман.

Пошел к дверям, но вернулся и раскрыл маленький кожаный чемодан.

Порылся в белье и из-под белья вытащил английскую круглую, всю в шестигранных дольках, похожую на ананас, ручную гранату.

Вставив в отверстие запальную трубку, подержал на ладони и сунул в широкий боковой карман френча.

На улице было мало народу. Всех разогнал ветер.

Спросив у кого-то, куда идти, Василий свернул в переулок, перешел бульвар, и уже издали метнулся ему в глаза ресторан ярким, мертвецки зеленым сиянием ртутных ламп над вывеской: «Grill-Room».

Поднялся на крыльцо, прошел вестибюль и остановился на пороге зала, ослепленный светом, мельканьем людей, оглушенный яростным взвизгиванием скрипок, игравших нахальный плясовой мотив.

Медленно прошел между столиками, ища свободного места

и нерешительно оглядываясь, когда от стены услышал хрипловатый голос:

— Поручик!... Поручик!..

Оглянулся и увидел полковника из оперода, махавшего рукой.

— Поручик!.. Оглохли вы?.. Идите к нам!

Василий подошел к столику.

— Знакомьтесь! Поручик Волынский! Капитан Одоевцев! Поручик Рыбкин! Прапорщик Селянинов!

Василий перездоровался с офицерами и сел на предложенный стул, оглядывая ресторан настороженными глазами.

— Выбирайте, поручик!.. Чего хотите? Какое вино пьете? Сегодня мы угощаем пр-редставителя доблестной братской армии Учредилки.

Василий взял карточку вин. Редко приходилось ему заказывать вина в ресторане. Пробежал глазами, понравилось почему-то круглое название «Го-Сотерн».

— Вот! Это!

— Эге! Поручик у нас барышня!.. Дамское винцо пьет! Нет, голубчик, это не идет. Тогда я сам хозяйничаю. Начнем по русскому обычаю с беленькой, потом винца, потом коньячку, и опять беленькой, и опять сначала.

Поручик Рыбкин, длинный и унылый человек, с перекашивающим лицо большим шрамом, начал расспрашивать Василия о восточном фронте.

И снова Василий пошел заливать, как утром полковнику, гладко и хорошо.

В промежутках разговора выпивал наливаемую полковником водку и с аппетитом ел вкусное что-то, залитое желтоватым острым соусом.

Визжала музыка, на эстраде жонглировал тарелками эксцентрик с красным носиком и в маленьком, набекрень надетом цилиндре.

— Слушайте, Рыбкин!.. Бросьте из гостя кишки выматывать. Ему с утра очертело. Веселиться надо! Дело — не волк! Смотрите на эстраду, поручик! Сейчас бабочка вылезет — загляденье!

Опять взвыли скрипки, и на эстраду легко выпорхнула из-за кулис пышная, розовая, почти совершенно обнаженная женщина в легком голубом газе, залитом сверкающими блестками.

— Смотрите!.. Смотрите!.. Бюст!.. А ножки? — шептал в ухо Василию разнежившийся полковник.— Не баба — пирожное! И скажу вам — недорога. Пятьсот целковых! Хотите — познакомлю?

Василий взглянул и уткнулся в тарелку, куда полковник наложил ему спаржи. Не знал, что делать со спаржей, и стал ловить ее вилкой.

— Что вы, батенька, делаете?.. Спаржу вилкой?.. Видно, здорово вам мисс Рози в поджилки ударила.

— Я этой штуки не ел! У нас не растет! — зло сказал Василий.

— Я и забыл! Вы ведь сибиряк! Ну, выпьем, голубчик, за тайгу-матушку, чтоб в ней все большевики передохли!

Допивая рюмку, услыхал Василий сбоку шуршание шелка, такое знакомое и дразнящее, что вспомнил Инну Владимировну, и резко повернулся.

Стояла у столика небольшого роста женщина в испанском костюме, с черной кружевной мантильей на плечах и цветами в волосах, худая и тонкая.

— Карменсита!.. Садитесь! — сказал, привстав, капитан Одоевцев.

Женщина легким движением расправила платье и опустилась на стул. Прищурила миндалевидные глаза и посмотрела на Гулявина.

— Новенький? Откуда достали? — процедила она гортанным голосом.

— Познакомьтесь. Поручик Волынский!

Карменсита протянула тонкую руку для поцелуя, и Василий смущенно поцеловал.

Женщина блеснула глазами.

— Не надоело еще пить? Вот люди!.. Скоро вас в психическую отвезут?

— На наш век хватит,— ответил Одоевцев,— лишь бы в психической вас можно было найти, а там море по колено!

Она опять повернулась к Гулявину:

— Вы откуда? Из Сибири?.. Далеко! У вас лицо хорошее, не пропитое!..

Но прежде чем Василий ответил, у стола появился тоненький, очень красивый офицер в щегольской черкеске. Его встретили дружными возгласами:

— Князь!.. Душка!.. Откуда? Какими судьбами?

— С фронта только что... В отпуск.

— Садись, садись. Рассказывай!

Офицер сел против Карменситы и закурил.

— Что ж рассказывать?.. Особенного ничего!.. Скука! Вот разве в Тихорецкой удовольствие было,— выпуская дым из мягких розовых губ, сказал он неторопливо, приятно грассируя.

— Ну?

— Взяли мы ихний санитарный транспорт, а там девчонка, сестра милосердия. Завзятая большевичка! Из вагона по нашим шпарила. Но хорошенькая, как чертенок. Лет семнадцати. Ну, привели ее ко мне... Я говорю: «Жаль мне вас, мадемуазель, на тот свет отпустить такой юной и не познавшей высоких наслаждений нежной страсти».— «Я вас не понимаю»,— говорит. Ну, я ей объяснил так, жестами. Так она мне в лицо плюнула. Ну, естественно, позвал казачков, приказал ее разобла-

чить, привязали к кровати, и через нее целый взвод пропустил. Познала в избытке.

Слушал Василий, и мутилось у него в голове от выпитой водки и злобы.

Крепко сжал в кармане браунинг, но, прежде чем успел слово сказать, поднялась Карменсита:

— До свиданья, господа! Я за одним столом с подлецом, который хвастается своей подлостью, не сижу.

Вскочил князь. Поднялись все офицеры. Встал и Василий.

А князь перегнулся через стол и Карменсите:

— Возьми свои слова обратно... ты... девка!

— Подлец!

А князь из стакана в лицо ей вином.

Но не успел стакан поставить, как Василий с размаху всем кулаком ударил его по зубам.

Охнул князь и полетел под столик. Офицеры Гулявина за руки:

— Поручик!.. Поручик!.. Успокойтесь!

Вырвался красный и разъяренный.

— Лапу убери! Цыц... сволочи! Кадетня чертова! Всех расшибем! Кровь выпустим!

Кричал, уже сам не понимая что, и с силой бил кулаком по столу.

Сбегались люди от всех столиков на скандал.

Тогда вытащил Василий браунинг.

Кто-то крикнул:

— Обезоружьте!

— Обезоружить? Возьми! Попробуй! По пятеро на одну руку вашего брата, кадетской сволочи, уберу! Гады!

И тогда всех покрыл догадавшийся голос:

— Большевик! Большевистский шпион! Держи!

Замелькали в руках револьверы.

Шагнул Василий к выходу. На дороге встало чье-то лицо, и в него, не целясь, в упор хватил Василий.

Грянули другие выстрелы, и как шилом ударило Василия в плечо.

Остановился и вспомнил:

— Что с вами по мелкоте возиться? Нате! Жрите!

Вырвал из кармана гранату, дернул запал и,размахнувшись, швырнул между расступившихся, в столпившуюся у стены кучку.

И сейчас же рвануло воздух раскатом грома, заволокло рыжим дымом; мгновенно погасло электричество... А Василий уже бежал к выходу, оттолкнул на пороге кого-то и очутился на улице.

Бешеный вихрь ударил ему в лицо холодом и пылью, и он бросился туда, навстречу ветру, повинуясь его зовущему родному, радостному вою.

Вдогонку с крыльца треснули выстрелы.

Со всех сторон бежали люди.

— Ловите!.. Стреляйте!.. Вон он!..

— Звоните коменданту!

— Конных!

Василий перебежал бульвар и выбежал в переулочек.

Бежал мимо запертых домов и увидел одну открытую калитку. Почти бессознательно вскочил в нее и захлопнул за собой.

Задержал шаг и прошел вонючий двор. Рядом с сарайчиком увидел лестницу на чердак и моментом, как на марс, взлетел на нее. Чердак был открыт.

Влез внутрь, увидел большой ящик с дровами и, морщась от боли в плече, забаррикадировал им дверь.

Подошел к слуховой отдушине и услыхал топот и крики в переулке.

«Авось пробегут...»

Но сейчас же явственно услыхал кричащий голос:

— В эту калитку! Сюда вбежал!

Хлопнула калитка. Под подворотней забоцали бегущие шаги.

«Ползите. Ползите. Я вас угощу...»

Злобно подумал, что дешево не сдастся, и вдруг вспомнил с ужасом, что не взял запасной обоймы.

Оставалось всего шесть патронов.

«Ничего. Хватит...»

Внизу бежали через дверь, кричали. В доме начали открываться окна.

Наконец чердачная лестница затрещала под шагами.

— Заперто?

— Нет... Приперто изнутри! Нажимай!

Василий прижался за ящиком.

Дверь зашевелилась и приоткрылась, просунулась рука, потом голова, и Василий нажал курок.

Снаружи закричали:

— Стреляет, сволочь!

— Давай винтовки!

— На крышу!.. Бейте с крыши!..

Загрохотало железо на крыше, и над головой оглушительно прокатился винтовочный выстрел.

Другой, третий, и тяжело ударили в дверь. Еще раз. Доска с треском вывалилась, и вспомнил почему-то Василий, как в феврале выбил он сам чердачную дверь прикладом.

Вылетела вторая доска, и просунулась внутрь винтовка.

Василий яростно ухватился за нее, чтобы вырвать, но плеснул выстрел, брызнуло в лицо огнем, оглушило и сильно ударило в скулу.

Он выпустил винтовку и два раза выстрелил в щель.

За дверью упало тело.

Послышалась ругань.

— Сразу надо! Поодиночке он многих перебьет!

Снова затрещала под ударами дверь и рухнула, в провал бросилось три человека.

Три раза хлопнул браунинг, и трое легли на чердачный пол.

Во дворе затихло.

— Вот черт! — сказал кто-то внизу.

— Надо света подождать!

Василий отбросил браунинг и посмотрел на небо. Восток начинал светлеть.

Он подполз к отдушине и осторожно выглянул. На крыше никого не было.

Напрягая все силы, протиснулся в отдушину, встал на ноги и сейчас же из окна услышал истерический женский крик:

— На крыше!.. На крыше-е!..

Тогда медленно и не прячась подошел к краю.

Кровь заливала лицо и текла по френчу. Остановился у желоба и встретил глазами поднятые дула винтовок. Поднял руку.

— Сдавайся, сукин сын!

—Амба! Патроны вышли! Только слушайте, сволочи, гадово семя! Мне подыхать! Но и вы подохнете... гады боговы! Амба!

И прыгнул вниз на вытянутые жала штыков.

Ленинград,
январь — май 1924



СОРОК ПЕРВЫЙ

Памяти
Павла Дмитриевича Жукова

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

написанная автором исключительно
в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не треба. Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяренной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Все по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы — ржаветь в глухих тупиках,— не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и вёдро, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка.

Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птичьи сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочья текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи, и заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги — малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова сызмалолетства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утинный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож — две капли воды — на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передом, должна появиться буква «В».

Христос воскресе!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся

штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом.

Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнем.

Главное в жизни Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где ни попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи.

Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги.

Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись: *Стих Марии Басовой.*

Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Между другими о Ленине.

Ленин герой наш пролетарский,
Поставим статуй твой на площаде.
Ты низвергнул дворец тот царский
И стал ногою на труде.

Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке, с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать, рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи.

Сотрудники катались по подоконникам: мебели в редакции в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающими зрачками, собирала листки и говорила нараспев:

— Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки, ровно как топором, обрубаю, а все плохо. Ну, еще потрудюсь,— ничего не поделаешь! И с чего это они такие трудные, рыбья холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

— Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел, всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

— Тридцать девятый, рыбья холера. Сороковой, рыбья холера.

«Рыбья холера» — любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела.

Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую яркоцветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам.

Такими были ушедшие на север, в беспросветную зернь мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом, увалы между песчаными взгорбьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо — то ли ветром диким, то ли назойливым визгом крестящих воздух вдогонку вражеских пуль.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах, хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдутые ветрами такыры блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к нордвесту от колодцев Кара-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков — малиновый и много еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из вьюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнущая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.

Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься,— отозвался мертвый голос из-за костра,— все равно каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачни наперло — чертова сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Кара-Кумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится,— бросил Евсюков,— было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену. Отрубил голосом:

— Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, там немаканы по берегу кочуют, поживимся и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил — замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.

Подняв голову, спросил рядом лежащий:

— А до Арала что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

— Штаны подтянуть придется. Не велики князья! Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

— На три перехода?

— Что ж на три! А до Черныш-залива — десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим — верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого — и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

— Кончь! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем,— шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос,— а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящих всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

— Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал исступленно Евсюков:

— Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер:

— Чево сопли повесили? Тюпайте кашу — дарма варил, что ли? Вояки, едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала.

Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван киргизий идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:

— Какой караван, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыбья холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услыхав о караване, быстро приходили в себя.

Поднялись двадцать два. Последний не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! — уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вернемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу.

— Не дально! Верстов шесть. Богаты немаканы. Вьюков на верблюдах — во!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш!

Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода.

С плоенной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке, на плоском, что обеденный стол, такыре темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал восподь! Смилостивился,— упоенно прошептал рябой молоканин Гвоздев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

— Тохта! Если ружье есть — кладь наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.

Не успел докричать,— оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

— Ребята, забирай верблюдов! — орал Евсюков.

Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп.

Щенками тявкали обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.

— Ложись!.. Дуй их, дьяволов!..— продолжал кричать Евсюков, валясь в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди.

Непохоже было, чтобы киргизы. Слышком меткий и четкий был огонь.

Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев. Степь грохотала перекатами, но понемногу затихали выстрелы от каравана.

Красноармейцы начали подкатываться перебежками.

Уже шагах в тридцати, вглядевшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска.

— Марютка! Гляди! Офицер! — повернул голову к подползшей сзади Марютке.

— Вижу.

Неспешно повела стволом. Треснул раскат.

Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыбья холера!» — как, в белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый платок.

Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.

Евсюков побежал на офицера. Сзади обогнал красноармеец, размахиваясь на ходу штыком для лучшего удара.

— Не трожь!.. Забирай живьем,— прохрипел комиссар.

Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю.

Пятеро, что были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свинцом.

Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в ноздри кольца, связывали по нескольку.

Киргизы бегали за Евсюковым, виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряжение, бормотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками.

Комиссар отмахивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в плоские носы, в обветренные острые скулы.

— Тохта, осади! Никаких возражениев!

Пожилой, седобородый, в добротном тулупе, поймал Евсюкова за пояс.

Заговорил быстро-быстро, ласково пришептывая:

— Уй-бай... Плоха делал... Киргиз верблюда жить нада. Киргиз без верблюда помирать пошел... Твоя, бай, так не делай. Твоя деньга хотит — наша дает. Серебряна деньга, царская деньга... киренка бумаж... Скажи, сколько твоя давать, верблюда назад дай?

— Да пойми ж ты, дубовая твоя голова, что нам тоже теперь без верблюдов подыхать. Я ж не граблю, а по революционной надобности, во временное пользование. Вы, черти немэканые, пехом до своих добредете, а нам смерть.

— Уй-бай. Никарош. Отдай верблюда — бири абаз, киренки бири,— тянул свое киргиз.

Евсюков вырвался.

— Ну тя к сатане! Сказал, и кончено. Без разговору. Получай расписку, и все тут.

Он ткнул киргизу нахимиченную на лоскуте газеты расписку.

Киргиз бросил ее в песок, упал и, закрыв лицо, завыл.

Остальные стояли молча, и в косых черных глазах дрожали молчаливые капли.

Евсюков отвернулся и вспомнил о пленном офицере.

Увидел его между двумя красноармейцами. Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара.

— Кто такой есть? — спросил Евсюков.

— Гвардии поручик Говоруха-Отрок. А ты кто такой? — спросил, в свою очередь, офицер, выпустив клуб дыма.

И поднял голову.

И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

о некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии без верблюдов и об ощущениях спутников Колумба

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка.

И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ.

По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его, на спине, нашли потайной кармашек.

Взвился поручик на дыбы степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и растерянность.

Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался.

Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-Отрок, Вадим Николаевич, уполномочен правительством верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при Закаспийском правительстве генерала Деникина.

Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.

Сложив документы, Евсюков бережно сунул их за пазуху и спросил поручика:

— Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов и я командующий комиссар Арсентий Евсюков.

Вскинулись на Евсюкова поручичьи ультрамариновые шарики.

Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой.

— Monsieur Евсюков?.. Оч-чень рад познакомиться! К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.

Веснушки Евсюкова стали белее лица. При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик.

Комиссар вытащил наган.

— Ты, моль белая! Не дури! Или выкладай, или пулю слопаешь!

Поручик повел плечом.

— Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь — вовсе ничего не слопаешь!

Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся.

— Я тебя гопака плясать заставлю, сучье твое мясо. Ты у меня запоешь,— буркнул он.

Поручик так же улыбался одним уголком губ.

Евсюков плюнул и отошел.

— Как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? — спросил красноармеец.

Комиссар почесал ногтем облупленный нос.

— Не... не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознание снимут

— Куда ж его еще, черта, таскать? Сами дойдем ли?

— Афицерей, что ль, вербовать начали?

Евсюков выпрямил грудь и цыкнул:

— Твое какое дело? Я беру — я и в ответе Сказал! Обернувшись, увидел Марютку

— Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие Смотри в оба глаза. Упустишь — семь шкур с тебя сдеру!

Марютка молча вскинула винтовку на плечо. Подошла к пленному

— А ну-ка, поди сюды. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На триста шагов на бегу сниму. Раз промазала, в другой не надейся, рыбья холера.

Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканно поклонился.

— Польщен быть в плену у прекрасной амазонки.

— Что?.. Чего еще мелешь? — протянула Марютка, окинув поручика уничтожающим взглядом.— Шантрапа! Небось, кроме падекатра танцевать, другого и дела не знаешь? Пустого не трепли! Топай копытами. Шагом марш!

В этот день заночевали на берегу маленького озерка.

Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода.

Спали здорово. С киргизских верблюдов поснимали кошмы и ковры, завернулись, укутались — теплынь райская.

Гвардии поручика на ночь крепко связала Марютка шерстяным верблюжьим чумбуром по рукам и ногам, завила чумбур вокруг пояса, а конец закрепила у себя на руке.

Кругом ржали. Лупастый Семянный крикнул:

— Глянь, бра,— Марютка милово привораживает. Наговорным корнем!

Марютка повела глазом на ржущих.

— Брысь-те к собакам, рыбья холера! Смешки... А если убегнет?

— Дура! Что ж, у него две башки? Куды бечь в пески?

— В пески не в пески, а так вернее. Спи ты, кавалер чумелый.

Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку.

Сладко спать под шерстистой кошмой, под духмяным войлоком. Пахнет от войлока степным июльским зноем, полынью, ширью зернь-песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме.

Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась Марютка, и, сухо вытянувшись на спине, поджав тонкие, красивого выреза, губы, спит гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Один часовой не спит. Сидит на краю кошмы, на коленях винтовка-неразлучница, ближе жены и зазнобушки.

Смотрит в белесую снеговую сутемь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики.

Сорок четыре верблюда теперь. Путь прям, хоть и тяжек.

Нет больше сомнения в красноармейских сердцах.

Рвет, заливается посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой, поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами, оттеплевает застывшее тело.

Снег, муть, зернь-пески.

Смутная азийская страна.

— Верблюды где? Верблюды, матери твоей черт!.. Анафема... сволочь рябая! Спать?.. Спать?.. Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!

У часового голова идет кругом от страшного удара сапогом в бок. Мутно водит глазами часовой.

Снег и муть.

Сутемь дымная, утренняя. Зернь-пески.

Нет верблюдов.

Где паслись верблюды, следы верблюжьи и человечьи. Следы остроносых киргизских ичигов.

Шли, наверно, тайком всю ночь киргизы, трое, за отрядом и в сон часового угнали верблюдов.

Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках...

— Расстрелять тебя, сукина сына, мало! — сказал Евсюков часовому.

Молчит часовой, только слезы в ресницах замерзли хрусталиками.

Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усмешечкой:

— Дисциплиночка советская! Олухи царя небесного!

— Молчи хоть ты, гнида! — яростно зыкнул Евсюков и не своим, одеревенелым шепотом бросил: — Ну, что ж стоять? Пошли, братцы!

Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам.

Десятеро ложились вехами на черной дороге.

Утром мутнеющие в бессилье глаза раскрывались в последний раз, стыли неподвижными бревнами распухшие ноги, вместо голоса рвался душный хрип.

Подходил к лежащему малиновый Евсюков, но уже не одного цвета с курткой было комиссарское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему, как старые медные грошики.

Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти бескровную, почернелую ранку.

Наскоро присыпали песком и шли дальше.

Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотья боты, обматывали ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы.

Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра.

Один идет прямо, спокойно.

Гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Не раз говорили красноармейцы Евсюкову:

— Товарищ комиссар! Что ж долго его таскать? Только порцию жрет задарма. Опять же одежа, обужа у него хороша, поделить можно.

Но запрещал Евсюков трогать поручика.

— В штаб доставлю или с ним вместе подохну. Он много порассказать может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет.

Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз.

А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.

Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультрамариновые шарики, выдавил хриплым лаем:

— Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам щуплый, а тянешь за двух. С чего это в тебе сила такая?

Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил:

— Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом. Могу приказать себе не страдать.

— Вона что,— протянул комиссар.

Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их с шипеньем змеился от ветра песок, и казалось, никогда не будет конца им.

Падали в песок, скрежеща зубами. Выли удавленно:

— Не пойду даля. Оставьте отдохнуть. Мочи нет

Подходил Евсюков, подымал руганью, ударами.

— Иди! От революции дезертировать не могишь.

Подымались. Шли дальше. На вершину бархана выполз один. Обернувшись, показал дико ощеренный череп и провопил:

— Арал!.. братцы!..

И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющей синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрюченными пальцами.

Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно скребли пальцами палубу каравелл испанские мореходы при крике: «Земля!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

в которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а комиссар снаряжает морскую экспедицию

На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул.

Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой.

Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки.

Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки.

Старик с продавленном носом погладил редкие пучки бороденки, потом грудь. Сказал, кивнув:

— Селям алекюм. Куда такой идош, тюря?

Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь.

— Красные мы. На Казалинск идем. Примай, хозяин, покорми. За нас тебе благодарность от Совета выйдет.

Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами:

— Уй-бай... Кирасни аскер. Большак. Сентир пришел?

— Не, тюря! Не из центра мы. От Гурьева бредем.

— Гурьяв? Уй-бай, уй-бай. Кара-Кума ишел?

В киргизских щелочках заискрился страх и уважение к полинялому малиновому человеку, который в февральскую стужу прошел пешком страшные Кара-Кумы от Гурьева до Арала.

Старик похлопал в ладоши, гортанно проворковал подбежавшим женщинам.

Взял комиссара за руку:

— Иди, тюря, кибитка. Испи мала-мала. Сыпишь, палав ашай.

Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам.

— Ашай, тюря, ашай! Твоя немного высохла. Ашай — здорова будишь.

Ели жадно, быстро, давясь. Животы вздувались от жирного плова, и многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные и распаренные, уснули опять.

Не спали лишь Марютка и поручик.

Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке.

Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к «Новому времени». Во весь лист был напечатан портрет министра финансов графа Коковцева, и поперек коковцевского высокого лба и светлой бородки ложились в падучей Марюткины строки.

А вокруг пояса Марюткина по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур скрещенные за спиной кисти поручика.

Только на час развязала Марютка чумбур, чтобы дать поручику наесться плова, но только отвалился от котла, связала опять.

Красноармейцы хихикали:

— Тю, ровно пса цепная.

— Втрескалась, Марютка? Вяжи, вяжи миленького. А то, не ровен час,— припрет на ковре-самолете по воздуху Марья Маревна, украдет любезного.

Марютка не удостоила ответом.

Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потугами карандаша.

Подался вперед всем корпусом и тихо спросил:

— Что пишешь?

Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди:

— Тебе какая суета?

— Может, письмо нужно написать? Ты продиктуй — я напишу.

Марютка тихонько засмеялась.

— Ишь ты, проворяга! Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу, да в бега! Не на ту напал, сокол. А помочи твоей мне не требуется. Не письмо пишу, а стих.

Ресницы поручика распахнулись веерами. Он отделился спиной от столба:

— Сти-и-их? Ты сти-ихи пишешь?

Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской.

— Ты что взбутился? А? Ты думаешь, тебе только падекатры плясать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя!

Поручик развел локтями, кисти не двигались.

— Я тебя дурой и не считаю. Только удивляюсь. Разве сейчас время для стихов?

Марютка совсем отложила карандаш. Взбросилась, рассыпав по плечу ржавую бронзу.

— Чудак — поглядеть на тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю означить, как мы, голодные, холодные, по пескам перли! Все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их вкладаю. Только народовать не хотят. Говорят — учиться надобно. А где ж ты время возьмешь на ученье? От сердца пишу, с простоты!

Поручик медленно улыбнулся:

— А ты прочла бы! Очень любопытно. Я в стихах понимаю.

— Не поймешь ты. Кровь в тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки да про бабу описать надо, а у меня все про бедный люд, про революцию,— печально проронила Марютка.

— Отчего же не понять? — ответил поручик.— Может быть, они для меня чужды содержанием, но понять человеку человека всегда можно.

Марютка нерешительно перевернула Коковцева вверх ногами. Потупилась.

— Ну, черт с тобой, прослушь! Только не смейся. Тебя, может, папенька до двадцати годов с гибернерами обучал, а я сама до всего дошла.

— Нет!.. Честное слово, не буду смеяться!

— Тогды слушь! Тут все прописано. Как мы с казаками бились, как в степу ушли.

Марютка кашлянула. Понизила голос до баса, рубила слова, свирепо вращая глазами:

Как казаки наступали,
Царской свиты палачи,
Мы встренули их пулями,
Красноармейцы молодцы,
Очень много тех казаков,
Нам пришлося отступать.
Евсюков геройским махом
Приказал сволочь прорвать.
Мы их били с пулемета,
Пропадать нам все одно,
Полегла вся наша рота,
Двадцатеро в степь ушло.

— А дальше никак не лезет, хоть тресни, рыбья холера, не знаю, как верблюдов вставить? — оборвала Марютка пресекшимся голосом.

В тени были синие шарики поручика, только в белках влажно доцветал лиловатыми отсветами веселый жар мангала, когда, помолчав, он ответил:

— Да... здорово! Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Видно, что от души написано.— Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как будто икнув, спешно добавил: — Только не обижайся, стихи очень плохие. Необработанные, неумелые.

Марютка грустно уронила листок на колени. Молча смотрела в потолок юрты. Пожала плечами.

— Я ж и говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. А что необделанные — это везде сказывают, точь-в-точь как ты. «Ваши стихи необработанные, печатать нельзя». А как их обделать? Что в их за хитрость? Вот вы ентиллегент, может, знаете? — Марютка в волнении даже назвала поручика на вы.

Поручик помолчал.

— Трудно ответить. Стихи, видишь ли,— искусство. А всякое искусство ученья требует, у него свои правила и законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.

— Так то ж мост. Для его арихметику надо произойти, разные там анженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке закладены. Скажем, талант?

— Ну что ж? Талант и развивается ученьем. Инженер потому и инженер, а не доктор, что у него с рождения склонность к строительству. А если он не будет учиться, ни черта из него не выйдет.

— Да?.. Вон ты какая оказия, рыбья холера! Ну вот, воевать кончим, обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть поди такие школы?

— Должно быть, есть,— ответил задумчиво поручик.

— Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и горит душа, чтоб натискали в книжке и подпись везде проставили: «Стих Марии Басовой».

Мангал погас. В темноте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты.

— Слышь ты, кадет,— сказала вдруг Марютка,— болят, чай, руки-то?

— Не очень! Онемели только!

— Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу.

— А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали? Я себе не враг.

— Нет, ты поклянись. Говори за мной. Клянусь бедным пролетариятом, который за свои права, перед красноармейкой Марией Басовой, что убечь не хочу.

Поручик повторил клятву.

Тугая петля чумбура расплелась, освободив затекшие кисти.

Поручик с наслаждением пошевелил пальцами.

— Ну, спи,— зевнула Марютка,— теперь, если убегнешь,— последний подлец будешь. Вот тебе кошма, накройся.

— Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария...

— Филатовна,— с достоинством дополнила Марютка и нырнула под кошму.

Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта.

В ауле нужно было отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться по берегу, в обход, на Аральский поселок, оттуда на Казалинск.

На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Так и лежит на берегу, а рыбаки, должно быть, потонули.

Комиссар отправился посмотреть.

Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его. Только разорвала парус и вырвала руль.

Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же, морем, в устье Сыр-Дарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом.

— Так-то лучше,— сказал комиссар.— Во-первых, значит, пленного скорей доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его обязательно до штаба доперать нужно. А потом в штабе о нас узнают, навстречу конную помогу вышлют с обмундированием и еще чем.

При попутном ветре бот в три-четыре дня пересечет Арал, а на пятые сутки и Казалинск.

Евсюков написал донесение; зашил его в холщовый пакетик

с документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане куртки.

Киргизки залатали парус кусками маты, комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок и снятой с бота банки.

В февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда.

Спустили на вольную воду, усадили отправляемых.

Евсюков сказал Марютке:

— Будешь за старшего! На тебе весь ответ. За кадетом гляди. Если как упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай!

ГЛАВА ПЯТАЯ,

целиком украденная у Даниеля Дефо,
за исключением того, что Робинзону
не приходится долго ожидать Пятницу

Арал — море невеселое.

Плоские берега, по ним полынь, пески, горы перекатные.

Острова на Арале — блины, на сковородку вылитые, плоские до глянца, распластались по воде — еле берег видать, и нет на них жизни никакой.

Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется.

Главный остров на Арале Барса-Кельмес.

Что оно значит — неизвестно, но говорят киргизы, что «человечья гибель».

Летом с Аральского поселка едут к острову рыбалки. Богатый лов у Барса-Кельмеса, кипит вода от рыбьего хода.

Но как взревут пенными зайчиками осенние моряны, спасаются рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут.

Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями.

В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Чернышева до самого Барса, раздолье чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого усача или сазана до того, что, не сходя с места, дохнут.

И тогда, вернувшись весной, когда взломает ледяную корку Сыр-Дарья желтой глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осенью засола.

Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным — драгоценное зеркало.

Скучное море Арал.

Одна радость у Арала — синь-цвет необычайный.

Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается.

Во всех географиях это отмечено.

Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим то же говорили.

Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, Семянным и Вяхирем, на Казалинск морским путем.

Радостно вспучивал залатанный парус шелестящий волной ровный бриз. Сонливо скрипел в петлях руль, и закипала у борта густая масляная пена.

Развязала Марютка совсем поручиковы руки — некуда бежать человеку с лодки,— и сидел Говоруха-Отрок вперемежку с Семянным и Вяхирем на шкотах.

Сам себя в плен вез.

А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, не ведомым.

Этим беспокоил Марютку.

«И чего ему хихиньки все время? Хоть на сласть бы ехал, в свой дом. А то один конец,— допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый!»

Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы.

Не вытерпела Марютка, заговорила:

— Ты где к воде приобык-то?

Ответил Говоруха-Отрок, подумав:

— В Петербурге... Яхта у меня своя была... Большая. По взморью ходил.

— Какая яхта?

— Судно такое... парусное.

— От-то ж! Да я яхту, чай, не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие да ладные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?

— «Нелли».

— Это что ж за имя такое?

— Сестру мою так звали. В честь ее и яхта.

— Такого и имени христианского нету.

— Елена... А Нелли по-английски.

Марютка замолчала, посмотрела на белое солнце, изливавшееся холодным блистающим медом. Оно сползало вниз, к бархатной синей воде.

Заговорила опять:

— Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленя, а тут, поди ж ты, до чего сине!

Поручик ответил как будто в себя и для себя:

— По шкале Фореля приближается к третьему номеру.

— Чего? — беспокойно повернулась Марютка.

— Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков морской воды. Самая синяя в Тихом океане. А здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру.

Марютка полузакрыла глаза, как будто хотела представить себе таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы.

— Здорово синя, приравнять даже трудно. Синя, как...— Она открыла глаза и внезапно остановила желтые кошачьи зрачки свои на ультрамариновых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто открыв необычайное, раскрыла изумленно губы. Прошептала:— Мать ты моя!.. Зенки-то у тебя — точь-в-точь как синь-вода! А я гляжу, что в их такое знаемое, рыбья холера!

Поручик молчал.

Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянуло ледяным холодком.

— С востоку тянет,— заворошился Семянный, кутаясь в обрывки шинели.

— Моряна бы не вдарила,— отозвался Вяхирь.

— Ни черта. Часа два пропрем еще — Барсу видать будя. Чо ветер,— там заночевам.

Смолкли. Бот начало подергивать на потемневших свинцовых гребнях.

По сизо-черному мохнатому небу протянулись узкие облачные полоски.

— Так и есть. Моряна прет.

— Должно, скоро Барсу откроем. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая Барса. Со всех боков песок, хоть ты лопни! Одни ветра воют... Трави, стерва, шкоты трави! Это тебе не помочи генеральские!

Поручик не успел вовремя вытравить шкот. Бот резнул воду бортом, и потоком пены хлестнуло по лицам.

— Да я тут при чем? Марья Филатовна на руле зевнула.

— Это я-то зевнула? Опомнись, рыбья холера! С пяти годов на рулю сидю!

Волны нагоняли сзади высокие, черные, похожие на драконьи хребты, хватали за борты шипящими челюстями.

— Эх-эх, мать!.. Скорей бы до Барсы добраться. Темно, не видать ничего.

Вяхирь вгляделся влево. Крикнул радостно, звонко:

— Есть. Вона она, сволочь!

Сквозь брызги и муть замаячила низкая белеющая полоса.

— Правь к берегу,— зыкнул Семянный,— дай бог дойти!

С треском поддало корму, протяжно застонали шпангоуты. Гребень обрушился на бот, налив по щиколки воды.

— Черпай воду! — визгнула, вскочив, Марютка.

— Черпай?. Черпака черт ма!

— Хвуражками!

Семянный и Вяхирь сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду.

Поручик мгновение колебался. Снял свою меховую финку и бросился на помощь.

Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоским, припушенным снежком берегом. Он был еще белее от кипевшей там пены.

Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы.

Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его беременное брюхо, рванул.

Старая холстина лопнула с пушечным гулом.

Семянный и Вяхирь метнулись к мачте.

— Держи концы,— пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая грудью на румпель.

Вихрастая, шумная, ледяная, накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем.

Когда выпрямился, почти до бортов налитый водой, ни Семянного, ни Вяхиря у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус.

Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.

— Сатана!.. Чего смок? Черпай воду! — в первый раз за всю свою жизнь завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань.

Вскочил встрепанным щенком, забрызгал водой.

Марютка кричала в ночь, в свист, в ветер:

— Семя-я-анна-аа-ай!.. Вя-яя-яхи-ииирь!

Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса.

— Утопли, окаянные!

Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддало сзади, и днище шурхнуло по песку.

— Стебай в воду! — кричала Марютка, выскакивая. Поручик вывалился за ней.

— Тащи бот!

Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащили бот к берегу. Он тяжело врезался в песок. Марютка схватила винтовки.

— Забирай мешки с жратвой! Тащи!

Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого места, Марютка сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки.

Марютка крикнула еще раз в тьму:

— Семянна-ай!.. Вяхи-ирь!..

Безответно.

Она села на мешки и по-бабьи заплакала.

Поручик стоял сзади, часто и гулко лязгая челюстями.

Однако пожал плечами и сказал ветру:

— Черт!.. Совершенная сказка! Робинзон в сопровождении Пятницы!

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой завязывается второй разговор и выясняется вредное физиологическое действие морской воды при температуре + 2 по Реомюру

Поручик тронул Марюткино плечо.

Несколько раз пытался говорить, но мешала щелкавшая ознобом челюсть.

Подпер ее кулаком и выговорил:

— Плачем не поможешь. Идти надо! Не сидеть же здесь! Замерзнем!

Марютка подняла голову. Сказала безнадежно:

— Куда пойдешь. На острову мы. Вода вкруг.

— Идти надо. Я знаю, тут сараи есть.

— Откудова ты знаешь? Был тут, что ли?

— Нет, никогда не был. А когда в гимназии учился — читал, что здесь рыбаки сараи строят для рыбы. Нужно найти сарай.

— Ну, найдем, а дале что?

— Утро вечера мудренее. Вставай, Пятница!

Марютка с испугом посмотрела на поручика.

— Никак, рехнулся?.. Господи, боже мой!.. Что ж я делать с тобой буду? Не пятница — середа сегодня.

— Ничего! Не обращай внимания. Об этом потом поговорим. Вставай!

Марютка послушно встала. Поручик нагнулся поднять винтовки, но девушка перехватила его руку.

— Стой! Не шали!.. Слово дал мне, что не убегнешь!

Поручик рванул руку и хрипло, дико захохотал.

— Видно, не я с ума сошел, а ты! Ты сообрази, голова, могу я сейчас думать о побеге? А винтовки хочу понести потому, что тебе тяжело будет.

Марютка притихла, но сказала мягко и серьезно:

— За помочь спасибо. А только приказ мне, чтоб тебя доставить... Не могу, значит, тебе оружия давать, как я в ответе!

Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед.

Песок, смешанный со снегом, хрустел под ногами. Тянулся без конца низкий, омерзительный своей ровностью берег.

Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом.

Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.

— Ничего, Марья Филатовна! Потерпи! Должно быть, это и есть сараи.

— Скорей бы, силы моей нет. Вся простыла.

Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, тошнотворно пахло рыбной сыростью и проржавелой солью.

Рукой поручик ощупал кучи сложенной рыбы.

— Ого! Рыба есть! По крайней мере голодать не будем.

— Огня бы!.. Оглядеться. Може, какой угол найдем от ветру? — простонала Марютка.

— Ну, электричества здесь не дождешься.

— Рыбу бы зажечь... Вона жирная.

Поручик опять захохотал.

— Рыбу зажечь?.. Ты, правда, помешалась.

— Зачем помешалась? — с обидой ответила Марютка.— У нас на Волге сколь ее жгли. Чище дров горит!

— Первый раз слышу... Да зажечь как?... Трут у меня есть, а щепы на распалку...

— Эх ты, кавалер!.. Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. На, выворачивай пули, а я со стенки лучину подеру.

Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули окостеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щепками.

— Сыпь сюда порох!.. Кучкой... Давай трут!

Трут затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула ее в порох. Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки.

— Готово,— обрадовалась Марютка,— бери рыбу... Сазана пожирней ташши.

На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, вспыхнула жирным жарким пламенем.

— Теперь только подкладай. Рыбы на полгода хватит!

Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных кучах сваленной рыбы. Деревянные стены были в дырках и щелях.

Марютка прошла по сараю. Крикнула откуда-то из угла:

— Есть цел угол! Подкладай рыбу, чтоб не загасла. Я тут с боков завалю. Чистую комнату устрою.

Поручик сел у костра. Ежился, отогреваясь. В углу шуршала и шлепалась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала:

— Готово! Ташши огня-то!

Поручик поднял за хвост горящего сазана. Прошел в угол. Марютка с трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось пространство в сажень.

— Залазь, разжигай. Я там в середке наложила рыбин. А я пока за припасом смотаюсь.

Поручик подложил сазана под клетку сложенной рыбы. Медленно, нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась, поставила в угол винтовки, сложила мешки.

— Эх, рыбья холера! Ребят жаль. Ни за что утопли.

— Хорошо бы платье просушить. А то простудимся.

— За чем дело стало? От рыбы огонь жаркий. Скидай, суши!

Поручик помялся.

— Вы просушивайте, Марья Филатовна. А я там подожду пока. А потом я посушусь.

Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо.

— Ах, дурень ты, я погляжу. Барское твое понятие. Чего страшного? Никогда голой бабы не видел?

— Да я не потому... а вам, может, неловко?

— Ерунда! Из одного мяса сделаны. Невесть какая разница! — Почти прикрикнула: — Раздевайся, идол! Ишь зубами стучишь, что пулемет. Мука мне с тобой чистая!

На составленных винтовках висело и дымилось над огнем платье.

Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно поворачиваясь к жару пламени.

Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, похудевшую спину поручика. Хмыкнула.

— До чего ж ты белый, рыбья холера! Не иначе, как в сливках тебя мыли!

Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые шарики.

Платье просохло. Марютка набросила на плечо кожушок.

— Поспать нужно. К завтрему, может, стихнет. Счастье — бот-то не потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до Сыр-Дарьи допремся. А там рыбалок встретим. Ты ложись-ка, я за огнем погляжу. А как сон сморит, тебя сбужу. Так и подежурим.

Поручик подложил под себя платье, укрылся полушубком. Тяжело заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него.

Пожала плечом.

«Навязался на мою голову! Болезный! Как бы не застудился! Дома небось в бархат-атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыбья холера!»

Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила поручика.

— Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу. Посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.

Поручик трудно поднялся. Охватил виски пальцами, глухо сказал:

— Голова болит.

— Ничего... Это с дыму да с устали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, усача поджарь да пошамай.

Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла.

Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку. Прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.

Марютка трясла поручиково плечо. Кричала с отчаянием:

— Вставай!.. Вставай, окаянный!.. Беда!

Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы.

— Вставай, говорю! Напасть такая! Бот волнами унесло! Пропадать нам теперь.

Поручик смотрел в лицо ей, молчал.

Вгляделась Марютка, тихо ахнула.

Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра.

— Застудился-таки, черт соломенный! Что ж я с тобой делать буду?

Поручик пошевелил губами.

Марютка нагнулась, расслышала:

— Михаил Иванович... Не ставьте единицу... Я не мог выучить... На завтра приготовлю...

— Чего мелешь-то? — дрогнув, спросила Марютка.

— Трезор... пиль... куропатка...— вдруг крикнул, подскочив, поручик.

Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками.

Поручик опять упал, заскреб пальцами по песку.

Быстро, быстро забормотал неразборчивое, давясь звуками.

Марютка безнадежно оглянулась.

Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетащила на него бесчувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком.

Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам закапали у нее медленные мутные слезы.

Поручик метался, сбрасывая полушубок, но Марютка упорно поправляла каждый раз, закутывая его до подбородка.

Увидела, что завалилась голова, подложила мешки.

Сказала вверх, как будто небу, с надрывом:

— Помрет ведь... Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты горе!

Наклонилась над пылающим в жару, заглянула в помутневшие синие глаза.

Укололо острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, нежно прошептала:

— Дурень ты мой, синеглазенький!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

вначале чрезвычайно запутанная,
но под конец проясняющаяся

Трубы серебряные, а на трубах висят колокольчики.

Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном:

Тили-динь, динь, динь.

Тили-тили, длям-длям-длям.

А трубы поют свое особенное:

Ту-ту-ту-ту, ту-ту-у-ту.

Несомненно, марш. Марш. Конечно, тот самый, что всегда на парадах.

И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же.

Капельмейстер оркестром управляет.

Стал к оркестру спиной, из разреза шинели хвост выдвинул, большой рыжий лисий хвост, а на кончике хвоста золотая шишечка наверчена, а в шишечку камертон вставлен.

Хвост во все стороны машет, камертон тон задает, указывает корнетам и тромбонам, когда вступать, а зазевается музыкант — тотчас камертон по лбу.

Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты.

Солдаты как солдаты, лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр.

Но ртов у музыкантов вовсе нет... Гладкое место под носом. А трубы у всех в левую ноздрю вставлены.

Правой ноздрей воздух забирают, левой в трубу вдувают, и от этого тон у труб особенный, звонкий и развеселый.

— К це-е-е-ериальному аршу и-отовсь!

— К це-риальному... На пле-е-чо!

— По-олк!

— Ба-тальон!

— Рота-ааа!

— Справа повзводно... Первый батальон шагом... арш!..

Трубы: ту-ту-ту. Колокольчики: динь-динь-динь.

Капитан Швецов лакирашами выплясывает. Зад у капитана тугой, гладкий, что окорок. Дрыг-дрыг.

— Молодцы, ребята!

— Драм-ам, ав-гав-гав!..

— Поручик!

— Поручик! Поручика к генералу!

— Какого поручика?

— Третьей роты. Говоруху-Отрока к генералу!

Генерал на лошади сидит, среди площади. Лицом красен, ус седой.

— Господин поручик, что за безобразие?

— Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!

— С ума сошли?.. Смеяться?.. Да я вас, да вы с кем?

— Хо-хо-хо!.. Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство!

Сидит генерал на лошади. До пояса — генерал как генерал, а с пояса ноги кошачьи. Хотя бы породистого кота — так нет. Самый дворняга, серые такие, линялые коты, в полоску, по всем дворам и крышам шляются.

И когтями ноги в стремена уперлись.

— Я вас под суд, поручик! Неслыханный случай! В гвардии, и вдруг у офицера пуп навыворот!

Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез,

тонкой кишкой такой зеленого цвета, и кончик, пуповина самая в центробежном движении поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а он вырывается.

— Арестовать его! Нарушение присяги!

Вынул генерал из стремени лапу, когти распустил, тянется ухватить, а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз.

Обыкновенный глаз. Кругленький, желтый зрачок, остренький такой и в самое сердце поручику заглядывает.

Подмигнул ласково и говорит, как — неизвестно, глаз сам говорит:

— Не бойся!.. Не бойся!.. Наконец-то отошел!

Рука приподняла поручикову голову, и, открыв глаза, увидел он худенькое лицо с рыжими прядями и глаз ласковый, желтый, **тот** самый.

— Напугал ты меня, жалостный. Неделю с тобой промучилась. Думала, не выхожу. Одни-одинешеньки на острову. Лекарствия никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. Рвало тебя спервоначалу все время... Вода-то паршивая, соленая, кишка ее не принимает.

С трудом входили в поручиково сознание ласковые, тревожные слова.

Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами.

Кругом рыбные штабеля. Костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.

— Что такое?.. Где?..

— Ай забыл? Не узнал? Марюта я!

Тонкой прозрачной рукой поручик потер лоб.

Вспомнил, бессильно улыбнулся, прошептал:

— Да... припомнил. Робинзон и Пятница!

— Ой, опять забредил? Далась тебе пятница. Не знаю, который и день. Совсем со счету сбилась.

Поручик опять улыбнулся.

— Да не день!.. Имя такое... Есть рассказ, как человек после крушения на остров попал необитаемый. И друг у него был. Пятницей звали. Не читала никогда? — Он опустился на кожушок и закашлялся.

— Не... Сказок много читала, а этой не знаю. Ты лежи, лежи тихонько, не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усача сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Вишь, прозрачный стал, как свечка. Лежи!

Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хрустальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальными колокольчиками, засмеялся тихонько.

— Ты што? — спросила Марютка.

— Так, вспомнил... Смешной сон видел, когда бредил.

— Кричал ты во сне чего! И командовал, и ругался... Чего только не было. Ветер свистит, кругом пустота, одна я с тобой на острову, а ты еще не в себе. Прямо страх брал,— она зябко поежилась,— и не знаю, что делать.

— Как же ты справлялась?

— Да вот, справилась. А пуще всего боялась — помрешь ты с голоду. Кроме ж воды, ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке скормила. А теперь одна рыба кругом. А какая же больному человеку жратва в соленой рыбе? Ну, как завидела, что ты заворочался и глаза открываешь, отлегло.

Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, пальцы на сгиб Марюткиной руки. Тихо погладил и сказал:

— Спасибо тебе, голубушка!

Марютка покраснела и отвела его руку.

— Не благодари!.. Не стоит спасиба. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или человек?

— Но ведь я кадет... Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле дышишь.

Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась. Махнула рукой и засмеялась.

— Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелила сразу, промахнулась, впервой отроду, ну, и возиться мне с тобой до скончания. На, покушай!

Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтарный кусок балыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо.

Поручик вытаскивал из котелка кусочки. Ел с аппетитом.

— Ужасно только соленая. Прямо в горле дерет.

— Ничего ты с ей не поделаешь. Была б вода пресная — можно вымочить, а то чистое несчастье. Рыба солена — вода солена! Попали в переплет, рыбья холера!

Поручик отодвинул котелок.

— Что? Больше не хочешь?

— Нет. Я наелся. Поешь сама.

— Ну ее к черту! Обрыдла она мне за неделю. Колом в глотке стоит.

Поручик лежал, опершись на локоть.

— Эх... Покурить бы! — сказал он с тоской.

— Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянного махра осталась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У курящего, опосля болезни, еще пуще на табак тяга. Вот, бери.

Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали.

— Ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!

— Небось без няньки жить не можешь? — сухо ответила Марютка и покраснела.

— Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал, а трубку я потерял.

— Бумаги...— Марютка задумалась.

Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек.

Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги.

— Вот тебе на завертку.

Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом.

— Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!

— Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера! — крикнула Марютка.

Поручик посмотрел на нее.

— Спасибо! Я этого никогда не забуду!

Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль, сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.

Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:

— Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно.

— Не знаю,— ответил поручик,— с такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.

— Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза!

— Для кого?

— Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растревоживают!

— А тебя растревожили?

Марютка вспыхнула.

— Ишь черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю.

Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из-за рыбных штабелей, весело повернулась и сказала, как раньше:

— Дурень мой, синеглазенький!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой ничего не нужно объяснять

Мартовское солнце — на весну поворот.

Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.

Третий день как стал выходить поручик.

Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров облазила тем временем.

Возвратилась в последний день к закату радостная.

— Слышь! Завтра переберемся!

— Куда?

— Там, подале. Верст восемь отсюда будет.

— Что там такое?

— Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не биты. С печкой, посудины кой-какой, битой, черепки,— все сгодятся на хозяйство. А главно — полати есть. Не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойтить.

— Кто же знал?

— Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!

— А что?

— Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну, и осталось там ма́лость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впопыхах. Теперь живем не тужим!

Утром перебирались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.

— Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! Я с виду тонкая, а здоровая.

К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

— Лафа... Царское житье!

— Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен... Без тебя не выжил бы.

— Известно дело, белоручка!

Помолчала, растирая руки над огнем.

— Тепло-тепло... А что ж мы дальше делать будем?

— Да что же делать? Ждать!

— Чего ждать?

— Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две — рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.

— Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера!

— Что у тебя присказка такая — рыбья холера? Откуда?

— Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это заместо чтоб ругаться. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.

Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:

— Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова... С Пятницей. Чем зря сидеть — расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше было. Наполевона помнила.

Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.

— Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.

— А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!

— Ладно. Постараюсь.

Поручик полузакрыл глаза, вспоминая.

Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.

— Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.

Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.

— Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.

Поручик оперся на локти. Начал:

— В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо...

— А где этот город-то?

— В Англии... Жил богатый человек Робинзон Крузо...

— Погоди!.. Богатый, говоришь? И почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.

— Не знаю,— недоуменно ответил поручик,— мне это и в голову никогда не приходило.

— Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня для его нет. А я бы об бедном человеке написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.

— Да... Так вот задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле...

Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.

Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробностями.

Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа.

Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила:

— Что ж, значит, все, кроме его, потопли?

— Да, все.

— Должно, дурья голова капитан у них был или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое большое — два-три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.

— Почему? Утонули же у нас Семянный и Вяхирь. Значит, ты плохой капитан или нализалась перед крушением?

Марютка оторопела.

— Ишь поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!

В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:

— Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты — Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру видела. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы — во! Морда страшенная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь, свиного уха!» Серчал здорово. Каменюгами бросался.

При рассказе о нападении пиратов Марютка сверкнула глазами на поручика:

— Десятеро на одного? Шпана, рыбья холера!

Поручик кончил.

Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Промурлыкала дремотно:

— Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай.

— А что? Разве нравится?

— Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.

Поручик зевнул.

— Спать хочешь?

— Нет... Ослабел я после болезни.

— Ах ты слабенький!

Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики.

От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием

Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.

А стал первым на счету девичьей радости.

Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.

От нее, от сини, светлела жизнь.

Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже круглыми язвочками десны, изредка выходила на берег высматривать, не закрылится ли косым лётом ожидаемый парус.

Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалась в свой угол на нарах, жалась, ластясь, к поручикову плечу. Слушала.

Много рассказывал поручик. Умел рассказывать.

Дни уплывали медленно, маслянистые, как волны.

Однажды, занежась на пороге хибарки, под солнцем, смотря на Марюткины пальцы, с привычной быстротой обдиравшие чешую с толстенького сазана, сказал поручик, зажмурясь и пожав плечами:

— Хм... Какая ерунда, черт побери!..

— О чем ты, милок?

— Ерунда, говорю... Жизнь вся — сплошная ерунда. Первичные понятия, внушенные идеи. Вздор! Условные значки, как на топографической карте. Гвардии поручик?.. К черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот и думаю: если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.

— Как ты сказал, какие дни-то?

— Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот,— он широко обвел рукой,— земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание — мое дыхание. Вот прибой дышит: шурф... шурф... Это не он дышит, это я дышу, душа моя, плоть.

Мирютка отложила нож.

— Ты вот говоришь по-ученому, не все слова мне внятны. А я по-простому скажу — счастливая я сейчас.

— Разными словами, а выходит одно и то же. И сейчас мне кажется: хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостной.

Марютка сосредоточенно смотрела в песок, будто припоминая что-то нужное. Виновато, нежно засмеялась.

— Нет... Ну его!.. Я здесь не осталась бы. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастья своего и то показать некому. Одна рыба дохлая вокруг. Скорей бы рыбалки на лову сбирались. Поди конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям.

— А мы разве не живые?

— Живые-то живые, а как муки на неделю осталась самая гниль, да цинга заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьми в толк, миленький, что время не такое, чтобы на печке сидеть. Там наши поди бьются, кровь проливают. Каждая рука

на счету. Не могу я в таком случае в покое прохлаждаться. Не затем я армейскую клятву давала.

Поручиковы глаза всколыхнулись изумленно.

— Ты что же? Опять в солдаты хочешь?

— А как же?

Поручик молча повертел в руках сухую щепочку, отодранную от порога. Пролил слова ленивым густым ручейком:

— Чудачка! Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи и злобищи. Не с пеленок же я солдатом стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?

— М-гм,— ответила Марютка, насторожившись.

— Ну, и в один роковой день это лопнуло, разлетелось, помчалось в тартарары... Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче, на террасе, и читал, книгу даже помню. Был грузный закат, багровый, заливал все кровяным блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам взволнован. Сказал одно только слово, но в этом слове была ртутная, мертвая тяжесть... Война. Ужасное было слово, кровяное, как закат. И отец прибавил: «Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову родины. Надеюсь, ты?..» Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда...

— Чудило! — кинула Марютка, пожав плечами.— Что же, к примеру, если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться? Что-то непонятно мне такое дело.

Поручик вздохнул.

— Да... Вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода. Долг... Мы этим дорожили.

— Ну?.. Так я своего батьку, покойника, тоже люблю крепко, а коли ж он пропойца дурной был, то я за его пятками тюпать не обязана. Послал бы прадедушку к прабабушке!

Поручик криво и зло усмехнулся.

— Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту... А она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную

родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать.

— Так-с!.. Значит, земля напополам трескается, люди правду ищут, в кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

— Не знаю... И знать не хочу,— крикнул исступленно поручик, вскакивая на ноги.— Знаю одно — живем мы на закате земли. Верно ты сказала: «Напополам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспложенная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Довольно! Я из этого дела выпал! Больше не желаю пачкаться!

— Чистотел? Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерме покопаются?

— Да! Пусть! Пусть, черт возьми! Другие — кому это нравится. Слушай, Маша! Как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды — покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что неученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, а это незабвенно.

Марютка резко встала. Процедила, как ком колючек бросила:

— Значит, мне так твои слова понимать, чтобы завалиться с тобой на пуховике спариваться, пока люди за свою правду надрываются, да конфеты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана? Так, что ли?

— Зачем же так грубо? — тоскливо сказал поручик.

— Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной? Нет, погоди! Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как пóтом соленым да слезами людскими пропитана?

— Не знаю,— вяло отозвался поручик.— Странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать с пьяными, вшивыми ордами.

Марютка уперлась ладонями в бедра. Выбросила:

— У них, может, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая! Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица паршивая! «Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько»,— передразнила она.— Другие горбом землю под новь распахивают, а ты? Ах, и сукин же сын!

Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы.

— Не смей ругаться!.. Не забывайся ты.. хамка!

Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой, небритой щеке.

Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Выплюнул отрывисто:

— Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу... Дрянь!

И скрылся в хибарке.

Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и сказала неведомо кому:

— Ишь до чего нравный барин! Ах ты, рыбья холера!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот погибающей планеты, а автор слагает с себя ответственность за развязку

Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском.

Уже давно под ударами золотых копыт лопнула тонкая снежная броня на острове. Стал он мягким, ярко-желтым, канареечным на темном стекле густой воды.

Песок в полдень обжигал ладони, и больно было до него дотронуться.

В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце.

От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было.

По целым дням валялись на берегу в песке, неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.

— Нет больше моего терпения! Ежели через три дня рыбалок не будет, ей-пра, пулю себе пущу! — простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в равнодушную тяжелую синь.

Поручик засвистел легонько.

— Меня слизняком и мокрицей называла, а сама сдаешь? Терпи — атаманом будешь! Тебе же одна дорога — в атаманы разбойничьи.

— А ты чего старое поминаешь? Ну и заноза! Было и сплыло. Ругала потому, что стоило ругать. Распалилось сердце, что тряпка ты мокрая, цыпленок. А мне и обидно! Навязался же ты на мою голову, смутил, все нутро вытянул, черт синеглазый.

Поручик с хохотком опрокинулся спиной в горячий песок, задрыгал ногами.

— Ты чего? Сдурел? — заворошилась Марютка.

Поручик хохотал.

— Эй, чумелый! Да говори же!

Но поручик не унимался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок.

Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах.

— Ну, чего ржешь?

— Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. Мертвец с тобой плясать пойдет!

— А то? По-твоему, лучше вихляться, как бревну в полынье, ни к тому бережку, ни к другому? Чтоб самому мутно было и другим тошно?

Поручик снова визгнул смехом. Похлопал Марютку по плечу.

— Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!

— Что? Неужели в самом деле поумнел?

— Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо — научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...

Он оборвал, захлебнувшись.

Ультрамариновые шарики уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем.

Вытянул руки и сказал тихо, дрогнувшим голосом:

— Парус.

Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела:

Далеко-далеко, на индиговой черточке горизонта, вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка — треплемый ветром парус.

Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному.

Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.

Плясал, высоко выбрасывая тонкие ноги в изорванных штанах, и пел пронзительно:

Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-ки-кий
В ту-ма-не моря го-лу-бом-бом-бом...
Бим-бам. Бом-бом,
Голу-бом!

— Ну тебя, дурной! — вырвалась запыхавшаяся, радостная Марютка.

— Машенька! Дурища моя дорогая, царица амазонская. Спасены ведь! Спасены!

— Черт, шалый! Небось сам теперь захотел с острова в жизнь людскую?

— Захотел, захотел! Я же тебе говорил, что захотел!

— Постой!.. Подать им знак надо! Позвать!

— Чего звать? Сами подъедут.

— А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили: тут островов гибель. Могут мимо пройти. Тащи винтовку из хибары!

Поручик бросился в хибару. Выбежал, высоко взбрасывая винтовку.

— Не дури,— крикнула Марютка.— Жарь три штуки подряд.

Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклянную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, до чего ослабел.

Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, он несся по воде крылом веселой птицы.

— Черт-и-што,— проворчала, вглядываясь, Марютка.— Что оно за суденышко такое? На рыбалку не похоже, здоровое больно.

На судне услыхали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую сторону и, накренясь, понесся линией к берегу.

Под розово-желтым крылом выплыл из сини черный низкий корпус.

— Не иначе, должно быть, объездчика промыслового бот. Только кто ж на нем мотается в такую пору, не пойму? — бормотала тихонько Марютка.

Саженях в пятидесяти бот снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки рупором, закричала.

Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил с маху в песок винтовку и в два прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, ополоумело закричал:

— Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!

Марютка воткнула зрачки в бот и увидела... На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски.

Метнулась всполошенной наседкой, задергалась.

Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок:

Лед... Синь-вода... Лицо Евсюкова. Слова: «На белых нарветесь ненароком, живым не сдавай».

Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку.

Закричала отчаянным криком:

— Эй, ты... кадет поганый! Назад!.. Говорю тебе — назад, черт!

Поручик махнул руками, стоя по щиколки в воде.

Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой.

Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа.

Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку.

В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно.

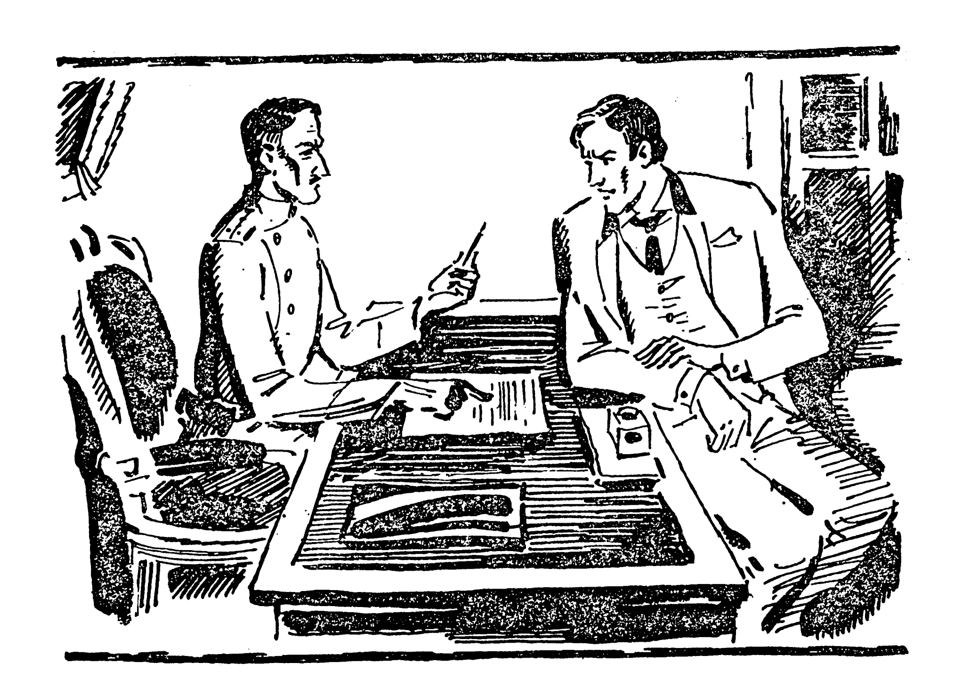
Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем:

— Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синегла-азенький!

С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбеневшие люди.

Ленинград, ноябрь 1924





РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ

КИНЕМАТОГРАФ

Улица... Рассвет...
На стене косо и наспех наклеенный листок...

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Красные покидают город.
Части Добрармии вступили в предместье.
Население призывается к спокойствию.

Мимо листка проходит запыленный красноармеец. Тяжело волочит винтовку.

Видит листок... срывает с бешенством и внезапной злобой.

Губы его шевелятся... Ясно, что он с надрывом и длинно ругается.

ИНОСТРАНЕЦ

Зеркало в облезлой рамке, с зелеными пятнами гнили на внутренней стороне, треснуло когда-то пополам, склеивали его неумелые руки, и половинки сошлись неровно, под углом.

От этого лицо резалось трещиной на две части, нелепо ломалось, и рот растягивался к левому уху идиотской гримасой.

На спинке стула висел пиджак, а перед зеркалом брился

человек в щегольских серых брюках и коричневых американских, тупоносых полуботинках.

Голярня в пригородной слободке, между развалинами пороховых погребов, была невероятно грязна, засижена мухами и пропахла самогоном, грязным бельем и гнилой картошкой.

И такой же грязный и лохматый, не совсем трезвый хозяин, неизвестно зачем открывший свое заведение в таком месте, куда даже собаки забегали только поднять ножку, обиженно сидел у окна и искоса смотрел на странного посетителя, который пришел ни свет ни заря, чуть не выбил дверь, отказался от его услуг и на ломаном русском языке потребовал горячей воды и бритву.

Пыльные стекла маленького окна вздрагивали ноющим звоном от приближающегося орудийного гула, и при каждом сильном ударе брившийся поглядывал в сторону окна спокойным, внимательным серым глазом.

В алюминиевой чашке, в снежных комках мыльной пены, золотыми апельсинными отливами блестели завитки сбритой бороды и усов.

Брившийся отложил в сторону бритву и намочил в горячей воде тонкий носовой платок. Обтер лицо и попудрил его, достав из брюк карманную серебряную пудреницу.

Потрогал пальцем гладкие щеки и круглую ямочку на подбородке, и рот его, твердо сжатый и резкий, вдруг расцвел на мгновение беззаботным розовым цветком.

Но окно опять заныло от орудийного удара.

Хозяин вздрогнул и, как бы очнувшись, сказал хрипло:

— Жарят!.. Зовсим блызко!..

— Comment?! Что ви гаварит?

Иностранец быстро повернулся к хозяину и услышал обиженное ворчание:

— Шо кажу?.. Наж-ж тоби!.. Пятьдесят рокив казав — люди разумилы, а зараз непонятково!.. Християне розумиют, а на бусурманина мовы не наховаешь!

— А!— протянул иностранец.

И, к вящему изумлению хозяина, вынул из кармана маленькую коричневую аптекарскую склянку, откупорил ногтем глубоко увязшую пробку и вылил на блюдце остро пахнущую жидкость. Намочил головную щетку и круглыми взмахами стал водить по прическе от лба к затылку.

Открыв рот, хозяин увидел, что намокшие золотистые волосы потускнели и медленно почернели.

Иностранец встал, вытер голову платком и тщательно расчесал пробор.

Пристегнул воротничок, завязал галстук и, когда надевал пиджак, услышал нудный голос хозяина:

— От-то, оказия!.. Шо це вы з волосьями зробили? Чи вы мабуть кловун, чи ще яке комедиянство!..

Иностранец легко улыбнулся:

— Ньет!.. Я ньет клоун, я купца! Мой имя Леон!.. Леон Кутюрье!..

— Воно и видать, що нехристь!.. И имя в вас не людское, а неначе собаче... Куть... Куть... Скильки ще гамна на свити!..

И хозяин с презрением плюнул на пол.

Леон Кутюрье снял с вешалки легкое пальто, нахлобучил на затылок котелок и сунул в руку хозяину крупную бумагу.

Тот захлопал ресницами, но, прежде чем он опомнился, иностранец был на улице и зашагал вдоль садовых заборов к городу, из-за далеких труб которого рачительным и румяным хозяином скосоурилось солнце.

Хозяин недоуменно смял деньги, мелкие морщинки его щек скрестились лукавой сеткой, он хитро посмотрел в окно, покачал лохматой головой и произнес веско и ясно:

— Неначе скаженный!..

«AV REVOIR, ХРАБРУ JEUNE HOMME»[1]

Был погожий и теплый предосенний день.

Леон Кутюрье беспечно пошел по тротуару в том же направлении, в котором двигались кучки муравьившихся людей.

За широким раскатом настороженно опустелой улицы открылся старый парк над кинутым вниз обрывом, а под ним лениво лизала пески и ржавые глины обмелевшая, зеленоватая река.

Над самым обрывом белесой лентой легла аллея, огороженная чугунной резной решеткой, осененная столетними широколапыми липами.

Решетка взбухла грузом прижавшихся и повисших на прутьях человеческих тел.

На другой стороне реки, в заречье, покрытом прожелтью камышей, изрезанном синими змеями ериков, по узкой гати двигались кучки крохотных рыжих букашек, поблескивая по временам металлическими искорками.

Когда Леон Кутюрье, беспрестанно извиняясь, приподымая котелок, протиснулся к решетке, издалека, слева, оттуда, где был вокзал, тяжко и надсадисто грохнули четыре удара, высоко вверху запел звоном и визгом разрезанный воздух, и над далекой гатью, на синем мареве сосняка, высоко вспухли четыре белых клубка.

Ахнула общей грудью облепленная людьми решетка:

— А-аах!..

— Перелет,— сказал крепкий и уверенный голос.

Но не успел еще кончить слова, как взвыл снова воздух, и белые клубки повисли над самой гатью, закутав ее плотной пеленой.

---

[1] До свидания, храбрый юноша!

— Вот это враз!.. Чисто сделано!

Рыжеватый и плотный, в золотом пенсне, стоявший рядом с Леоном Кутюрье, плотоядно облизнулся.

Стало видно, как засуетились на гати рыжие мурашки.

— Ага, не нравится! Попадет сволочам!

— Жаль, удерут все же!

— Ну, не все!.. Многие влипнут!

— Молодцы корниловцы!..

— Всех бы перехлопать!.. Хамье, бандиты проклятые!

Шрапнельные разрывы учащались, ложились гуще и вернее. Пожилой человек, в широком пальто, стоявший об руку с хорошенькой блондинкой, повернулся к Леону Кутюрье.

— Как это называется... вот чем стреляют?

— Шрапнель, мсье!.. Такой трубка, который имеет много маленька пулька. Очень неприятна! Trés désagréable!

Старик опять впился в горизонт. Блондинка, распушив губы и обещающе взмахнув длинными ресницами, улыбнулась Леону Кутюрье.

— Это картечное действие?— спросила она, видимо радуясь и гордясь специальным термином.

— Oui, madame! Картешь!..

Леон Кутюрье прикоснулся к котелку и отошел от решетки. Оглянувшись, увидел разочарованный взгляд, весело послал воздушный поцелуй и пошел по аллее, сбивая тросточкой мелкую гальку.

Спустился по песку к воротам, на которых тусклым золотом сверкал императорский, распластавший геральдические крылья орел. Обе головы ему сбили камнями досужие мальчишки.

Очутившись на улице, направился к спуску в гавань, но услыхал сзади переплеск криков: «Смотрите! Едут!..»— и звонкий грохот копыт мчавшихся лошадей.

Леон Кутюрье остановился на краю тротуара и взглянул вдоль улицы.

Высоко взбрасывая белощеточные ноги, брызгая пеной с закушенного мундштука, впереди разъезда кавалерии, коней в тридцать, летел золотисто-рыжий, почти оранжевый, английский скакун, легко неся седока.

Молодой, разрумянившийся от скачки, азарта и хмеля удачи тонкий офицерик держал в опущенной руке обнаженную шашку, и за его спиной вихрем метались длинные концы белого башлыка.

Он резко осадил коня на задние ноги у фонарного столба, прислонясь к которому стоял Леон Кутюрье, и оглянулся, как будто ища нужное лицо на тротуаре.

Очевидно, спокойная поза иностранца и хороший костюм произвели на него должное впечатление и, перегнувшись с седла, он спросил:

— Милостивый государь! Какая самая краткая дорога к пристаням?

— О, mon lieutenant! Вы видит эту улиц? Ездиль до перви поворот эта рука... à droite![1] Там будет крутому спуску вниз, и ви найдет пристань!

Офицерик отсалютовал шашкой и спросил еще:

— Вы иностранец?

— Oui, monsieur! Я француз!

— А, союзник!.. Да здравствует Франция! Напишите в Париж, мсье, что сегодня мы вдребезги раскатали краснопузую сволочь. Скоро Москва наша!

Леон Кутюрье восхищенно прижал руку к сердцу:

— О, mon lieutenant! Русску офисье... это... это... le plus brave![2] Маршаль Фош сказал: русску арме один голи куляк разбиваль бошски пушка,— закончил он с еле уловимой иронией.

Офицерик засмеялся.

— Merci, monsieur!— Обернулся к отряду:— За мной!.. Рысью... ма-арш!— И копытный треск пронесся по граниту к спуску.

Леон Кутюрье приветственно помахал вдогонку тростью и отправился дальше. На углу он остановился у разбитой витрины заколоченного магазина, оперся на ржавые перила и внимательно начал разглядывать валявшиеся на запыленных полках остатки товаров.

Поднял руку и с неудовольствием заметил, что манжета закраснела по краю пятном ржавчины.

— Sacrebleu![3] — сердито сказал француз и, вынув из кармана носовой платок, начал тщательно стирать ржавчину.

До вечера лениво и бесцельно бродил он по улицам, встречая конные и пешие части входящих добровольцев, помахивая тросточкой и котелком, любезно улыбаясь, впутываясь в ряды пехоты, разговаривая с солдатами и офицерами; поздравляя с победой, кланялся, шаркал ножкой.

Лицо у него было милое, глуповато-восторженное лицо фланера парижских бульваров; офицеры и солдаты катались со смеху от его невозможного выговора, но француз не обижался, смеялся сам, суетился, и только по временам его, видимо, беспокоило пятно на манжете, потому что он часто вынимал из кармана платок и с французскими ругательствами яростно стирал злополучную ржавчину.

День уплывал за заречные леса. Вместе с влажной свежестью обыватели попрятались привычно по домам — из боязни налететь на пулю нервного часового или нож бандита.

Крепкие каблуки Леона Кутюрье застучали по пустынному переулку.

Издали француз увидел отяжелевшие светом, как соты медом,

---

[1] Направо!

[2] Самый храбрый!

[3] Черт возьми!

окна особняка, принадлежавшего богачу помещику, лошаднику, и занятого при красных под райком партии.

У подъезда угрюмо стыл громадный «бенц», и на подушках автомобиля спал усталый шофер.

На ступеньках крыльца, вытянувшись и застыв воплощением безграничного нерассуждающего долга, стоял часовой — юнкер. На рукаве шинели в сумерках чуть виднелась, сломанная углом, красно-черная ленточка.

Леон Кутюрье поравнялся с окнами и увидел, как по комнате прошли, оживленно жестикулируя, два офицера.

Он остановился, чтобы рассмотреть лучше, но услыхал хлюпающий звук вскинутой на руку винтовки и жесткий крик:

— Нельзя!.. Проходи!..

— Нишего, господин сольдат!.. Я мирна гражданин, иностранец, если позволит!.. Леон Кутюрье! Мне иметь удовольствие поздравить православни армия с побед.

В голосе француза было такое обезоруживающее простодушие, глуповатое и ласковое, что юнкер опустил винтовку.

Француз стоял в полосе света, бившего густой сметанной белизной из окна, сдвинув котелок на затылок, расставив ноги, приятно улыбаясь, и показался юнкеру похожим на веселого героя экранных проказ Макса Линдера, над лицами которого юнкер беззаботно смеялся в те дни, когда его рука предпочитала сжимать не тяжелый приклад, а нежную руку девушки в тишине темного кино.

Но все же он строго сказал:

— Хорошо, мсье! Но проходите! С часовым говорить нельзя!

— Mille pardons![1] Я не знал! Я не военна!.. Ви, наверно, сторожит большая пушка?

Юнкер хохотнул:

— Нет!.. Здесь штаб командующего!.. Но проходите, мсье!

Леон Кутюрье отошел. Пройдя особняк, оглянулся. Неподвижная фигура юнкера высилась бронзовой статуэткой на ступенях. На тонкой полоске штыка играл серебряный холодноватый блеск.

Француз снял котелок и крикнул:

— Au revoir, господин сольдат!.. Я очень люблю храбру русску jeune homme!

МАНЖЕТА

Васильевская улица была тихой и сонной, утонувшей в старых садах, из которых выглядывали низкие особнячки.

За две недели до вступления белых в квартиру доктора Соковнина въехала по ордеру жилотдела, заняв две комнаты, артистка Маргарита-Анна Кутюрье.

---

[1] Тысяча извинений!

Докторша Соковнина вначале вскипела:

— Поселят такую дрянь, а потом разворует все вещи и уедет. И жаловаться некому!

И, злясь на жилицу, избегала встречаться с ней и не кланялась.

Но артистка не только ничего на вывезла, но еще привезла рояль и несколько кожаных чемоданов, набитых платьями, бельем и нотами.

У нее оказались прекрасного тембра драматическое сопрано, сухой библейский профиль, холеные руки и великолепный французский выговор.

А когда однажды вечером она спела несколько оперных арий, спела, мощно бросая звуки, свободно и верно,— лопнула пленка человеческой вражды.

Докторша вошла в комнату жилицы, восхитилась ее голосом, разговорилась, предложила столоваться у них, а не портить себе здоровье в «советских обжорках», и Маргарита Кутюрье стала своим человеком в семье Соковниных.

Мадам Марго пленила хозяев тактом, прекрасными манерами и восторженной и нежной любовью к мужу, застрявшему с весны в Одессе, которого Марго ждала с приходом белых.

В этот тревожный день, после стрельбы, конского топа и людской молвы по всполошенным улицам, мадам Марго вернулась к чаю возбужденная и веселая.

— О, Анна Андреевна! Я встретила на улице знакомого офицера!.. Он сказал... Леон в поезде командующего и будет сегодня к восьми часам, как только исправят взорванные рельсы за слободкой.

— Ну, поздравляю, дорогая!— ответила докторша.

Поэтому, когда за ужином все сидели в сборе: доктор, Анна Андреевна, Марго, дочь Леля — и из передней яростно задребезжал звонок, за Маргаритой, выбежавшей с криком: «Ah, c'est mon mari!»[1] — последовали все.

В дверях стоял Леон Кутюрье. Жена с радостным смехом целовала его в щеки, он гладил ее по плечу и улыбался смущенно хозяевам.

— O, mon Léon! O, mon petit, je vous attendais depuis longtemps[2].

Француз что-то тихо сказал жене. Она схватила его руку и повернулась.

— О, я так счастлива, что даже забыла... Разрешите представить моего мужа!

Леон Кутюрье, низко склонясь, поцеловал руку хозяйки и крепко сдавил ладонь доктора.

---

[1] Это мой муж!

[2] О, мой Леон! Мой маленький, я тебя давно жду.

— Что же мы стоим в передней? Прошу в столовую! Впрочем, вы, наверное, хотите помыться с дороги?

Француз поклонился.

— Блягодару... Parlez-vous français, madame?[1]

— Un peu... trop peu![2] — смущенно ответила Соковнина.

— Шаль!.. Я говору русску очень плок. Я не кочу ванн! Я имею обичка с дорога брать бань. С вокзаль я даваль везти себя в бань... le bain. Козяин пугальсь, каввриль: «Какой бань... стреляйт». Но я давал ему два ста рубль. Она меня купаль, а на улице: «бум-бумм!..»

Он так жизнерадостно-весело рассказывал о бане, что хохотали все — и Соковнины и Маргарита, изредка бросавшая на мужа мимолетные настороженные взгляды.

За чаем ел гость с аппетитом, сверкал зубами и с улыбкой, ломаным языком рассказывал о событиях в Одессе, о высадке цветного корпуса и бегстве большевиков...

— Скоро будет польн порадок... Я занималь опять le commerce, фабрика консерв... Маргарит будет петь на опера.

Он улыбнулся и вопросительно посмотрел на жену. Она поняла.

— Tu es fatigué, Léon! N'est-ce pas?[3]

— Oui, ma petite! Je veux dormir![4]

— Да... да! Конечно, вам нужно отдохнуть после такой дороги. А где же ваши вещи, Леон Францевич?

— О, у меня одна маленьки сак! Я оставляль его козяин бань до завтра!

— Тогда возьмите пока белье Петра Николаевича.

— Не беспокойтесь, Анна Андреевна! Белье Леона у меня,— сказала француженка и покраснела мило и нежно.

— Merci, madame!

Леон Кутюрье еще раз поцеловал руку хозяйки и вышел за женой.

Войдя в комнату, наполовину загороженную роялем, француз быстро подошел к окну и посмотрел вниз, где смутно чернели плиты двора.

Круто обернулся и спросил вполголоса:

— Товарищ Бэла!.. Вы хорошо знаете всю квартиру? Куда выходит черный ход?

— Во двор у дровяного сарая. Налево ворота. На ночь запираются. Стена в соседний двор — полторы сажени, но у сарая лежит легкая лестница!

— Вы молодец, Бэла!

Она тихо и певуче засмеялась.

— Знаете... это черт знает что! Если бы я не знала, что вы

---

[1] Вы говорите по-французски, сударыня?
[2] Немного... совсем немного!
[3] Ты устал, Леон? Не правда ли?
[4] Да, крошка! Я хочу спать.

придете в половине девятого, я ни за что не узнала бы вас. Феерическое преображение!

— Тсс!.. Тише. У стен могут быть уши! Не будем говорить по-русски. Такой разговор между супругами-французами может показаться странным.

Бэла открыла крышку рояля и взяла густой аккорд. Спросила по-французски:

— Откуда у вас, товарищ Орлов, такой комический талант?.. Ни за что бы не поверила!..

— Недаром я шесть лет промотался в эмиграции в Париже...

— Да я не о языке!.. А вот об этой имитации акцента! Это же очень трудно!

— Пустяки, Бэла!.. Немножко силы воли, выдержки и уменья держать себя в руках.

Он сел за стол и отстегнул манжету.

— Вы можете дать мне бумагу и ручку?

Взял бумагу, разогнул манжету, положил перед собой и старательно, вглядываясь в чуть заметные карандашные пометки, зачертил пером, и первая же строчка легла ясная и четкая:

«Корпус Май-Маевского. Александрийский гусарский полк. Приблизительно 600 сабель».

Кончив писать, тщательно вытер манжету резинкой и протянул листки женщине.

— Бэла... Завтра же отнесите Семенухину. Он перешлет в военный отдел пятерки. Ну, довольно! Где я буду спать?

Бэла показала на открытую дверь спальни, где белела свежими простынями двуспальная старинная кровать карельской березы.

— Хорошая кровать!.. И комната... А вы где спите?

— Здесь же!

Орлов сдвинул брови.

— Что за чепуха?.. Неужели вы не могли подумать об этом раньше? Попросите у хозяев какую-нибудь кушетку для меня.

Бэла вспыхнула и посмотрела ему в глаза.

— Орлов! Я не считала вас способным на мещанство. Если вы считаете опасным говорить по-русски, то уж совсем не по-французски, чтобы приехавший после разлуки муж требовал отдельную кровать. Нелепо и подозрительно! У нас два одеяла, и будет очень удобно. Надеюсь, вы достаточно владеете собой?

Он резко махнул рукой:

— Я не потому!.. Просто боюсь стеснить вас! Я сплю очень беспокойно!

— Вздор!.. Выйдите, пока я лягу!

Выйдя, Орлов со злобой перелистал фотографии семейного альбома. Легкомысленное и глуповатое выражение давно сошло с напряженного, железно очертившегося и побледневшего лица. Углы рта опустились злой и старящей складкой.

В спальне щелкнул выключатель, хлынула мгла, и певучий голос Бэлы сказал:

— Léon! Je vous attends! Venez dormir![1]

Орлов вошел в темную спальню, ощупью нашел край кровати, сел на него и быстро разделся.

Скользнул под шуршащее шелком одеяло, сладко вытянулся и усмехнулся.

— Веселенькая история!.. Спокойной ночи, Марго!

— Спокойной ночи, Леон!

Повернулся к стене, перед глазами покатились, как всегда в полудремоте, красные, зеленые и лиловые спирали, и, глубоко вздохнув несколько раз, Орлов уснул.

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ

Супруги Кутюрье жили мирно и счастливо. На третье утро после приезда мужа, в воскресенье, Бэла сидела на краю кровати в утреннем халатике, пила ячменный кофе из большой детской чашки и по-ребячьи, захватывая сразу губами и зубами, грызла желтые пышные бублики.

Орлов медленно открыл глаза и повернулся.

— Доброго утра, Леон! Как спали?

— О, чудесно!— ответил Орлов, облокотившись на подушку.

Бэла отставила чашку на туалетный столик и повернулась к нему. Глаза потемнели и вспыхнули сердитыми блестками.

— А я эту ночь не спала... И, знаете, нашла, что все это очень глупо, нерасчетливо и гадко!

— Что такое?

— Ну, вся эта история! Нельзя оставлять людей в подполье на месте легальной работы. Мы не так богаты крупными партийцами, чтобы терять их, как пуговицы от штанов. И я считаю, что ревком в отношении вас поступил идиотски глупо...

— Бэла! Я попрошу вас находить более подходящие выражения для оценки действий ревкома.

— Я не привыкла к дипломатическим вежливостям!

— Привыкайте! Ревком не глупее вас!

— Благодарю!

— Не за что... Что вы понимаете в партийной работе?— сказал Орлов, внезапно раздражаясь.— Вы, маленькая девочка, удравшая из архибуржуазной семьи в романтический поток!.. Ведь вас потянула именно романтика... приключения. Очень хорошо, что вы работаете беззаветно, но судить вам рано.

— Каждый имеет право судить!..

— Не спорю... Судите потихоньку. Хотите знать, зачем оставили именно меня? А потому, что я знаю здесь и в окружности на пятьдесят верст каждый камень, знаю, за кем и как мне следить, когда распылаются белые страсти. А когда наши вернутся, у меня в минуту весь город будет в руке! Вот!

---

[1] Леон! Я вас жду! Идите спать!

Он разжал кисть и с силой сжал ее:

— Р-раз, и готово! И никаких заговоров, шпионажа, контрреволюции!

— А если вы попадетесь?

— Риск!.. Это война!.. А потом, если вы меня не узнали,— это достаточная гарантия, что не узнает никто. «Рыжебородый палач», «Нерон», «истязатель»... чекист Орлов и Леон Кутюрье.

— А все же!..

— Хватит, Бэла!.. Идите — я буду одеваться!

За завтраком Леон Кутюрье потешал хозяев французскими анекдотами и даже доставил огромное удовольствие тринадцатилетней Леле, показав ей, как глотают ножи ярмарочные фокусники.

Но у себя в комнате, взяв шляпу, Орлов сказал Бэле сухо и повелительно:

— Бэла! Я ухожу. Вернусь к шести. Вы сейчас же отправитесь к Семенухину и передадите ему записи!

Ночью над городом пронеслась короткая гроза, и здания и деревья, вымытые и свежие, сверкали в стеклянном воздухе еще не просохшими каплями.

Улицы заполнились обывателем, трехцветными флагами, ленточками, букетами роз, модными шляпками и теплой малиной подкрашенных губ.

Все спешили на соборную площадь, на парад с молебствием по случаю счастливого избавления города от большевиков.

Леон Кутюрье протискался в первые ряды, благоговейно снял шляпу, с достойным смирением прослушал молебен и короткую устрашающую речь длинноногого, похожего на суженный внизу клин, генерала.

Генерал в сильных местах речи подпрыгивал, и жилистое тело его, казалось, хотело выпрыгнуть из мешковатого френча, дергаясь картонным паяцем.

Серебряные трубы бодрым ревом грохнули марсельезу. Француз Леон Кутюрье геройски выпрямил грудь и пропустил мимо себя войска, прошедшие церемониальным маршем в сверкании штыков, пуговиц, погон и орденов.

Публика бросилась за войсками.

Леон Кутюрье надел шляпу и, не торопясь, пошел в обратную сторону, на главную улицу. С трудом протискиваясь по заполненному тротуару, он увидал несущегося вихрем босоногого мальчишку-газетчика.

Мальчишка расталкивал всех, прыгал и визжал пронзительно:

— Дневной выпуск газеты «Наша Родина»! Поимка главного большевика!.. Оч-чень интересная!..

Леон Кутюрье остановил газетчика. Тот молниеносно сунул ему в руки свернутый номер, бросил за пазуху деньги и помчался дальше.

Леон Кутюрье развернул лист чуть дрогнувшими пальцами.

Глаза бежали по неряшливым, пахнущим керосином строчкам, расширились, остановились, застыли на жирном заголовке:

«ПОИМКА ПАЛАЧА ЧЕКИСТА ОРЛОВА»

Вчера ночью на вокзальных путях офицерским патрулем задержан неизвестный, пытавшийся забраться в теплушку уходившего эшелона. Присутствующие на вокзале опознали в задержанном председателя губчека, известного садиста, истязателя и палача Орлова. Несмотря на опознание его многими лицами, Орлов отпирается и уверяет, что он крестьянин, приехал из Юзовки и собирался вернуться домой. Документов при нем не найдено, но в свитке оказалась зашитой крупная сумма денег. Орлов уверяет, что деньги получены им для юзовского кооператива. Наглая ложь трусливого палача так возмутила публику, что его хотели здесь же растерзать. Патрулю с трудом удалось доставить Орлова в контрразведку, где этот негодяй и получит заслуженное возмездие.

Пальцы в кулак... Газета комком... Ноги влипли в асфальт. Сбоку какая-то женщина.

— Что с вами?.. Вы нездоровы?

Одна секунда...

Леон Кутюрье приподнял котелок:

— Блягодару!.. Ньет!.. Ничево!.. У меня очень больна сердце... le coeur... Одна маленька припадка... Пуста слючай. Спасиб. Извозчик! Николяевска улис!

Вскочил в пролетку и сунул в карман скомканную газету.

ДИАЛОГ

— Орлов?.. С-сам! А у меня тт-только что была Б-бэла... Зна... Да что с тобой такое? На тт-тебе лица нет!

Орлов вытащил из кармана пальто газету:

— На, читай!

Семенухин взглянул на лист. Коротко стриженная голова, с торчащими красными ушами, быстро нагнулась, и он стал похож на гончую, на последнем прыжке хватающую зайца.

Зрачки поскакали по строчкам.

Потом голова поднялась, губастый рот растянулся в довольный смех, и он выдавил, заикаясь:

— Вв-вот зд-д-доррово!.. Этт-то ж за-мм-мечательно!

— Что ты находишь тут замечательного?— спросил Орлов, прищурясь и присев на край стола.

— Д-да ведь этт-то ж исключительный случай. Тт-тепперь ты можешь быть совершенно спокоен. Они п-ппритончат этого кулачка, и т-тты умм-мер. Н-никк-кому не п-придет в гол-лову т-тебя искать. Эт-тто такк-кая счастливая непп-предвиденность!

Орлов подпер ладонью подбородок и внимательно смотрел на Семенухина.

— Тебе никогда не приходили в голову никакие сомнения, Семенухин? Ты всегда делал, не раздумывая, свое дело?

— А п-почему т-тты спрашиваешь?

— Что ты сказал бы, если б я сообщил тебе, что вот сейчас, после прочтения этой заметки, я пойду сдаваться в белую контрразведку.

Семенухин быстро захлопнул улыбавшийся рот, откинулся на треснувшую от напора коренастого тела спинку стула... и расхохотался.

— Ну-ну тебя к чч-чертовой мат-тери! Я чуть не п-ппринял всерьез! С-слушай, об этом тотчас же нужно известить всех... П-пусть по районам подымают вопли сожаления о т-ттоварище Орлове. Эт-то б-будет замм-мечательно!

Орлов нагнулся к нему через стол.

— Погоди ты!.. Я тебе говорю совершенно серьезно. Что ты скажешь, если я пойду и сдамся?

В голосе Орлова были жесткие удары. Улыбка сбежала с лица Семенухина, он внимательно вглядывался в левую щеку Орлова, на которой нервно дрожал под глазом треугольный мускул.

— Ч-что бы я ск-ккказал?..— начал он медленно и глухо, замолчал, отодвинул стул и, встав во весь рост, неторопливо и спокойно вынул из бокового кармана револьвер.— Ск-казал б-бы одно из д-двух. Или т-ты с ума с-сошел или т-ты п-пподлец и п-ппредатель! В т-том или д-другом случае я об-бязан не допустить т-такого исхода.

— Спрячь свою погремушку. Меня не испугаешь револьвером.

— Я п-пугать не собираюсь. А убить уб-ббью!

— Послушай, Семенухин! Откинь все привходящие обстоятельства. Дело обстоит для меня чрезвычайно остро. На мне лежит крайне тяжелая работа, требующая полного равновесия всех сил. Ваше дело простое! Вы сидите кротами по квартирам и лишь по ночам вылазите в районы для агитации. Я круглый день танцую на острие бритвы. Мельчайшая оплошность — и конец!

— Т-ттак что же тт-тебе нужно?

— Подожди!.. Случилось страшное! Вместо меня, дурацкой ошибкой, роковым сходством, приведен к смерти человек. Не враг — не офицер, поп, фабрикант, помещик, а мужичонка. Один из тех, для кого я же работаю. Может ли партия избавить меня от опасности ценой его смерти? Могу ли я спокойно перевесить чашку весов на свою сторону?

Семенухин иронически скривил рот.

— Интеллигент-ттская п-ппостановочка вопроса? Нравственное право и в-веления м-мморали? Д-ддостоевщина! Д-для тебя есть т-только дело п-ппартии, и пп-проваливать его т-ты не им-меешь права!

По лицу Орлова, от лба к подбородку, протекла густая красная волна. Он вскочил со стула.

— Зачем ты говоришь о деле партии? Я его не провалю и не собираюсь проваливать. Если бы даже я сдался, из меня никакими пытками ничего не выжмешь.

Семенухин раздраженно передернул плечами.

— Так для чего же т-ты по соб-ббственной в-воле хочешь сунуть б-ббашку в п-петлю? Говоришь, а-арестован мужичонка. Од-дин из т-ттех, на кого мы раб-ботаем?.. Не знаю... Муж-жик муж-жику рознь. При нем найдены крупные деньги... От-тткуда? К-кооперативные?.. В-возможно... А скорей сп-пекульнул м-ммукой или салом... Кулак! Тогда если не явный, то пот-тенциальный враг. И нечего слюнт-ттяйничать!

— Но ведь его замучат в контрразведке, принимая за меня. Значит, человек погибнет невинно!

— П-послушай!— сказал Семенухин.— Ступ-пай домой, вып-пей стакан самогонки и проспись!.. Философ!

— Пошел ты к черту! — озлился Орлов.— И оставь свои советы при себе. Я в них не нуждаюсь!

Семенухин раздумчиво покачал большой головой.

— Ты очень нервничаешь! Это нех-хорошо! Т-ттолько поэтому т-ты и наговорил таких глупп-постей, которые сами пп-по себе достт-таточны для исключ-чения люб-бого т-ттоварища из партии. П-поступок, который т-ты хотел сделать,— пп-предательство. Я говорю эт-то именем ревкома! Оп-помнись!

Орлов побледнел и нервно стянул лицо к скулам. Опустил глаза, и голос конвульсивно задохнулся в горле:

— Да, я нервничаю. Я не машина, наконец, черт возьми! В силу всех известных тебе обстоятельств я прошу ревком освободить меня от работы и переправить за фронт. Я могу просто не выдержать бесконечного напряжения, сорваться и еще больше навредить делу. Примите это все во внимание. Камень тоже может расколоться.

— Г-лупп-пости! Отправляйся домой и отдохни!

Голос Семенухина стал нежным и ласковым. Было похоже, что отец говорит с маленьким и любимым сыном.

— Дмитрий! Я понимаю, что тебе очень тяжело и что вспышка твоя совершенно естественна. Ты наш лучший раб-ботник. Отдохни дня два. А п-после т-ты сам б-будешь смеяться!.. П-пойми, ккк-какая счастливая случайность! Орлов умер и б-белые спокойны, а Орлов т-ттут, рядом, голуб-ббчики!

— Хорошо! До свиданья! У меня действительно голова кругом идет!

— П-понимаю! Так не б-будешь глупить?

— Нет!

— Ч-честное слово?

— Да!

— Д-до свид-данья! Т-такая глуп-пость! За т-три дня ты соб-брал т-такие сведения, и вдруг...

Он схватил обеими руками руку Орлова и яростно смял ее:

— Отдохни об-бязательно! — И нежно закончил: — Ч-чудесный т-ты п-парень!

ПОРЦИЯ МОРОЖЕНОГО

Леон Кутюрье бросил продавщице деньги, воткнул в петличку две астры и, поигрывая тросточкой, побрел вниз по Николаевской улице, по-кошачьи улыбаясь томным от осеннего воздуха женским глазам.

Было жарко, и ему захотелось чего-нибудь холодного, освежающего.

Он распахнул стеклянную дверь кондитерской, положил шляпу на столик, налил воды из графина и заказал кельнерше порцию мороженого.

Огляделся. За соседним столиком пили гренадин два офицера. У одного правая рука висела на черной повязке, и сквозь бинт на кисти просочилось рыжее пятнышко крови.

Кельнерша подала мороженое, и Леон Кутюрье с наслаждением заглотал ледяные комочки с острым привкусом земляники.

— ...Ну да... об Орлове и говорю.

Пальцы Леона Кутюрье медленно положили ложечку на стол, и все тело его незаметно подалось в сторону голоса.

— ...Здорово это вышло! Идем мы, понимаешь, обходом по путям. Тут эшелоны стоят, теплушки всякие. Должны были пехоту принимать на север. Глядим, прет какой-то леший из-под колес. Шмыг бочком — и лезет в теплушку. «Стой!» Остановился. Подходим. Здоровенный мужичина в свитке и бородища рыжая. А глаза как угли. «Ты кто?» — «Ваши благородия, явить божецку милость. Я ж з Юзовки. Домой треба, а тут усю недилю потяги стояли. Дозвольте доихать».— «Тебе в Юзовку? А зачем же ты в этот поезд лезешь, когда он на Круты идет?» — «Та я ж видкиля знаю, коли уси потяги сказились?» — «Сказились? Документы!» — «Нема, ваше благородие, бо вкралы!» Щеглов и говорит: «Забрать!» Он в крик: «За що? Що я зробив?» Ведем на вокзал. Только ввели, вдруг сбоку кто-то кричит: «Орлов!» — «Какой Орлов?» — «Председатель губчека!» У нас рты раскрылись. Вот так птицу поймали. И еще тут три человека подбежали, узнали. Один в чеке сидел, так тот его сразу по морде. Конечно, кровь по бороде, а он на своем стоит. «Я, говорит, Емельчук, киперативный». Хотели его на вокзале прикончить, но комендант приказал в разведку.

— Зачем?

— Как зачем? Он же, ясно, на подполье остался. И у него вся ниточка организации.

— Ну, такой ни черта не скажет. Мы из одного чекиста жилы на шомпола наворачивали, и то, сукин сын, молчал.

— Заговорит!.. Три дня поманежат — все выложит, а потом и налево! Ну, пойдешь, что ли, к Таньке?

— А что?

— Обещала она сегодня свести в одно место. Железка! Всякие субчики бывают — можно игрануть!

— Пожалуй! — лениво ответил офицер с подвязанной рукой и хотел встать.

Леон Кутюрье поднялся из-за своего столика и, подойдя к офицерам, с изысканной вежливостью склонил голову:

— Ви простит. Не имею честь, l'honneur, знать. Я есть коммерсант Леон Кутюрье. Я слышать — ви поимщик чекист Орлов?

Офицер польщенно улыбнулся.

— Я желаль знать... Я много слыхаль на Орлов... Я приехал из Одесс и узнал:мой старая мать, ma pauve mère, расстрелян чека. Я имел ненависть на чека и хотель выпить la santé доблестни русску лейтенант. Ви рассказать мне, какой Орлов. Я его сам буду l'assassiner, как это по-русску... убивать!

В глазах Леона Кутюрье мелькали злобные вспышки. Офицера заинтересовал забавный иностранец. Он нагнулся к товарищу.

— Мишка!.. Этого французского дурня можно здорово подковать на выпивон. Я его обработаю.

Он повернулся к Леону.

— Мсье!.. Мы очень счастливы! Представитель прекрасной Франции! Мы проливаем кровь за общее дело. С чрезвычайным удовольствием позволим себе ответный тост за ваше здоровье!.. Разрешите представиться. Поручик граф Шувалов!.. Подпоручик светлейший князь Воронцов!

Второй офицер осторожно ткнул товарища сзади. Тот шикнул:

— Молчи, шляпа! У французов все знакомые в России графы!

Леон Кутюрье пожал руки офицерам.

— Ошень рад! Je suis enchanté, восторжен, иметь знакомство прекрасни русски фамиль.

— Но знаете, мсье! Нам нужно перекочевать, по нижегородскому обычаю, в другое место. В этой дыре, кроме гренадина, ничего нет. А в России не принято пить здоровье друзей фруктовой водой.

— Mais oui! Я знаю русска обич. Мы будем пить водка.

— О, это здорово! Настоящая русская душа! — И «светлейший князь Воронцов» нежно хлопнул француза по плечу.

— Мы будем пить водка! Потом вы мне говорит об Орлов. Я кочу знать, где она сидит? Я ехаль к главному командир, предлагаль стрелять Орлов своя рука, мстить! La vengeance!

— Видите ли, мсье,— сказал небрежно «светлейший князь»,— я, к сожалению, не могу сказать вам, где сидит сейчас этот субчик. Это слишком мелкий вопрос для меня, русского аристократа, но, к счастью, я вижу в дверях человека, который вам поможет. Разрешите, я вас оставлю на минуту?

Он элегантно звякнул шпорами и пошел к двери, в пролете которой стоял, оглядывая кафе, высокий, тонкий в талии офицер.

— Слушай, Соболевский, будь другом! Мы с Мишкой подловили тут одного французского обормота. Он какой-то

спекулянт из Одессы, приехал искать свою мамашу, а ее в чеке списали. Случайно слышал, как я вчера арестовал Орлова, и воспылал ко мне нежными чувствами. Хороший выпивон обеспечен. Идем с нами! Ты можешь порассказать о его симпатии, и он уйдет не раньше, как с пустым карманом. Только имей в виду, что я — князь Воронцов, а Мишка — граф Шувалов!

Офицер поморщился.

— Только и знаете дурака валять. У меня груда дела.

— Соболевский! Голубчик! Не подводи! Не будь свиньей! У тебя же самые свежие новости из вашей лавочки. А француз страшно интересуется Орловым. Даже предлагал, что сам его расстреляет за свою pauvre mère!

Соболевский со скучающим лицом вертел шнур аксельбанта.

— Ну что же?

— Ладно! Дьявол с вами! Согласен!

— Я знал, что ты настоящий друг. Идем!

Соболевского представили Леону Кутюрье.

— Куда же?

— В «Олимп». Пока единственный и открыт!

Подозвали извозчиков и расселись.

МОЙ ДРУГ

От смятых бархатных портьер, обвисших пыльными складками на окне, было полутемно в прохладном кабинете.

Сумеречные светы сквозь волну табачного дыма холодно стыли на батарее пустых бутылок у края стола.

В глубине кабинета на тахте, уже мертвецки пьяные, возились и щипали девчонок-хористок «граф Шувалов» и «князь Воронцов».

Хористки визгливо пищали, хохотали и откалывали солдатские непристойности.

У одной шелковая блузка разорвалась, рубашка слезла с плеча, и в прореху выпячивалась острая грудь с твердым соском.

«Граф Шувалов» верещал, изображая грудного младенца:

— Уа, уа-ааааа!

Дрыгал ногами и тянулся сосать грудь. Девчонка отбивалась и шлепала его по губам.

За столом остались только Соболевский и Леон Кутюрье.

Француз, откинувшись на спинку стула, обнимал за талию примостившуюся у него на коленях тихонькую женщину, похожую на белую гладкую кошку.

Она мечтательно смотрела в окно.

Поручик Соболевский сидел совершенно прямо на стуле, как будто на лошади во время церемониального марша, и курил.

Лица его против света не было видно, и только изредка поблескивали глаза.

Глаза у поручика были странные. Большие, глубоко посаженные, томные и в то же время зверьи. По ночам, во время

метели, в степи, сквозь вихрь снега, зелеными огоньками горят волчьи глаза.

И так же, по временам, зеленым огнем горели глаза Соболевского.

Разговаривали они все время по-французски.

В начале обеда Кутюрье обращался к поручику на своем ломаном волапюке, от которого дергались в восторге оба офицера, пока Соболевский не сказал, нахмурясь:

— Monsieur, laissez votre espéranto! Je parle français tout couramment![1]

Француз обрадовался. Оказалось, что поручик Соболевский жил и учился в Париже, в Сорбонне.

Он сидел против Леона, прямой, поблескивающий глазами, и тихо говорил о Париже, вспоминал дымные сады Буживаля, в которых умер Тургенев, шумные коридоры факультета Belles-lettres, где провел три чудесных года.

Леон Кутюрье кивал головой, со своей стороны поминал парижские веселые уголки и упорно подливал поручику вино. Но поручик пьянел медленно. Он только еще больше выпрямлялся с каждой рюмкой и бледнел.

— Да, это было прекрасное время нашей Франции,— со вздохом сказал Леон,— а теперь огонь Парижа померк. Проклятые боши достаточно разредили парижан, и сейчас Париж — город тоскующих женщин.

— Вы давно из Парижа? — спросил поручик.

— Не очень! В прошлом году, как раз в бошскую революцию. И мне стало очень грустно. Веселье Парижа — траур, и сердце Франции под крепом.

— Да, грустно,— процедил задумчиво поручик и внезапно спросил: — Мои беспутные приятели сказали, что вы приехали за вашей матушкой.

Леон Кутюрье вздохнул.

— О да! Как ужасно, господин лейтенант, и я даже не знаю, где ее могила! Какие звери! Чего хотят эти люди? В варварской азиатской стране водворить социализм? Безумие, безумие! Мы имеем пример нашей великой революции. Ее делали величайшие умы в стране, которая всегда была светочем для человечества. И что же? Они отказались от социализма, как от бессмысленной утопии. А у вас?.. О, мой бог! Социализм у калмыцких орд? И эти звери не щадят женщин! О, моя мать! Я слышу, она зовет меня к мщению!

— Да, да. Ее расстреляли в чека?

Кутюрье кивнул головой.

— Вы теперь понимаете, какая отрада для меня, что этот негодяй арестован!

---

[1] Оставьте ваше эсперанто, сударь! Я свободно говорю по-французски.

— Дай папиросу, французик,— мяукнула неожиданно кошечка, свернувшаяся на коленях Леона. Ей было скучно слушать незнакомые слова.

— Я с большой нежностью вспоминаю Париж,— сквозь зубы выговорил Соболевский,— это было лучшее мое время. Молодость, энтузиазм и чистота! Я любил литературу, эти сумасшедшие ночные споры в кабачках, где решались мировые проблемы, слова в дыму папирос, в тумане абсента, под визг скрипок. И эти стихи, читаемые неизвестными юношами, которые назавтра гремели своими именами по всему миру...

Поручик зажмурился.

— Вы помните это:

Hier encore l'assaut des titans
Ruait les colonnes guerrières,
Dont les larges flancs palpitants
Craquaient sous l'essieu des tonnerres[1].

— О, я этого не понимаю... Я слаб в литературе. Моя область коммерция!

Совсем стемнело. С дивана, из темноты доносились заглушенные поцелуи и взвизгивания. Поручик допил вино, еще побледнел.

— Пора, пожалуй, отправляться. Много работы.

— Вы, верно, очень устали?.. Вся ваша армия. Но это последняя усталость героев. За вашими подвигами следит весь цивилизованный мир. Теперь ваша победа обеспечена!

Поручик облокотился на стол и посмотрел в лицо собеседнику пьяно и грозно.

— Да, скоро кончим! Надоела мелкая возня! После победы мы займемся перестройкой России в широком масштабе!

— Как вы мыслите себе ваше будущее государство?

— Как?..— Поручик еще тверже оперся на стол. Леон Кутюрье увидел, как странные глаза Соболевского расширились бешенством, яростью, заполыхали, заметались волчьими огнями.

— О, мсье! У меня своя теория. Все дотла! Вы понимаете! Превратить эту сволочную страну в пустыню. У нас сто сорок миллионов населения. Право на жизнь имеют только два, три! Цвет расы: литература, искусство, наука! Я материалист! Сто тридцать семь миллионов на удобрение! Понимаете! Никаких суперфосфатов, азотистых солей, селитры! Удобрить поля миллионами! Мужичье, хамы, взбунтовавшаяся сволочь. Все в машину! Большую кофейную мельницу. В кашу. Кашу собирать, прессовать, сушить — и на поля! Всюду, где земля плоха! На этом навозе создать новую культуру избранных.

— Но... кто же будет работать для оставшихся?

— Ерунда! Машины! Машины! Невероятный расцвет машиностроения. Машина делает все. Скажете, машины нужно обслу-

[1] Еще вчера под натиском титанов рушились воинские колонны и широкие фланги их, трепеща, ломались под ударами громов.

живать? О, здесь поможете вы. Вы получили после войны огромные территории в Африке, в Австралии. Вы все равно не можете прокормить всех своих дикарей, не можете всем дать работу. Мы купим их у вас. Мы создадим из них кадры надсмотрщиков за машинами. Немного! Тысяч триста! Хватит! Мы дадим им роскошную жизнь, вино, лупанарии со всеми видами разврата. Они будут купаться в золоте и никогда не захотят бунтовать. Кроме того, медицина! Гигантские успехи физиологии! Ученые найдут место в мозгу, где гнездится протест. Это место удалят оперативным путем, как мозжечок у кроликов. И больше никаких революций! Баста! К черту! Что вы на это скажете?

Леон Кутюрье неспешно ответил:

— Это крайность, господин лейтенант! Излишняя жестокость! Мир, Западная Европа не простят вам уничтожения такого количества жизней.

Поручик перегнулся к французу. В глазах его уже было голое безумие. Голос стал острым и ощущался, как вбиваемый гвоздь.

— Струсил? Бульварная душа, соломенные твои ноги! Все вы сопляки! Ублюдочная нация, паровые цыплята! На фонарь вас, к чертовой матери!..— Он вытер рукой запенившиеся губы.— Черт с тобой! Пойду! Выспаться надо! Завтра еще товарищей в работу брать!..

— Каких товарищей? — спросил Кутюрье.

— Краснопузых... хамов! Легкий разговорчик... Иголки под ноготки, оловца в ноздри... Я — комендант контрразведки! Понимаешь ты, французская блоха!

Поручик горячо дышал перегаром в лицо Леону Кутюрье. Женщина на коленях у француза встрепенулась.

— Ты что так ногой дрожишь, миленький?.. Холодно, что ли?

— Ньет!.. Ти мне томляль нога... Сходит, пожалуст! — ответил сердито француз.

Соболевский посмотрел на женщину, дернулся всем телом и, размахнувшись, сбил со стола бутылки. Пол зазвенел осколками.

— Напился, сукин сын!..— сказала женщина.

Поручик смотрел на осколки, соображая. И снова нагнулся к французу.

— Ты меня прости, Леончик... Леошка! Ты хороший малый, а я сволочь, палач! Поедем, брат, ко мне на полчасика. Я тебе покажу последнее падение... бездну... Ты Достоевского не знаешь?.. Нет! Ну и не надо!.. А вот посмотришь — и расскажешь во Франции... Скажи им, сукиным детям, что выносят русские офицеры, верные долгу чести и братскому союзу...

— Хорошо... господин лейтенант! Но успокойтесь!.. У вас нервы не в порядке... Я все расскажу... У нас, во Франции, ценят ваше геройство...

— Да... ценят?.. Гнилой шоколад посылают, старые мундиры, снятые с мертвецов? Подлецы они все! Один ты хороший парень, Леоша! Едем!

— Может быть, не стоит, господин лейтенант? Вы устали, нездоровы. Вам нужно серьезно отдохнуть.

— Ну что же, опять струсил?.. Не бойся! Пытать не буду! Я пошутил. Идем, Леончик!.. Тяжело мне!.. Русский офицер, стихи писал, а теперь в палачи записался. Я тебя ликером напою. Зам-мечательный бенедиктин!

— Хорошо!.. Только нужно расплатиться.

— Не беспокойся!

Соболевский позвонил. В двери появился официант.

— Счет завтра в контрразведку! Скобелевская, семнадцать. И катись к матери!

Соболевский подошел к дивану.

— Ну... сиятельные! Довольно вам тут блудить. Марш!

— Ты уезжай, а мы останемся.

— А платить кто будет?

— Деньги есть!

Леон Кутюрье простился с офицерами. В вестибюле Соболевский подошел к телефону.

— В момент машину!.. К «Олимпу»!.. Я жду!

Они вышли на подъезд. Поручик сел на ступеньку, Леон Кутюрье облокотился на перила.

Соболевский долго смотрел на уличные огни. Повернул голову и сказал глухо:

— Леон! Когда-то я был маленьким мальчиком и ходил с мамой в церковь...

Леон Кутюрье не ответил. Из-за угла пугающе-черный и длинный выбросился к подъезду автомобиль. Поручик встал и подсадил француза.

Машина взвыла и бесшумно поплыла по пустым улицам. Резко стала у двухэтажного дома в переулке. С крыльца окликнул часовой.

— Стой!.. Глаза вылезли, черт!..— крикнул Соболевский и жестом пригласил Леона. Они прошли прихожую и поднялись во второй этаж. Налево по коридору Соболевский постучался. На оклик распахнул дверь.

Из-за стола в глубине слабо освещенной комнаты встал квадратный, широкоплечий, в полковничьих погонах.

— Соболевский... вы? Что за ерунда? — и оборвал, увидев чужого.

Соболевский отступил на шаг и бросил:

— Господин полковник! Позвольте представить вам моего друга... *Товарищ Орлов!*

— Всегда вы с вашими дурацкими приемами... Тоже японец!.. Джиу-джитсу! Вы его наповал уложили.

— Разве я предполагал, что он, как кенгуру, прыгнет? Сам налетел на кулак. А это уж такой собачий удар под ложечку!

— Лейте воду! Кажется, зашевелился.

Орлов медленно и трудно раскрыл глаза. Под ложечкой, при каждом вздохе, жгла и пронизывала вязальными спицами боль. Он застонал.

— Очнулся! Ничего, оживет!

— Положим на диван! А вы вызовите усиленный конвой.

Орлова подняли. От боли он опять потерял сознание и пришел в себя уже на диване. Над головой, в стеклянном колпачке, горела лампочка и резала глаза.

Отвернулся, увидел комнату, стол. Попытался вспомнить.

Открылась дверь. Весело вошел Соболевский.

— Господин полковник! Позвольте получить с вас десять тысяч. Пари вы проиграли: первого крупного зайца я заполевал.

— Подите к дьяволу!

— Согласитесь, что проиграли.

— Ну и проиграл! Дуракам везет!

— Это устарелая поговорка, господин полковник! Вообще вы для контрразведки не годитесь. Я бы вас держать не стал. У вас устарелые приемы! Ложный классицизм! Вы совершенно не знаете психологии!

— Отстаньте!

— Нет, извините! Мне досадно. Сижу я, талантливый человек, на захудалой должности, а вы — бездарность и вылезли в начальство.

— Поручик!

— Знаю, что не штабс-капитан. А вас бы в прапорщики надо. Тоже хвастал. Приволок смердюка бесштанного... «Орлова арестовал». Ворона безглазая.

— Вы с ума сошли... Сами же радовались...

— Радовался вашей глупости... Ну, думаю, теперь старого Розенбаха в потылицу, а мне повышеньице.

Голос Соболевского стучал нахальством. Полковник промолчал.

— Ну, не будем ссориться,— сказал он заискивающе.— Расскажите толком, как вы умудрились...

— Поймать?.. Поучиться хотите?.. По чести скажу — случайно. Никаких подозрений сперва... Французик и французик. Играл он здорово! И я с ним запанибрата, даже теорию свою о неграх ему разболтал. Но тут налетел моментик! Женщина выдала, как он секундочку с собой не справился. И меня как осенило. А что, если?.. Вдруг мы прошиблись и действительно не того сцапали? До того взволновался, что пришлось бутылки бить, чтобы отвлечь

внимание. И то поверить не мог. Решил затащить его сюда по-приятельски, а здесь проверочку сделать... А он во второй раз не выдержал. Не дерни его нелегкая в бега броситься, так бы шуткой и кончилось!

Орлов скрипнул зубами:

— Сволочь!

— А, мосье Леон! Изволили проснуться? Как почивали?

Орлов не ответил.

— Понимаю! Вы ведь больше по-французски! Чистокровный парижанин? И мамаша ваша тоже ведь парижанка? А Верлена помните? Хороший поэт? Я ему подражал, когда начал стихи писать. Стихи обязательно прочту... Оценишь... сукин сын!

Орлов закрыл глаза. Какая-то оранжевая, в зеленых крапинках, лента упорно сматывалась с огромной быстротой в голове с валика на валик. Вздрогнул и привскочил на диване.

— Благоволите сидеть спокойно, мусью Орлов,— крикнул полковник, подымая парабеллум,— мы вынуждены стеснить свободу ваших движений!

Орлов не слышал. Тупо, без мысли смотрел перед собой. Вспомнилось: Семенухин!.. Разговор! «Я же дал честное слово! Он может подумать, что я!..» Стиснул косточками пальцев виски и закачал головой.

— Что, господин Орлов? Неужели вам не нравится у нас? Не понимаю! Тепло, чисто, уютно, обращение почти вежливое, хотя я должен принести вам извинение за нетактичность поручика, но вы проявили такую способность к головокружительным пируэтам, что пришлось вас удержать первым пришедшим в голову способом.

Орлов отвел руки от лица.

— Вы мразь!.. Я с вами разговаривать не намерен! — крикнул он полковнику.

Полковник пожал плечами.

— За комплимент благодарю! Но разговаривать вам все же придется. Даже против желания. В нашем монастыре свои обычаи!

— Иголки под ногти будешь загонять, гадина?

— Не я, не я! Я совсем не умею. У меня руки дрожат. Зато поручик по этой части виртуоз. Всю иголку сразу, и даже не сломает! Сами товарищи удивляются! Вы как предпочитаете, господин Орлов? Холодную иглу или раскаленную? Многие любят раскаленную. Сначала, говорят, больно, зато быстрее немеет.

Орлов молчал. Поручик Соболевский прошелся по комнате.

— Так, мсье Леон? В машину? Да-с, в машину! — Он быстро подошел к Орлову и всадил в его зрачки горящие волчьи глаза.— Прокрутим в кашу, спрессуем и на удобрение! И культурный Запад ничего не скажет. Вырастут колосья, и подадут мне на стол булочку. Булочка свеженькая, тепленькая, пушистая,

вкусная! А почему? Потому что не на немецком каком-то суперфосфате выросла, а на живой кровушке!

Поручик вихлялся и шипел змеиным, рвущим уши шипом.

Орлов вытянулся и бешено плюнул.

Соболевский отскочил и, выругавшись, занес руку, но полковник перехватил удар.

— Ну вас! Оставьте! У вас, поручик, такой дробительный кулак, что вы господина Орлова можете убить, а это совсем не в наших интересах. Самое забавное впереди.

— Сука! — сказал поручик, вырвавшись.— Пойду умоюсь.

— Да, вот что! Распорядитесь освободить этого олуха Емельчука, кипеpативного. Напрасно помяли парня.

— О, у вас даже освобождают? Какой прогресс! — сказал Орлов.

— Не извольте беспокоиться. Вас не выпустим.

Орлов пошарил по карманам. Папирос не оказалось.

— Дайте папиросу!

— Милости прошу!

Полковник поднес портсигар. Орлов взял и вывернул все папиросы себе на ладонь.

— Ах, какой вы недобрый! Мне ничего не оставили?

— Наворуете еще! А мне курить надо!

— А вы мне, ей-ей, нравитесь! Люблю хладнокровных людей!

— Ну и заткнитесь! Нечего языком трепать!

— Ах, какая непарижская фраза! Вы себя компрометируете! А сознайтесь, что я свою разведочку поставил неплохо. Не хуже вашей чека.

Орлов взглянул в ласково прищуренные зрачки полковника.

Облокотился на спинку дивана и процедил сквозь зубы:

— К сожалению, должен согласиться с поручиком Соболевским, что вы старый идиот, которого держат, очевидно, из жалости.

Полковник налился до кончика носа малиновым соком.

— Ты еще дерзости будешь говорить, мерзавец! Довольно! Я тебе покажу! Сейчас сообщу командующему — и в работу.

Он взял телефонную трубку. Вернулся в комнату Соболевский.

— Алло! Штаб командующего! Начразведки. Слушаю-с! Конвой готов? — бросил он Соболевскому в ожидании ответа.

— Готов, господин полковник!

— Да. Слушаю. Ваше превосходительство? Доношу, что Орлов арестован. Да. Сегодня. Нет... Действительно ошибка... Невероятное сходство... Так точно... Арестован поручиком Соболевским... Слушаю... Да... Да. Почему, ваше превосходительство... ведь мы?.. Слушаю, слушаю! Будет исполнено, ваше превосходительство! Счастливо оставаться, ваше превосходительство!

Он злобно швырнул трубку.

— У, черт!

— Что такое? — спросил Соболевский.

— У нас его отбирают.

— Куда?

— К капитану Тумановичу. В особую комиссию.

— Но почему? Ведь это же свинство!

— Известное дело! Туманович в великие люди лезет. Сволочь... налет.

Полковник высморкался длительно и громко.

— Жаль, жаль, господин Орлов! Вам очень везет. Придется вас отправить к капитану Тумановичу. Очень жаль! Капитан слишком европеец и слишком держится за всякие там процессуальные нормы. Ничего он с вами не сделает, так и отправит вас в расход, не узнав ни гугу. А мы бы из вас все вытянули — потихоньку, полегоньку, любовно. Все бы высосали — по капельке. Ничего не поделаешь. Скачи, враже, як пан каже. До утра вы все же погостите у нас, а то ночью отправлять вас опасно. Человек вы отчаянный. Досадно только, что не придется с вами за старого идиота посчитаться... Поручик, проведите господина Орлова.

АРИЯ ЛИЗЫ

Мадам Марго вышла к обеду немного взволнованная.

— Анна Андреевна, знаете, не могу понять, почему Леона до сих пор нет?

— Ничего, Марго! Не волнуйтесь! Задержался по делам или зашел к знакомым.

— Не думаю. И потом, он всегда предупреждает меня, если не рассчитывает скоро вернуться.

Доктор Соковнин разгладил бороду над тарелкой супа.

— Эх, головушка! Куриный переполох начинаете! Вздор-с! Нервы-с! Леон ваш чересчур примерный муженек и избаловал вас. Нашему брату иногда немножко воли нужно давать. Вот когда женился я на Анне, от любви ходу мне никакого не было. На полчаса запоздаешь — дома слезы, горе. А в нашем докторском деле извольте аккуратность соблюсти! Ну-с, вот однажды я и удрал штуку. Ушел утром из дому. «Пойду, говорю, газету купить». Вышел и пропал. Через трое суток только и объявился. Тут истерика, дым коромыслом, полицию всю на ноги подняли, всю реку драгами прошли, все мертвецкие обегали. А я у приятеля-помещика в пятнадцати верстах рыбку ловлю. С той поры как рукой сняло. Больше суток могу пропадать без волнения. Так и вам надо.

Анна Андреевна засмеялась.

— Хорош был, когда вернулся! Нос красный, водкой пахнет. Посмотрела я и подумала: «Это из-за такого сокровища я себе здоровье порчу? Да пропади хоть совсем, не пошевельнусь».

Но старания хозяев развеселить Марго не удавались. Артистка нервничала и томилась.

— Но уж если, голубушка, вы так беспокоитесь, я пройду в полицию. У меня там старый приятель есть. При всех режимах от меня спирт получает и за сие мелкие услуги оказывает.

Марго встрепенулась от оцепенения.

— Ах, нет, доктор. Только, пожалуйста, не полиция. Ненавижу русскую полицию. Вымогатели! Пойдут таскаться! Не нужно! Если утром не вернется, тогда примем меры. А сейчас нужно повеселиться. Хотите, спою?

— Обрадуйте, милуша! Люблю очень, когда вы соловушкой заливаетесь.

Маргарита села к роялю.

— Что же спеть? Приказывайте, доктор!

— Ну, уж если вы такая добренькая сегодня, спойте арию Лизы у Канавки. Ужасно люблю. Еще студентом ладошки себе отхлопывал на галерке.

Марго раскрыла ноты.

Рокоча, пролились стеклянные волны рояля.

Доктор уткнулся в кресло. Анна Андреевна тихонько мыла стаканы.

Ночью ли, днем
Только о нем
Думой себя истерзала я...

Прозрачный голос замутился, затрепетал:

Туча пришла,
Гром принесла,
Счастье, надежды разбила...

Внезапно перестали падать стеклянные волны.

Марго захлопнула крышку и хрустнула пальцами. Доктор вскочил.

— Марго, родненькая!.. Что с вами? Успокойтесь! Анна, неси валерьянку!

Но Марго оправилась. Поднялась бледная, сжав губы.

— Нет! Нет! Ничего не надо, спасибо. Мне очень тяжело. Такое ужасное время. Мне всякие ужасы чудятся. Извините, я пойду прилягу.

Доктор довел ее до комнаты. Вернулся в столовую.

— Молодо-зелено,— сказал он на вопросительный взгляд жены,— трогательно видеть такую любовь! Эх-хе-хе!

Он взял газету. Открыл любимый отдел — местная хроника и происшествия. Сощурился.

— Знаешь, Орлов арестован, Анна.

— Какой Орлов?

— Да наш чекист знаменитый!

— Что ты говоришь?

— Представь себе! Поймали вчера на вокзале. Понесу-ка газету Маргоше. Пусть отвлечется немножко.

Мягко ступая войлочными туфлями, доктор подошел к двери и постучал.

— Вот, голубка, возьмите газету. Развлекитесь немножко злободневностью.

Высунувшаяся в дверь рука артистки взяла газету.

Доктор ушел. Бэла подошла к столику и небрежно бросила газету. Грязноватый лист перевернулся, и среди мелких строчек выросло:

«Арест Орлова».

Бэла не сделала ни одного движения. Только руки ухватились за столик. Буквы заползали червями. Она села, закрыв глаза.

Вдруг вскочила и схватила лист.

«Как вчера? Вчера, 14-го... Вчера? Но вчера Орлов был дома, и сегодня утром он еще был дома... Что за чепуха!.. Но ведь его нет! Нужно не медлить. Сейчас же к Семенухину!»

Пальцы рвали пуговицы мохнатого пальто. Трудно было надеть модную широкую шляпу: она все время лезла набок.

Бэла выбежала в переднюю. Встретила доктора.

— Вы куда, Марго?

— Ах, я не могу сидеть дома,— почти простонала Бэла.— Я уверена, что Леон у одного знакомого. Поеду туда! Если даже не застану, мне на людях будет легче.

— Ну, ну! Дай бог! Только не расстраивайтесь вы так. Ничего с ним не случится. Не убьют и не арестуют, как Орлова.

Бэла нашла силы, чтоб ответить смеясь:

— Бог мой, какое сравнение! Леон же не большевик.

На улице вскочила в пролетку. Извозчик ехал невыносимо медленно и все время пытался разговориться:

— Я так, барыня, думаю насчет властев, что всякая власть, она чистая сволота, значит. Потому как, скажем, невозможно, чтоб всех людей заделать министрами, и потому всегда недовольствие будет и, следовательно, властев резать будут...

— Да поезжайте вы без разговоров! — крикнула Бэла.

КАПИТАН ТУМАНОВИЧ

Люди на улицах с удивлением наблюдали утром, как десять солдат, с винтовками наперевес, вели по мостовой, грубо сгоняя встречных с дороги, хорошо одетого человека, шедшего спокойно и с достоинством.

Арестованный был необычен для белых. Люди уже твердо привыкли, что при большевиках водят в чеку почтенных людей, а при добровольцах — замусленных и закопченных рабочих или курчавых мальчиков и стриженых девочек.

Поэтому праздные обыватели пытались спрашивать у солдат о таинственном преступнике, но солдаты молча тыкали штыками или грубо матерились.

Конвой свернул в переулок. Орлов, выспавшийся и пришедший в себя, зорко осмотрел дом. Его ввели в парадное, заставили подняться по лестнице и в маленькой комнатке с ободранными

обоями сдали под расписку черноглазому хорошенькому прапорщику.

Посадили на скамью, рядом стали двое часовых. Прапорщик, очевидно, новичок, с волнением и сожалением посмотрел на него.

— Как же вас угораздило так вляпаться? Ай-яй!..— сказал он почти грустно.

Орлов посмотрел на него, и его тронуло мальчишеское сочувствие.

— Ничего! Бывает! Я долго здесь не останусь!

Прапорщик удивился.

— Что, вы хотите удрать? Ну, у нас не удерешь. У нас дело поставлено прочно! — сказал он с такой же мальчишеской гордостью.— Не нужно было попадаться! Сейчас доложу о вас капитану Тумановичу!

Орлов осмотрелся. В комнате стоял письменный стол, два разбитых шкафа, несколько стульев и скамья, на которой он сидел. Окно упиралось в глухой кирпичный брандмауэр. Он хотел подняться и посмотреть, но часовой нажал ему на плечо.

— Цыц! Сиди смирно, сволочь!

Орлов закусил губу и сел. Через несколько минут прапорщик вернулся.

— Отведите в кабинет капитана Тумановича!

Солдаты повели по длинному пыльному коридору, и Орлов внимательно считал количество дверей и повороты. Наконец часовой раскрыл перед ним дверь, на которой висела табличка с кривыми, наспех написанными рыжими чернилами буквами:

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ
КАПИТАН ТУМАНОВИЧ

Капитан Туманович неспешно и размеренно ходил по комнате из угла в угол и остановился на полдороге, увидя входивших.

Он подошел к столу, сел, положил перед собой лист бумаги и тогда сказал часовым:

— Выйдите и встаньте за дверью.— И, обращаясь к Орлову: — Вы бывший председатель губчека Орлов?

Орлов молча придвинул стул и сел. У капитана дрогнула бровь.

— Кажется, я не просил вас садиться?

— Плевать мне на вашу просьбу! — резко сказал Орлов.— Я устал!

Он положил локти на стол и начал в упор разглядывать капитана.

У Тумановича было вытянутое исхудалое лицо, высокий желтоватый прозрачный лоб и игольчатые, ледяные синие глаза. Левая бровь часто и неприятно дергалась нервным тиком.

— Я мог бы заставить вас уважать мои требования,— сказал он холодно,— но, впрочем, это не имеет значения. Будьте любезны отвечать: вы Орлов?

— Во избежание лишних разговоров считаю нужным довести до вашего сведения, что ни на какие вопросы я отвечать не буду! Напрасно трудитесь!

Туманович вписал быстро несколько строк в протокол допроса и равнодушно вскинул на Орлова синие ледяшки глаз.

— Это мною предусмотрено! Собственно говоря, я не рассчитываю допрашивать вас в том смысле, как это принято понимать. Довольно глупо было бы ожидать, что вы заговорите. Но это — необходимая формальность. Мы действуем на строгом основании процессуальных норм.

Он помолчал, как бы ожидая возражения. Орлов вспомнил слова полковника и едва заметно улыбнулся.

Капитан слегка покраснел.

— Единственно, чего судебная власть, представляемая в данном случае мною, ожидает от вас, это некоторой помощи. Нами арестованы, кроме вас, еще несколько сотрудников губчека. Часть их захвачена в эшелоне, ушедшем в утро занятия города. Все они предстанут перед судом. Чтобы разобраться в обвинительном материале, мы находим полезным ознакомить вас с ним, и вы, надеюсь, не откажете сообщить, что в нем факты и что вымысел.

— Не беспокойтесь, капитан... Я не имею ни малейшего желания знакомиться с этим материалом.

— Но подумайте, господин Орлов! Могут быть ошибки, могут быть обвинения, возведенные на почве личных счетов. Время сумбурное. Проверить фактически нет возможности. Установив, где правда и где ложь, вы можете облегчить судьбу тех из ваших сотрудников, над которыми тяготеют ложные обвинения.

Орлов пожал плечами.

— Мне очень печально, капитан, что я причиняю вам такое огорчение. Но неужели вы думаете поймать меня на эту удочку? Все обвинения, которые я буду отрицать, будут, конечно, посчитаны за действительные... Я думал, вы мыслите более логично!

Капитан опять покраснел и завертел ручку в худых пальцах.

— Вы не хотите понять меня, господин Орлов! Вы все еще считаете себя во власти контрразведки. Но вы не правы! Мы могли бы заставить вас говорить. Для этого есть средства, правда, выходящие из рамок законности, но ведь вся наша эпоха несколько выходит из рамок законности. Но я юрист, я мыслю юридически, я связан понятиями этики права и категорически осуждаю методы полковника Розенбаха.

— Особенно после того, как полковник Розенбах доставил меня в ваши руки? Какой подлостью нужно обладать, чтобы сказать спокойно такую фразу!

Туманович стиснул ручку в пальцах так, что она затрещала.

— Хорошо! Значит, вы ничего не скажете! Тогда я перейду к вопросу, лично меня интересующему. До сих пор мне приходилось иметь дело только с двумя категориями ваших единомышленни-

ков: первая — мелкий уголовный элемент, видящий в поддержке вашего режима удобнейшее средство легкой наживы; вторая — бывшие люди физического труда, в большинстве случаев хорошие малые, но опьяневшие до потери мышления от хмеля ваших посулов, одураченные. Те и другие малоинтересны. В вашем лице мне впервые приходится столкнуться с крупным теоретиком и практиком вашего режима, и я затрудняюсь уяснить себе — к какой же категории принадлежите вы, руководители и вожди?

— Меня тоже интересует, к какой категории вашего режима отнести вас, капитан: к крупноуголовной или одураченной? — грубо и со злобой спросил Орлов.

— Зачем вы стараетесь оскорбить меня, господин Орлов? Вы ведь видите ясно, надеюсь, разницу между тем обращением, которое вы испытали в контрразведке и здесь. Я больше не допрашиваю вас как следователь. Я интересуюсь вами как явлением, психологическая база которого для меня загадочна. Неужели на эту тему мы не можем говорить спокойно — для выяснения вопроса?

— Я считал вас умнее, капитан! Я не игрушка для вас, еще меньше я гожусь для роли толкователя ваших недоумений, особенно в моем положении. Отсюда вы пойдете домой обедать, а меня в виде благодарности за лекцию отошлете к стенке! Нам не о чем говорить! Я прошу вас кончить!

— Одну минутку,— сказал Туманович,— мне хочется знать,— поверьте, что это мне крайне важно,— действительно ли вы верите в осуществимость выброшенных вами лозунгов, или... это бесшабашный авантюризм?

— Вы это скоро узнаете, господин капитан, на собственном опыте. Здесь же, в этом городе, через два-три месяца, когда камни мостовых будут слать в вас пули.

— Значит, организация у вас здесь продолжает работать? — спросил, прищурившись, капитан.

Орлов засмеялся.

— Хотите поймать на слове? Да, капитан, работает и будет работать. Хотите знать, где она? Везде! В домах, на улицах, в воздухе, в этих стенах, в сукне на вашем столе. Не смотрите на сукно с испугом! Она невидима! Эти камни, известка, сукно пропитаны потом и кровью тех, кто их делал, и они смертельно ненавидят, да, эти мертвые вещи живо и смертельно ненавидят тех, кому они должны служить. И они уничтожат вас, они вернутся к настоящим хозяевам-творцам! Это будет ваш последний день.

Туманович с интересом взглянул на Орлова.

— Вы хорошо говорите, господин Орлов! Вы, наверное, умеете захватывать массы. Ваша речь образна и прекрасна. Нет... нет, я не смеюсь! И вы очень твердый человек. Я чувствую в вас подлинный огонь и огромную внутреннюю силу. С точки зрения моих убеждений — вы заслужили смерть. Думаю, вы сказали бы мне то же, если бы я был в ваших руках. Око за око и зуб за зуб!

Из уважения к масштабу вашей личности я приложу все усилия, чтобы ваша смерть была легкой и не сопровождалась теми переживаниями, которые, к сожалению, вынуждены переносить у нас люди, отказывающиеся от дачи показаний. Я мог бы немедленно, ввиду ваших слов, отослать вас в сад пыток полковника Розенбаха. Но вы Орлов, а вот передо мной выдержка из агентурных сведений: «Орлов Дмитрий. Партиец с шестого года. Фанатичен. Огромное хладнокровие, до дерзости смел. Чрезвычайно опасный агитатор. Исключительная честность». Видите, какая полнота.

Капитан позвал часовых.

— До свидания, господин Орлов!

— До свиданья, капитан! Надеюсь, нам не долго встречаться!

ДВЕ СТРАНИЦЫ

Химическим карандашом. Листки в клеточку из блокнота:

«Сколько здесь крыс!.. Голохвостые, облезлые, чрезвычайно важные.

Иногда собираются в кружок, штук по десяти, гордо встают на задние лапы и пищат...

Тогда... (несколько слов не разобрано) и кажется, что это деловое собрание чинных сановников, департамент крысиного государственного совета.

Пишу при спичках... Освещения никакого...

...по всей вероятности, эти листки пойдут в практическое употребление и не выйдут из стен...

На всякий случай...

Константин... Ты помнишь сегодняшний разговор... (не разобрано).

...убедился, что силы, даже мои, имеют какой-то предел. Для какого черта нервы?.. Поручик Соболевский, который арестовал меня, говорит: «Врачи будут вырезать ту часть мозга, где гнездится дух протеста, революции».

Нужно вырезать нервы, которые... (не разобрано), усталость и ослабление воли. Я говорил, что после внешнего толчка, нанесенного лжеарестом, я потерял управление волей.

Лицом можно владеть всегда, тело может изменить...

Я знаю, ты думаешь... не сдержал слова, сдался добровольно...

Вздор... Нет и нет. Глупую вспышку мгновенно забыл. Попался случайно... Идиотски...

...(не разобрано) мороженого, услыхал, офицеришка рассказывал, как арестовали моего двойника... Нужно было узнать до конца... возможность устроить побег. Хотел узнать, где сидит этот лопоухий...

...(не разобрано) не знали. «Он вам поможет...»

Знаешь, кого я узнал?.. Помнишь Севастополь, отступление... Помнишь офицера, который на твоих и моих глазах застрелил

на улице Олега?.. Да... Тогда его звали Корневым... у них в контрразведке тоже псевдонимы.

...не удержался... Сидел против него и думал: «Нашел и не выпущу...» Тянуло, как комара на огонь. В обычном состоянии ушел бы... Тут не мог — отрава в сознании, что он в моих руках. И когда пьяный предложил ехать с ним в разведку... поехал... Теперь вспоминаю: заметив мое волнение, он сбил со стола бутылки. Тогда прошло мимо... сознание, воля ослабели...

...думал, действительно пьян, высосу из него все... Даже думал о его последней минуте.

...(не разобрано), что паршивая жизнь дрянного контрразведчика не нужна, не изменит ничего... Это и есть следствие нервов... схватили, как цыпленка.

...дешево не отдамся... еще не потеряно. Бежали из худших положений. Почти уверен,— скоро увидимся и пишу так... на всякий случай.

Запомни все же фамилию: Соболевский... В последние минуты организуй, чтобы не ушел... Ты помнишь голову Олега на тротуаре, кровь, серые и розовые брызги?... Вот!

Прекрасный артист... Переиграл меня... Правда: нервы, но это не оправдание.

...(не разобрано) судьба Б... Хорошая девочка, но экспансивна, не станет подлинной партийкой... Если попалась, приложи все силы... (не разобрано) выручить...

...(не разобрано) завтра... (не разобрано)... озаботься, чтобы при нас тюрьму почистили... здесь страшное свинство... (разобрано с трудом).

Спички кончились... Тьма египетская, все равно ничего не разберешь...»

ОТРЕЧЕНИЕ

На углу Бэла отпустила извозчика. Бежала по глухой окраинной улице.

Поднявшийся ветер рвал шляпу, забирался леденящими струйками под пальто.

Кто-то проходивший нагнулся, заглянул под шляпку.

Сказал вслух:

— Хорошенькая цыпка,— и повернул вслед.

Бэла остановилась. Преследующий подошел, увидел глаза, переполненные тоской и презрением.

— Я требую, чтобы вы оставили меня в покое!..

Смешался.

— Простите, сударыня! Я не знал!..

Приподнял шляпу и ушел. Бэла дрожа вскочила в калитку, пробежала садиком.

На условленный стук открыл Семенухин со свечой. В другой руке (было ясно) держал за спиной револьвер. Глаза круглились, и в них металось тревожное пламя свечи.

— Бэла?.. К-каким в-ветром?.. Что-ниб-будь случилось?

— Орлов!..

— Тсс! Идите в к-комнату. Скорее!.. Ну, в ч-чем дело?

— Орлов... арестован!

Семенухин схватил руки. Бэла вскрикнула.

— Ай!.. Мне же больно!

Опомнился, выпустил руки.

Спросил глухо и зло:

— Где, к-как?..

— Я ничего не знаю... Тут какое-то недоразумение... Вот газета. Сказано — вчера, но сегодня утром он был дома... Я не понимаю... Но он сказал, что будет дома в семь вечера. До десяти не было. Я не могла!.. Поехала к вам!

Семенухин швырнул протянутую газету. Помолчал.

— Я эт-то ч-читал! Но с-сегодня п-после эт-того он б-был здесь у меня. Неужели?..

Увидел, что Бэла, задыхаясь, прислонилась к стене... Едва успел подхватить и посадить на стул.

Спокойно налил воды в стакан, набрал в рот и прыснул в лицо. Щеки медленно порозовели.

— Ну, оч-чнитесь! Нельзя т-так! Оставайтесь ночевать здесь! На квартиру в-вам ни в коем с-случае нельзя в-возвращаться. Я с-сейчас уйду. Нужно срочно в-выяснить. Если т-только!..— Семенухин сжал кулаки и остановился.

Набросил пальто и ушел.

. . . .

Утром Бэлу разбудил его голос, странный, твердый, как палка.

— Вс-тавайте! Я узнал! Арест-тован в-вчера веч-чером. Я т-так и думал. Имейте в виду,— он остановился и взглянул прямо в глубь глаз Бэлы,— что Орлов б-больше не с-существует ни для в-вас, ни для меня, ни для п-партии. Он совершил п-предательство.

Бэла смотрела непонимающими глазами.

— Да, п-предательство!.. Он б-был вчера у м-меня и заявил, что сдастся, чтоб-бы сп-ппасти эт-того арест-тованного муж-жика. Я зап-претил ему от имени партии и ревкома. Он дал ч-честное слово и нарушил его. Он п-предатель, и мы вычеркиваем его!..

Бэла поднялась.

— Орлов сдался?.. Сам?.. Не поверю! Этого не может быть!

— Я лгать не с-стану. Мне это т-тяжелей, чем вам.

Бэла вспыхнула.

— Вы, Семенухин, дерево, машина!.. Я не могу!.. Поймите. Я... люблю его! Я для него пошла на это... на возможность провала... на верную смерть.

— Т-тем хуже,— спокойно ответил Семенухин,— оч-чень жаль, чт-то вы избрали себе т-такой объект. Сейчас я с-созову экстренное соб-брание ревкома для суда над Орловым... П-партии не нужны слаб-бодушные Маниловы. Вот!

Бэла спросила, задохнувшись:

— Это правда?.. Вы не шутите, Семенухин?

— Мне к-кажется, время не для шут-ток!

Бэла отошла к окну. По вздрагиваниям спины Семенухин видел, что она плачет.

Но молчал каменным молчанием.

Наконец Бэла повернулась. Слезы заливали глаза.

— Что? — спросил Семенухин.

И сам вздрогнул, услыхав напряженный, тугой и неломкий голос:

— Если это правда... я отказываюсь!.. Я презираю свою любовь!

ГОСПОМИЛУЙ

Капитан Туманович пришел в комиссию вечером и, взявши ручку, раскрыл дело «Особой Комиссии по расследованию зверств большевиков, при Верховном Главнокомандующем вооруженными силами Юга России».

Уверенным, круглым и размашистым почерком вписал несколько строк, потом отложил перо, рассеянно поглядел в синюю муть окна и, подвинув удобнее стул, стал писать заключение.

Тонкий нос капитана вытянулся над бумагой, и стал он похож на хитрого муравьеда, разрывающего муравьиную кучу.

Когда скользили из-под прилежного пера последние строки, в дверь осторожно постучались. Капитан не слыхал. Стук повторился.

Туманович нехотя оторвался, и синие ледяшки были одно мгновение тусклыми и непонимающими.

— Войдите,— сказал он наконец.

Вошедший прапорщик приложил руку к козырьку и сказал с таинственностью романтического злодея:

— Господин капитан, арестованный Орлов доставлен по вашему приказанию.

— Приведите сюда... И, пожалуйста, приведите сами. Вчера солдаты завоняли весь кабинет махоркой, а я совершенно не переношу этого аромата. Будьте добры и не обижайтесь.

Орлов сидел в приемной на скамье. Солдаты двинулись вести его, но прапорщик взял у одного винтовку.

— Я сам отведу! Пожалуйте, господин Орлов!

Они вышли в коридор.

— Видите, какой почетный караул,— конфузясь, сказал прапорщик,— капитан приказал.— И добавил смешливо: — Ну как, вы еще не надумали удрать?

— Для вашего удовольствия постараюсь не задержать.

— Ах, мне очень хотелось бы посмотреть!.. Вы знаете, по секрету, ей-богу, я даже хотел бы, чтоб у вас это вышло. Я очень люблю такие штуки!

Орлов засмеялся.

— Хорошо! Я вас не обижу! Будете довольны!

В кабинете Туманович подал Орлову лист бумаги и перо.

— Я вызвал вас только на минуту. Распишитесь, что вы читали заключение.

— Какое?

— Следственное заключение.

— И только?.. А если я не желаю?

Туманович пожал плечами.

— Как хотите! Это нужно для формальности.

Орлов молча черкнул фамилию под заключением.

— Все?

— Все! Прапорщик! Уведите арестованного!

Фраза, брошенная прапорщиком на ходу в коридоре, всколыхнула Орлова.

И, выходя из кабинета капитана, он успокаивал себя, сжимая волю в тугую пружину.

В длинном коридоре было три поворота между комнатой прапорщика и кабинетом Тумановича. Тускло горела в середине засиженная мухами лампочка.

Орлов неспешно шел впереди прапорщика. Поравнялся с лампочкой.

Мгновенный поворот... Винтовка вылетела из рук офицера, перевернулась, и штык уперся в горло, притиснув прапорщика, слабо пискнувшего, к стене.

— Молчать!.. Ни звука!.. Веди к выходу или подохнешь!

— На улице часовые,— шепнул офицер.

— Веди во двор! Хотел видеть, как удеру,— получай!

Прапорщик отделился от стены. Губы у него дрожали, но улыбались. На цыпочках он двинулся по коридору, чувствуя спиной тонкое острие под лопаткой.

Один поворот, другой. Почти полная темнота, смутно белеет дверь.

Орлов глубоко вздохнул.

— Здесь,— сказал прапорщик, берясь за ручку.

Дверь распахнулась мгновенно, блеснул яркий свет. Орлов увидел мельком маленькую уборную, стульчак и раковину.

И, прежде чем он успел опомниться, дверь захлопнулась за офицером и резко щелкнула задвижка.

Он оказался один в темноте коридора, обманутый, не зная, куда идти.

Из уборной ни звука.

Орлов тихо выругался и бросился назад, сжимая винтовку и прижимаясь к стене. Где-то хлопнула дверь, и он замер на месте.

В ту же минуту за его спиной оглушительно грохнуло, и, обернувшись, он увидел в двери уборной маленькую светящуюся дырочку.

Грохнуло второй раз.

И сразу захлопали двери в коридоре и забоцали бегущие шаги.

Тогда, вскинув винтовку, Орлов яростно крикнул:

— А, сволочь!.. Подыхай же в сортире!

И, спокойно целясь, выпустил все четыре патрона в дверь уборной, вздрагивая от невероятно гулких ударов винтовки в глухом коридоре.

Кто-то налетел сзади, схватил за руки. Орлов рванулся, но сейчас же треснули тяжелым по голове, и он упал на грязный пол, ударившись челюстью.

Тяжелый сапог наступил ему на затылок, другой уперся в живот.

Кто-то кричал:

— Веревку... тащи веревку!

Его держали три человека; врезаясь в руки и ноги, опутывала жесткая веревка.

Подняли и посадили, прислонив к стене.

— Где Терещенко? — спросил высокий офицер.

— Черт его знает! Ничего тут не разберешь в темноте! Наверно, он его прихлопнул! У кого спички?

— Нá зажигалку.

— Нету!.. Нигде!..

— Да он в ватере!.. Смотри, дверь прострелена!..

— Ах ты черт!.. Убил мальчишку!

Высокий перепрыгнул через Орлова и рванул дверь уборной. Она затрещала и подалась.

— Дергай сильнее!

Высокий рванул еще, задвижка не выдержала, и дверь с грохотом вылетела, хлопнувшись о стену.

На смывном баке, под потолком, поджав ноги, вытянув руку с браунингом, вцепившись другой в водопроводную трубу, сидел черноглазый прапорщик с мертвенно-бледным лицом, дрожащей челюстью и ошалелыми, бессмысленными зрачками.

Губы его непрерывно и быстро шевелились, и замолкшие в коридоре явственно услыхали безостановочное бормотание:

— Господи помилуй... госпомилуй... госпомилуй... госпомилуй!

— Опупел парень! — сказал один из офицеров.— Терещенко! Слезай, черт тебя подери!

Но прапорщик продолжал шептать, и вдруг офицеры оглянулись с испугом на лающие звуки.

Приткнувшись к стене коридора, неподвижно сидел Орлов и неудержимо хохотал.

— Здорово!.. Теперь и этот свернулся!..

— В чем дело?.. Что вы тут возитесь? Снимите прапорщика с его фортеции! Молодец! Догадался на бак влезть! А господина Орлова ко мне!

Капитан Туманович пошел к себе. Два офицера подняли Орлова и, пронеся по коридору, втащили в кабинет.

— Посадите на стул!.. Вот так! Можете идти! Выпейте воды, господин Орлов.

Капитан налил воды и поднес к губам Орлова.

Он с жадностью выпил, все еще вздрагивая от смеха.

— Однако вы человек исключительной смелости и решительности! Не будь, по счастию, этот милый юноша столь сметливым, задали бы вы работку полковнику Розенбаху. Второй раз уже, наверно, не пришлось бы мне с вами увидеться. Хорошо было задумано, господин Орлов!

— Идите к черту,— отрезал Орлов.

— Нет!.. Я совершенно серьезно и, кроме того...

На столе загнусил полевой телефон. Капитан снял трубку.

«К СОЖАЛЕНИЮ, НЕВОЗМОЖНО»

— Слушаю.

Трубка затрещала в ухо, и Туманович узнал ласковый барский баритон адъютанта комкора, корнета Хрущова.

— Туманович, собачья душа! Это ты?

— Я... Ты что в такую пору?

— Погоди, все по порядку. С Маем припадок. Как в Гишпании на арене, озверел и землю рогами роет. Никому подойти невозможно, даже коньяк боятся денщики внести. «Убьет»,— говорят.

— Да почему?

— Два несчастья, брат, сразу. Во-первых, сегодня его пассия эта, ну, знаешь, Лелька, сперла бриллианты и деньги и дала драпу, и предполагают, что со Снятковским... Он и осатанел. А второе, получили радио, что дивизия Чернецова обделалась под Михайловским хутором, и сам Чернецов... ау!

— Убит?

— Нет!.. Есть сведения, что в плену. Большевики предлагают обмен. Начальник штаба предложил Маю устроить обмен Чернецова на твоего гуся. Май и согласился. Так что прими официально телефонограмму.

Капитан оглянулся на Орлова. Арестованный сидел, полузакрыв глаза, усталый и потрясенный.

Туманович пожал плечами и бросил в трубку четко, напирая на слова:

— Передай его превосходительству, что вследствие новых обстоятельств это предложение невыполнимо, так как только что,— капитан снова оглянулся на Орлова,— арестованный Орлов покушался на побег и убийство прапорщика Терещенко.

Орлов приподнялся.

— Фьить,— просвистела трубка,— здорово! Ну, а как же быть с Чернецовым?

— Найдем другого для обмена. А если Чернецова «товарищи» и спишут в расход, то, право же, большой беды не будет! Несколько тысяч комплектов обмундирования останутся нераскраденными.

— Пожалуй, ты прав... Сейчас доложу Маю,— сказал корнет,— ты жди!

Капитан положил трубку.

— Однако вы беспощадны к своим соратникам,— сказал Орлов.

Синие ледяшки капитана обдали Орлова злым холодком.

— Я вообще не щажу преступников, где бы и кто бы они ни были. Это только у вас: кто больше ворует, тот выше залезает!

— У вас неправильная информация, капитан,— усмехнулся Орлов.

— Может быть. А вот вы сами себе подгадили...

— Чем?

— Не устрой вы этой штуки с побегом, могли бы словчиться в обмен. Теперь же я буду категорически настаивать на скорейшей ликвидации вас.

— Чрезвычайно вам признателен!

Телефон опять запел гнусавую песенку.

— Да... Слушаю! Так!.. Я так и думал! Сейчас будет сделано! Да... да! До свиданья! Нет, в театр не поеду: не до того!

Капитан обернулся к Орлову.

— Генерал утвердил предание вас военно-полевому суду. Сейчас вас отправят в камеру. Моя роль окончена! Прощайте, господин Орлов!

ПРОСТАЯ ВЕЩЬ

Военно-полевой суд заседал полчаса.

Председательствовавший полковник пошептался с членами суда, прокашлялся и лениво прочел:

— «По указу Верховного Главнокомандующего военно-полевой суд Н-го корпуса, заслушав дело о мещанине Дмитрии Орлове, члене партии большевиков, бывшем председателе губернской чрезвычайной комиссии, тридцати двух лет, по обвинению вышеозначенного Орлова... постановил: подсудимого Орлова подвергнуть смертной казни через повешение. Приговор подлежит исполнению в двадцать четыре часа. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Орлов равнодушно прослушал приговор и бросил только коротко:

— Прослушал с удовольствием...

Его отвезли в камеру. До ночи он сидел спокойно и безучастно.

Но лихорадочно бились в черепной коробке мысли, и он обдумывал возможность побега по дороге к месту казни.

«Один раз бежал так в Казани... Прямо из петли... Ну и теперь глупо гибнуть... как баран».

Он злобно выругался.

Заходил по камере и вдруг услышал в коридоре шаги и

голоса. Опять томительно завизжала дверь, и в камеру хлынул золотой свет фонаря.

— Останьтесь здесь! Я скоро выйду!..— услыхал он знакомый, как показалось, голос, и в камеру вошел человек. Лицо его было в тени от фонаря, и только когда он сказал: «Господин Орлов!» — Орлов узнал капитана Тумановича.

Темная буря ярости заклокотала в нем. Он шагнул к капитану:

— Какого черта вам надо? Что вы тычете сюда свою иезуитскую рожу? Убирайтесь к...!

Капитан спокойно поставил фонарь на пол.

— Всего несколько минут, господин Орлов. Я пришел сюда, найдя официальный предлог, выяснение одной детали. Но суть вовсе не в этом. Могу сообщить вам, что генерал утвердил приговор. Он только заменил повешение расстрелом, так как ему влетело на днях от верховного за висельничество. Но это ничего не меняет.

— Так что же? Вы явились лично исполнить приговор?

— Бросьте дерзости, господин Орлов. Совсем не для этого я пришел к вам. Повторяю, что говорил: с точки зрения моей законности, вы заслужили смерть. Я очень сожалел бы, если бы пришлось обменять вас на старого казнокрада Чернецова, ибо дарить жизнь такому врагу — величайшая политическая ошибка. Теперь ваша судьба решена бесповоротно. Но вспомните, я обещал вам легкую смерть. Мне неприятно, что вы станете мишенью для делающих под себя от страха стрелков... Берите!..

Капитан протянул руку. Тускло сверкнул стеклянный пузырек.

Неожиданно взволнованный, Орлов схватил пузырек.

Оба помолчали. Капитан наклонил голову.

— Прощайте, господин Орлов!

Но Орлов вплотную подошел к нему и сунул пузырек обратно.

— Не нужно! — сказал он полнозвучным и недрогнувшим голосом.

— Почему?..

— О господин капитан! Я вам весьма обязан за вашу любезность, но не воспользуюсь ею. Я переиграл, как дурак попался в лапы вашим прохвостам и не смог выполнить порученное мне партией дело, но и не имею права портить это дело дальше.

— Я не понимаю!

— Вы никогда этого не поймете! А между тем это *такая простая вещь!* Я погубил доверенное мне дело,— я должен теперь хоть своей смертью исправить свою ошибку. Вы предлагаете мне тихо и мирно покончить с собой? Не доставить последнего удовольствия вашим палачам? Не знаю, почему вы это делаете!..

— Не думайте, что из жалости...— перебил капитан.

— Допустим!.. Лично для меня это прекрасный выход. Но у нас, капитан, своя психология. В эту минуту меня интересует не моя личность, а наше дело. Мой расстрел, когда о нем станет известно, будет лишним ударом по вашему гниющему миру. Он зажжет лишнюю искру мести в тех, кто за мной. А если я тихонько протяну ноги здесь, это даст повод сказать, что не умевший провести порученную ему работу Орлов испугался казни и отравился, как забеременевшая институтка... Жил для партии и умру для нее. Видите, какая простая вещь!

— Понимаю,— спокойно сказал Туманович.

Орлов прошелся по камере и снова остановился перед капитаном.

— Господин капитан! Вы формалист, педант, вы насквозь пропитаны юридическими формулами. Вы человек в футляре, картонная душа, папка для дел! Но вы по-своему твердый человек. Есть одно обстоятельство, которое невероятно мучительно для меня... Был один разговор... Словом, я боюсь, что мои товарищи думают, что я добровольно сдался вам... И я боюсь, что они презирают меня... Я этого боюсь!.. Понимаете? Я боюсь!

Капитан молчал и ковырял носком плиту пола.

— Я отказался от дачи показаний... Но... у меня две написанные здесь страницы! Они объясняют все. Приобщите их к делу. Когда город будет снова в наших руках... Вы понимаете?

— Хорошо,— сказал Туманович,— давайте! Не разделяю вашей уверенности насчет города, но...

Он взял листки и, аккуратно свернув, положил в боковой карман.

Орлов шагнул вперед.

— Нет... нет! Я вам не...

Капитан отклонился с улыбкой.

— Не беспокойтесь, господин Орлов. Мы на разных полюсах, но у меня свои и вполне четкие понятия о следовательской тайне и личной чести.

Орлов круто повернулся. Волнение давило, его нужно было спрятать.

— Я не благодарю вас!.. Уходите!.. Уходите скорее, капитан... пока я не ударил вас!.. Я не хочу больше вас видеть!

— Знаете,— тихо ответил Туманович,— я хотел бы от своей судьбы, чтобы в день, когда мне придется умирать за мое дело, мне была послана такая же твердость.

Он взял с полу фонарь.

— Прощайте, господин Орлов.— Туманович остановился, точно испугавшись, и в желтой зыби свечи Орлов увидел протянутую к нему худую ладонь капитана.

Он спрятал руки за спину.

— Нет... это невозможно.

Ладонь вздрогнула.

— Почему? — спросил капитан.— Или вы боитесь, что это

принесет вред вашему делу? Но об этом ведь ваши товарищи не узнают!

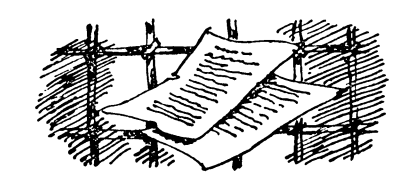
Орлов усмехнулся и крепко сжал худые, костлявые пальцы.

— Я ничего не боюсь! Прощайте, капитан! Желаю вам тоже хорошей смерти!

Капитан вышел в коридор.

Темь бесшумным водопадом ринулась в камеру. Ключ в замке щелкнул, как твердо взведенный курок.

Ленинград, июль 1924





СРОЧНЫЙ ФРАХТ

I

В Константинополе, едва «Мэджи Дальтон» отдала якорь на середине рейда и спустила с правого борта скрипящий всеми суставами ржавый трап, к нему подвалил каик. Турецкий почтальон, у которого засаленный хвостик фески свисал на горбатый потный нос, поднялся по дрожащим ступенькам и подал телеграмму.

Капитан Джиббинс сам принял ее на верхней площадке трапа, черкнул расписку, сунул почтальону пиастр и направился в свою каюту. Там он, не торопясь, набил трубку зарядом «Navy Cut», разжег, пыхнул несколько раз пряным дымом и разорвал узкую голубую ленточку, склеивающую края бланка.

Телеграмма была от хозяина, из Нью-Орлеана. Хозяин извещал, что компания «Ленсби, Ленсби и сын», которая зафрахтовала «Мэджи», настаивает на быстрейшей погрузке в Одессе и немедленном выходе обратно, так как предвидится быстрый спрос на жмыховые удобрения, за которыми и шла «Мэджи» в далекую Россию.

Капитан приподнял плечи, пыхнул особенно густым клубом дыма, перебросил трубку в другой угол рта и выцедил сквозь сжатые губы медленное:

— Goddam! [1]

Он вспомнил, что хозяин, пожалев два лишних цента на тонну, набил угольные ямы парохода таким панельным мусором, что при переходе через Атлантику «Мэджи» еле ползла против волны и ветра и с трудом держала минимальное давление пара.

При таком положении вещей рассчитывать на скорость не приходилось, но приказ был получен, капитан привык исполнять приказы и, позвонив стюарду, велел позвать старшего механика О'Хидди.

Спустя минуту в каютную дверь просунулась остриженная ежиком рыжая голова, оглядела каюту и капитана добродушными васильковыми глазами и втащила за собой сутулое туловище в футбольном свитере и купальных трусах.

— Что вам вздумалось тревожить меня, Фред? — спросила голова ленивым голосом.— Я издыхаю в этом треклятом климате и не вылезаю из ванны. Когда мы вернемся домой, я потребую у хозяина перевода на какую-нибудь северную линию.— О'Хидди подтянул трусы на впалом животе и добавил: — Когда имеешь несчастье родиться в Клондайке и провести полжизни в меховом мешке, трудно примириться с этой адской температурой.

— Тогда я обрадую вас,— ответил капитан,— я рассчитывал простоять тут до воскресенья, чтобы дать команде возможность спустить денежки в галатских притонах и подкрасить борты перед Одессой, но вот телеграмма хозяина... Торопит! Значит, снимемся к вечеру. Одесса не Аляска, но все же в ней прохладнее.

— А почему такая спешка? — спросил О'Хидди, набивая свою трубку капитанским табаком.

— Ленсби хотят поскорее получить жмыхи. На рынке спрос.

Механик в раздумье похлопал ладонью по голой коленке.

— А вам известно, Фред, что в Одессе нам придется застрять для чистки котлов,— сказал он с равнодушным злорадством.

С лица капитана Джиббинса на мгновение сползла маска безразличия и сменилась чем-то похожим на любопытство. Он вынул мундштук из губ.

— Это еще что? Мы произвели генеральную чистку в предыдущий рейс. К чему опять затевать пачкотню, когда от нас требуют спешки?

О'Хидди плюнул в пепельницу и ухмыльнулся.

— Можно подумать, что вас еще не распеленала нянька, до того наивные вопросы исходят из ваших уст. Вы видели уголь, которым мы топим?

— Видел,— сухо ответил капитан.

— О чем же вы спрашиваете? Смесь такого качества можно найти только в прямой кишке бегемота. От нагара половина труб

---

[1] Черт возьми! *(англ.)*

уже не тянет. Без хорошей чистки мы не дойдем обратно, особенно с грузом.

— Это невозможно. Мы можем потерять премию. Кончайте возню в кратчайший срок. Нам нельзя терять ни минуты.

— Попробую. На счастье, в Одессе есть мистер Бикоф. За деньги он сделает невозможное.

Капитан удовлетворился ответом, и снова мускулы его лица застыли в спокойном безразличии.

— Ладно! Полагаюсь на вас. Только предупредите команду, чтоб к шести вечера все были на местах. Если кто-нибудь опоздает — ждать не буду. Пусть попрошайничает в Галате до обратного рейса. Нужно выйти в Черное море до захода солнца, прежде чем проклятые турки выпалят из своей сигнальной пушки. Иначе придется ждать утра.

— Хорошо! — ответил механик.— Будет сделано.

2

«Мэджи Дальтон» прошла узкие ворота Босфора на закате, когда верхушки волн отливали розовым золотом, и, резко повернув, взяла курс на север.

Капитан Джиббинс стоял на мостике, нахлобучив на лоб синюю фуражку с галунами и заложив руки в карманы.

По морским путям мира в час, когда волны отливают розовым золотом, проходят тысячи пароходов. Старые, зализанные солеными поцелуями всех морей и океанов грузовозы и транспорты, быстрые стимеры и великолепные шестиэтажные трансатлантические пассажирские колоссы, перед форштевнями которых с угрюмым гулом расступается вода, подавленная их огромностью. Днем и ночью, под мерцающими узорами звездных сетей, пересекают они морские дороги, вглядываясь в мировую тьму цветными огоньками электрических глаз.

Их движет и гонит через зеленые хляби воля банков, контор и пароходных компаний, жестокая, не знающая пощады и промедления деловая воля капитала.

На голубом мареве морского горизонта вырастают миражи сказочных стран. В сказочных странах ждут горы нужного банкам и конторам груза. Под ругань и свист бичей желтые, коричневые, черные рабы грузят в гулкие железные чрева пароходов материи и пряности, хлопок и руды, плоды и каучук, добытые, выращенные, собранные такими же рабами под такой же свист бичей. В грохоте лебедок тела пароходов оседают в стеклянную глубь, пока вода не закроет черту грузовой ватерлинии.

Сквозь туманы и волны, сквозь звездные сети и разнузданные вопли ураганов пароходы бережно несут свою ношу в далекие порты, чтобы не переставала кипеть сухая, щелкающая костяшками счетов таинственная работа на грохочущих улицах за зеркальными стеклами, до половины закрытыми зелеными

шелковыми занавесками. За этими занавесками царство жадности.

Свисающие на шнурах лампы струят ровное мертвое сияние на высокие конторки, на лысины, на землистые лица в очках, склоненные над гроссбухами и ресконтро. Обладатели этих лиц так же жестки и сухи, как бумага конторских книг, и, когда они шевелят губами, кажется, что губы шелестят, как переворачиваемые страницы. На бумаге растут колонки и столбики цифр. Они управляют судьбой везомых пароходами грузов, хранящих в шелковистой на ощупь рогоже, обволакивающей тюки, странные дразнящие ароматы сказочных стран, цветущих за голубым маревом горизонтов.

Люди банков и контор не слышат этих запахов. Они знают единственный аромат хрустящих цветных бумажек, на которых скучными узорами ложатся цифры и короткие слова на всех языках земли.

Люди банков и контор обращают проведенные ими по страницам книг грузы в цветные бумажки и звонкие металлические кружки. Они спешат совершить это волшебное превращение, чтобы цифры, которые ежедневно пишет мелом на черной доске биржи бесстрастная рука маклера, оставались на спокойном уровне благополучия.

И снова, подчиняясь коротким, лающим приказам жадности, машины пароходов напрягают стальные мускулы, гнут облитые смазочным маслом колени и локти рычагов, трубы плюют в свежее океанское небо отравленной копотью, быстрее рокочут винты, и капитаны чаще спрашивают у вахтенных показания лага.

Капитаны опытны и спокойны, как капитан Джиббинс. Равнодушно стоят они на мостиках, нахлобучив синие с галунами фуражки и засунув руки в карманы. Прищуренными глазами они видят незримый другим путь, пролегающий между седыми лохмотьями пены.

Капитану Джиббинсу ясно виден путь от плоских зеленых берегов Нью-Орлеана до ярко-желтых рыхлых скал одесского приморья. И ему так же ясен путь превращения его груза в цветные бумажки и металлические кружки, часть которых переходит в оплату за труд капитана и матросов. Капитан откладывает большую долю этих бумажек для обеспечения своей семьи на черный день. Матросы, которым нечего откладывать, спускают свои деньги в приступах яростной тоски портовым кабатчикам и жалким размалеванным девкам. Деньги, совершив предначертанный кругооборот, возвращаются в банки, проходят по страницам книг и превращаются в новые грузы.

Пароходы принимают их в трюмы и снова идут морскими путями, коварными и зыбкими, полными неожиданностей, грозящих и капитану и матросам гибелью или потерей работы. Последнее страшнее гибели.

Поэтому ночью капитан Джиббинс трижды выходил на па-

лубу, запахиваясь в короткое непромокаемое пальто, и спрашивал у вахтенного показания медной вертушки, меланхолично отзванивающей на корме над вспененной мерцающей влагой.

3

За переездом через рельсовые пути, свитые змеиным клубком под бревенчатыми пролетами эстакады, залегли по крутой улице низкие дома из ноздреватого закопченного камня. Днем и ночью их обдает грохотом и копотью от проходящих бесконечными вереницами кирпично-красных поездов, принимающих и подающих грузы к известняковым плитам причалов, о которые, шурша, трется мутно-зеленая вода.

Над дверью одного из домов золотые, облупленные буквы:

«Контора по ремонту и чистке пароходных котлов П. К. Быкова».

В конторе за письменным столом сам Пров Кириакович Быков. Он один обслуживает свое предприятие и с утра до вечера неподвижно восседает на широком кресле. Кроме него, в конторе никого, если не считать двух портретов: императора и самодержца всероссийского Николая II и святителя Иоанна Кронштадтского.

На портрете самодержца две дырки. Случалось это два года назад, в дни, когда приходил в Одесский порт восставший броненосец «Потемкин». Простояв двое суток в порту, нагнав неслыханного страху на власти и вызвав в городе могучую вспышку революционной бури, броненосец ушел к югу. Опомнившиеся от паники сатрапы залили Одессу кровью баррикадных бойцов и мирного населения, а разъяренные черносотенцы организовали кровавый, звериный погром. Тогда в контору к Прову Кириаковичу ввалились громилы и пьяная босячня просить царский портрет, чтобы погулять всласть по улицам под прикрытием повелителя. Царь должен был освятить своим ликом резню и грабеж.

Но случилось иначе. Погром принял такой размах, что грозил перекинуться из районов городской голи в богатые кварталы и захлестнуть не только еврейские жилища. Вторично напуганные власти отдали приказ любыми мерами прекратить погром, и, едва осатанелая орда отошла от конторы за угол, железно лязгнули три залпа. Пров Кириакович видел, как мимо окон пронеслись обезумевшие погромщики и один из них бросил портрет на камни мостовой.

Когда проскакали драгуны и все утихло, Пров Кириакович выполз, как барсук из норы, и внес портрет обратно. Стекло высыпалось из рамы, а самодержец был изуродован двумя пулями. Одна оборвала ухо, другая влезла в ноздрю. Двое неизвестных стрелков, зажатых в тиски дисциплины, отвели душу хоть на царском портрете.

Пров Кириакович горько вздохнул. Приходилось покупать новый портрет, но тратиться было жалко, и, приглядевшись, он решил, что дело поправимо. Дырку в ноздре вовсе не заделывал — все равно и в природе там дырка, а ухо заклеил бумажкой и подчернил под цвет карандашиком.

Так и повис самодержец вдыхать конторскую пыль одной натуральной ноздрей. А быковские мальчишки-котлоскребы, что всегда толклись во дворе конторы, подглядели в окошко и непочтительно прозвали портрет «Колька Рваная Ноздря».

Дело у Прова Кириаковича большое, известное всем в порту. Приходят в Одесский порт во все времена года сотни пароходов из разных чудных мест. У иного на корме название и портовая отметка написаны на таком языке, что даже спившийся студент-филолог Мотька Хлюп, который зимой ходит в навязанных на ноги войлочных татарских шляпах вместо ботинок, и тот прочесть не сумеет.

Долго ходят пароходы по морским путям, и засариваются у них от нагара и копоти дымоходные и котельные трубы. Чтобы отправиться дальше, нужно пароходу полечить свой желудок, прочистить железные кишки, соскрести с них всю нагарную дрянь. В док из-за такой мелочи становиться нет расчета, чистят на плаву, и тут-то и приходит на помощь больным пароходам котельный доктор Пров Кириакович.

Для этого у него целая рота мальчишек.

Узкие трубы еще у́же становятся от нагара и накипи, взрослому человеку никак не справиться, а мальчишке по первому десятку в самый раз. Скользнет вьюном в больную трубу и лезет с одного конца до другого в тесноте, духоте и гарной вони и стальным скребком, а где надо — и зубилом, отбивает толстые пленки нагара и накипи с металла.

Пров Кириакович набирает своих мальчишек в самых нищих логовах города — на Пересыпи, Ближних и Дальних Мельницах, на Молдаванке. Только там можно найти охотников мучиться за пятиалтынный в день, на своих харчах.

Приходят к дверям быковской конторы механики больных судов всех наций. Быков принимает заказы, записывая их каракулями в торговую книгу. Натужно ему писать, грамоте обучился с трудом. Выводя буковки, сопит от усердия, размазывает чернила по бумаге мохнатой бородой карлы Черномора. А принявши заказ, открывает форточку во двор и орет всей глоткой:

— Сенька, Мишка, Пашка, Алешка!.. Гайда, байстрюки, на работу! Не копаться! Жив-ваа!

4

О'Хидди в новеньком чесучовом костюме и сверкающих оранжевых полуботинках, с камышовой тростью в руке спустился по широкой одесской лестнице с бульвара, где истребил груду

мороженого, и побрел по грязной, засыпанной угольной пылью улице, сопровождаемый комиссионером Лейзером Цвибелем.

Лейзера знали все капитаны и механики, хоть раз побывавшие в Одесском порту. Он выполнял всевозможные поручения, начиная с внеочередного ввода в док океанских гигантов и до поставки веселящимся на твердой земле морякам беспечных и непритязательных минутных подруг.

Лейзер знал все языки, насколько это было необходимо для портового комиссионера в пределах названных обязанностей. Все языки он немилосердно коверкал, но все же ухитрялся заставлять понимать себя и был для морских людей, теряющихся на улицах чужого города, спасительной нитью Ариадны, выводящей из путаницы лабиринта. Только иногда, когда Лейзер бывал взволнован, он пускал в ход все языки сразу, и тогда понять его было окончательно невозможно.

Сейчас Лейзер провожал О'Хидди в контору Прова Кириаковича. Механик нашел бы дорогу и сам, он не в первый раз в своей бродяжной жизни гранил синие плитки лавы на одесских тротуарах, но объясниться с Быковым самостоятельно не сумел бы. Пров Кириакович знал по-английски только матросскую ругань, О'Хидди же мог произнести лишь три насущных, как хлеб, русских фразы: «Здрастэй», «Как живьош» и «Ти красивэй девуш, я льюблю тибэ». Но для деловых переговоров этого было недостаточно.

Пров Кириакович солидно привстал перед механиком и протянул пухлую, в черных волосиках, коротколапую лапу. О'Хидди энергично тряхнул ее. Лейзер торопливо и с осторожностью притронулся к кончикам быковских коротышек.

— Как себе живете, Пров Кириакович? — спросил он, ласково улыбаясь тревожной, настороженной улыбкой запуганного и забитого человека.

— Живем помаленьку. А ты как, ерусалимская курица?

— Ой, что значит курица? Если б я таки да был курицей, так я каждый день носил бы домой по зернышку и кормил бы деток. А то я не курица, а даже сказать совестно... пфе... Вот, может, сегодня заработаю, потому что таки да привел вам клиента... Ой, какого клиента, чтоб он долго жил. Так он даст мне немножко, и так вы себе дадите бедному еврею.

— А какая работа? — осведомился Быков, раскрывая книгу заказов.

— Ой, что за вопрос? Царская работа, чтоб ей легко икалось. Нужно вычистить мистеру котлы в два дня, потому что мистеру нужно торопиться до своей Америки и у него такой срочный фрахт, какого у меня никогда не будет.

— Два дня? За два дня и заплатить придется, как за два дня,— сумрачно отозвался Быков.

— Так разве я что говорю? Что мистеру стоит? Он же немного богаче старого Лейзера. Он согласен платить.

— Согласен так согласен. Скажи ему, что будет стоить...

Быков почесал нос и назвал головокружительную цифру. Цвибель вздрогнул и побледнел.

— Ой-ой! — прошептал он.— Это же совсем страшная цена. Разве ж я могу выговорить такую?

— А не хочет — не надо,— ответил, не меняя тона, Быков,— время горячее. Клиентов хватает. Не он — другой найдется.

Лейзер развел руками и робко повторил механику цифру по-английски. К его удивлению, О'Хидди даже не поморщился и ответил коротким: «Very well!»[1] — добавив, что если работа не будет кончена за двое суток, то за каждый день просрочки с Быкова будет удерживаться двадцать пять процентов.

— Нехай,— сказал Быков, записывая заказ,— ничего они не удержат, бо сделаю в срок, коли берусь.

Механик положил на стол задаток, взял расписку и кинул Цвибелю пять долларов за комиссию. Пожав еще раз руку Быкову, он вышел из конторы, оставив Цвибеля договариваться о деталях.

На тротуаре он остановился, привлеченный криками и смехом.

Пятеро чумазых, оборванных мальчишек играли на мостовой в классы, бросая битки и прыгая за ними на одной ножке.

О'Хидди не видел никогда этой игры и глядел с любопытством.

Один из мальчишек, маленький и вихрастый, скакал ловчее всех и задорно хохотал, радуясь своей удачливости. Выбросив ловким боковым движением ступни битку из очерченного мелом квадрата, он поднял голову и увидел механика. Губы его растянулись смехом, открыли два сверкающих ряда ровных, молочно-белых зубов. Он подбежал к О'Хидди, протягивая маленькую лапку, от копоти похожую на обезьянью, и закричал приплясывая:

— Капитэн, капитэн! Гиф ми шиллинг иф ю плиз, чтоб ты скис. Гуд бай! Хав ду ю ду?[2]

О'Хидди осклабился. Русских слов, вкрапленных мальчишкой в английскую фразу, он не понял, но вспомнил таких же задорных чертенят на пристанях Нью-Орлеана и почуял теплое дыхание родного ветра.

Рука его сама полезла в карман пиджака и положила в протянутую лапку блестящий доллар. Монета молниеносно исчезла у мальчишки за щекой, он перекувырнулся, встал на руки и, похлопав босой пяткой о пятку, прокричал: «Гип-гип, ура!»

О'Хидди осклабился еще ласковее. Потрепал вставшего на ноги мальчишку по щеке, подивился его великолепным зубам хищного зверька и сказал одну из своих спасительных фраз:

---

[1] Прекрасно!

[2] Капитан, дайте мне, пожалуйста, шиллинг... Будьте здоровы! Как поживаете?

— Здрастэй, как живьош?

Мальчишки заржали, и один, сплюнув, восторженно сказал:

— Ишь ты! По-нашему знает, собачья морда!

О'Хидди хотел сказать еще что-нибудь, но объяснение в любви красивой девушке явно не подходило к обстоятельствам, и он беспомощно крякнул.

Из неудобного положения его выручил трубный голос Быкова с крыльца конторы:

— Петька!.. Санька!.. «Крыса»!.. На работу!

О'Хидди вежливо приподнял фуражку, раскланялся с мальчишками и пошел в порт.

5

Среди быковских котлоскребов славился на все Черноморье одиннадцатилетний Митька, по прозвищу «Крыса», тот самый, который выудил у О'Хидди новенький доллар и чья белозубая усмешка так понравилась механику.

Никто не знал, откуда Митька, чей он, как его фамилия. Пров Кириакович подобрал его года два назад полумертвого, пылающего в жару, осенней ночью под эстакадой и, выходив и откормив немного, пустил в дело.

Остальные мальчишки имели семьи, были детьми одесской бедноты, грузчиков и каталей, у Митьки в Одессе и на тысячи верст кругом никого не было. Всеми расспросами удалось выудить из него подробность, что у мамки была синяя юбка. Но в мире много синих юбок, и с такой приметой Митька имел мало шансов отыскать пропавшую мамку, бросившую его в порту.

Расходы Прова Кириаковича на Митьку не пошли впустую. Для конторы он оказался золотым кладом. Худощавое, тонкое тело гнулось и сворачивалось в такие клубки, что у нормального человека полопались бы кости и мускулы. А в деле Прова Кириаковича гибкость была главным качеством. Там, где пасовали другие ребята, в ход пускался Митька. Он пролезал угрем в самые узкие трубы, он заползал в такие сокровенные закоулки, в такие изгибы, куда нельзя было добраться никакими способами без разборки механизмов. Однажды он умудрился пролезть через винтовую трубу насоса-рефрижератора, которая вертелась удавьей спиралью с полными оборотами через каждые полтора метра. Этот фокус прославил его имя во всем порту, и конкуренты Быкова не раз предлагали Митьке двойную плату, чтобы переманить такое чудо. Но у Митьки, помнящего только цвет мамкиной юбки, был свой рыцарский кодекс. Он презрительно хмыкал острым носиком, за который вместе со своей нечеловеческой гибкостью и получил кличку «Крыса», и отвечал сурово и зло:

— Значит, мине перед хузяином захудче блатного сволоча стать? Он мине откормил, отпоил, а я ему дулю в нос тыкнул? Мине у его хорошо!

Конкуренты чертыхались и отваливали ни с чем. Была даже попытка ликвидировать «Крысу», для чего подговорили десяток мальчишек «накрыть Митьку пальтом», но драку вовремя заметили матросы с «Чихачева» и успели отбить окровавленного мальчика.

Так «Крыса» и остался у Быкова, храня верность своему первому хозяину, и Пров Кириакович, часто хлеставший мальчишек чем попало и почем зря за малейшие провинности, никогда не трогал Митьку. Остерегался он не из жалости, а из боязни повредить такую драгоценную диковину.

И теперь, получив заказ на срочную чистку котлов «Мэджи», заказ выгодный и хорошо оплаченный; он решил отправить на работу Митьку, зная, что он один сделает работу за десятерых. Быков выдал мальчишкам скребки, зубила и молотки и отпустил их в сопровождении Лейзера, который должен был указать стоянку парохода.

О'Хидди, придя на корабль, явился в каюту Джиббинса.

— Свинство! — сказал он, входя и вытирая лоб.— В этом году и в Одессе не прохладнее, чем в тропиках. Из меня вытекли все соки. Дайте хлебнуть хоть вашего анафемского черри.

— Валяйте! — Джиббинс наполнил стакан.— Как дело с котлами?

— Договорился! Мистер Бикоф берется сделать за двое суток.

— Олл райт! Есть новая телеграмма от хозяина. Ленсби согласны удвоить премию, если мы сократим обратную дорогу еще на двое суток. Мы разбогатеем, Дикки. Я смогу положить в банк кое-что для будущего моих ребят.

Механик залпом выпил стакан.

— Мне ни к чему. У меня ребят нет... Но я вам сочувствую, Фред. А теперь пойду влезать в купальный костюм. Иначе сварюсь, как рак.

О'Хидди ушел. Джиббинс подошел к койке. Над ней на стене висела фотография полной пышноволосой женщины с двумя малышами на руках. Капитан вздохнул, растянулся на койке и задремал.

6

О'Хидди только что кончил обливаться водой, когда дверь каюты распахнул кочегар в замызганном и промасленном комбинезоне.

— Сэр! С берега пришли чистить котлы.

— Спустите их в кочегарку. Я сейчас приду.

Он вытерся, натянул трусы, повесил полотенце и, пройдя по палубе к машинному люку, легко спустился по звенящему металлом трапу в кочегарку.

Мальчишки напялили на себя твердые брезентовые мешки без рукавов, защищавшие тело от царапин при ползании по трубам.

Лейзер Цвибель вежливо поклонился механику.

— Они сейчас начнут. Они такие проворные мальчики. Будьте спокойны.

Один из мальчишек обернулся на голос Цвибеля и даже в сумраке кочегарки ослепил фарфоровым блеском зубов. Механик узнал того, которому дал доллар.

Он подмигнул мальчишке и опять сказал:

— Здрастэй, как живьош?

— Заладила сорока про Якова,— усмехнулся Митька,— сказано, живу хорошо. Ты не дрефь, дяденька, раз взялись — вычистим. Ну, ребята, айда!

Он засунул зубило и молоток в наружный карман мешка, взял в руки скребок и еще раз улыбнулся механику. Потом вперед головой нырнул в трубу. О'Хидди проследил, как остальные котлоскребы тоже исчезли в трубах, повернулся к Цвибелю и любезно пригласил его выпить кофе. Оценив такую вежливость, Цвибель пополз за механиком по трапу наверх, высоко подымая ноги в драных носках и цепляясь за перила.

В чистенькой каюте американца он пил сладкий кофе с кексом и даже рискнул выпить рюмку ликера. После этой рюмки он сразу загрустил. Ему вспомнилась его жалкая берлога на Молдаванке, где сидит вечно голодная Рахиль с девятью ребятишками. Вспомнилось, что поблизости от берлоги есть полицейский участок, а в нем господин пристав и что господину приставу нужно каждый месяц нести десять рублей, чтобы господин пристав был благосклонен к Лейзеру. И что нужно еще нести пять рублей господину околоточному и три рубля господину городовому. И от этих мыслей Цвибелю стало так тяжко, что он, забывшись, начал, ломая слова, рассказывать механику о своих горестях. Американец слушал вежливо, но, видимо, скучал. Лейзер заметил это, сконфузился, заторопился и встал, чтобы проститься.

Но дверь каюты распахнулась, и на пороге появился тот же кочегар.

— Простите, сэр... Немедленно спуститесь вниз.

— Зачем? — с явным неудовольствием спросил О'Хидди.

— Там неприятность. Один из мальчиков завяз в трубе и не может выбраться.

— Что?... Damm![1] — выругался механик и выскочил из каюты.

В кочегарке он застал машинистов, кочегаров и быковских мальчишек. Все они тесным кружком столпились у отверстия трубы.

— В чем дело? — сердито спросил О'Хидди. — Почему толкучка? Как это случилось?

— Мальчик был уже глубоко в трубе,— степенно объяснил старший машинист,— и вдруг начал кричать. Мы сбежались, но

[1] Черт!

не понимаем, что он кричал. Теперь он плачет. Очевидно, завяз и не может продвинуться.

— Ой, что такое? — вскричал Лейзер, сползший вниз вслед за О'Хидди.— Мальчики, скажите мне, что это такое?

— Митьку в трубе затерло.

— Залез, а вылезть не может.

— Ревет.

— Вытаскивать треба,— загалдели котлоскребы на разные голоса.

Лейзер ткнулся головой в трубу и, услыхав тихое всхлипывание, взволнованно спросил:

— «Крыса»!.. И что же это такое значит? Что с тобой сделалось, чтоб тебе отсохли печенки, когда ты так срамишь мене и хозяина?

Тонкий, прерываемый плачем голос «Крысы» глухо отозвался из трубы.

— Сам понять не могу, Лейзер Абрамович... Я, ей-же-богу, не виноватый. Лез по ей, как повсегда, а тут рука подвернулась под пузо... никак выдрать не можу... Больно! — И Митька опять заплакал.

Лейзер всплеснул руками.

— Она подвернулась!.. Вы видали такие штуки? И как она могла подвернуться, когда ты таки получаешь гроши, чтоб она не подвертывалась. Вылезай, чтоб тебе не кушалось, цудрейтер![1]

В трубе зашуршало и застонало.

— Ой, не можу... Ой, кость поломается,— донесся оттуда голос.

Лейзер задергался.

— Ты хочешь меня погубить, паршивец? — закричал он в трубу.— Так ты лучше вылезай, а то я скажу Прову Кириаковичу, он тебе уши оборвет.

— Не можу!

— А?.. Он не может... Вы такое слыхали? Петька! Лазай в трубу, цапай его за ноги, а мы будем тебя вместе с ним вытягивать. Полезай, паскудник! Ой, горе мне с такими детьми!

Петька полез в трубу.

— Держи его за ноги! Крепче! Не пускай! — командовал Лейзер.— Ухватил? Ну, мальчики, тащите Петьку за ноги. Чтоб вы мне его так вытащили, как я жив.

Мальчишки с хохотом ухватились за торчащие из трубы Петькины босые грязные пятки и потащили. И вдруг из трубы вылетел раздирающий, мучительный вопль Митьки:

— Ой, мальчики, голубчики... оставьте... больно мне... рука... Ой-ой-ой!..

Котлоскребы растерянно выпустили торчащие из трубы

[1] Сумасшедший! *(еврейск.)*

Петькины ноги и не по-детски угрюмо переглянулись. Лейзер побледнел.

— Вы не беспокойтесь, мистер механик,— быстро заговорил он,— это ничего... Это совсем пустяки... Я сейчас привезу господина Быкова, он его вытащит в одну минуточку.

Он метнулся к трапу и побежал по нему с быстротой, которая сделала бы честь самому О'Хидди.

Оставшиеся молча стояли у рыдающей трубы.

— Нужно залить смазочным маслом,— предложил машинист,— она станет скользкой, и тогда мальчугана можно будет выволочь.

О'Хидди склонился над отверстием трубы. Он был огорчен, узнав, что в трубе застрял тот самый белозубый чертенок, который сразу привлек его внимание на улице. У механика засосало под ложечкой, и, чувствуя острое желание чем-нибудь помочь и досадуя на свое бессилие, он ласковым голосом позвал:

— Хелло, бэби! Здрастэй, как живьош?

Мальчики хихикнули. Из трубы вместе с плачем долетел грустный ответ:

— Плохо!.. Рука болит, чисто сломанная.

Ничего не поняв, О'Хидди еще больше огорчился и взволновался, угрюмо зашагал взад-вперед по тесному пространству кочегарки.

7

Перекладины трапа задрожали и загудели под самим Провом Кириаковичем.

Не взглянув на взволнованного О'Хидди, Быков сразу рыкнул на мальчишек, которые, притихнув, сбились у трубы.

— Это что? Баклуши бить будете? А работать кому? Лезай в трубы, собачьи выскребки, а то всех в шею потурю.

— «Крыса» завяз, Пров Кириакович,— жалобно пропищал Петька.

Рука Прова Кириаковича ощутительно рванула Петькино ухо.

— Ты еще балачки разводить, сопля? Тебя спрашивают? Завяз!.. Я ему покажу завязать... Марш в трубы! Вы мне грóши заплатите, коли в срок работу не кончу? У, сукины сыны!

Мальчишки сыпнули врозь и исчезли в трубах.

Пров Кириакович тяжелым шагом подошел к злосчастной трубе.

— Митька! — угрожающе позвал он.— Ты что ж, стервец? Пакостить вздумал? Вылезай сей минут!

— Пров Кириакович, миленький, родимый, не сердитеся. Я б сам рад, да не могу, истинный хрест. Совсем руку свернул,— услыхал он в ответ слабый, приглушенный металлом голос.

Быков налился кровью.

— Ты мне комедь не ломай, окаянный черт! Вылазь, говорю, не то всю морду размолочу!

В трубе заплакало.

— Лучше убейте, не могу больше мучиться. Ой, больно!

Пров Кириакович почесал в затылке.

— Ишь ты!.. И впрямь застрял, пащенок... Треба веревкой за ноги взять и вытягивать.

Лейзер осторожно приблизился сзади к Быкову.

— Такое несчастье, такое несчастье... Мы уже пробовали — не вытаскивается... Господин машинист говорит — нужно залить смазочным маслом, тогда таки будет скользко...

— Брысь, жидюга! — отрезал Быков.— Без тебя знаю. Скажи гличанам, чтоб несли масло.

Широкоплечий канадец-кочегар с ножовым шрамом через всю щеку принес ведро с густым маслом. Пров Кириакович сбросил люстриновый пиджак и с размаху выплеснул масло глубоко в трубу.

— Швабру! — крикнул он испуганному Лейзеру и, выхватив швабру из рук кочегара, стал пропихивать в трубу.

— Еще ведро!

Второе ведро выплеснуло в трубу скользкую зеленовато-черную жижу!

— Петька! Лезай, сволота, с канатом. Вяжи его за ноги!

Петька полез в трубу. По его грязным щекам катились капли пота и слез. Ему было страшно и жаль «Крысу». Вскоре он выбрался обратно, весь черный и липкий от масла.

— Завязал,— прохрипел он, отплевываясь.

Пров Кириакович навертел конец веревки на руку и, перебросив через плечо, потянул. Труба взвыла отчаянным воплем.

— Цыть! — взбесился Быков.— Барин нашелся. Терпи, чичас вытяну!

Он вторично налег на веревку, и кочегарку пронизало нестерпимым криком. Прежде чем Пров Кириакович успел потянуть в третий раз, О'Хидди схватил его за плечи и отшвырнул в угол кочегарки на груду шлака.

— Скажите ему, что я не позволяю мучить мальчугана! — крикнул он Лейзеру.

Быков поднялся, сине-пунцовый от ярости.

— Ты!.. Передай этому нехристю — ежели так, пущай сам копается. А не хочет — придется трубу выламывать.

Лейзер, оцепенев, перевел.

О'Хидди тряхнул головой.

— Хорошо! Я пойду доложу капитану.

Он взбежал по трапу и исчез в люке. Пров Кириакович хотел потянуть еще раз, но канадец со шрамом угрожающе поднял стиснутый кулак, и Быков остался недвижим.

В люке снова появилась голова О'Хидди.

— Мистер Цвибель, поднимайтесь и попросите с собой мистера Бикофа. Капитан желает говорить с вами.

Пров Кириакович плюнул, чертыхнулся и полез наверх.

Капитан Джиббинс стоял у люка и смотрел на Быкова холодными прищуренными глазами. Он попросил объяснить ему, что случилось, и, выслушав рассказ Лейзера, сказал неторопливо и скучающе:

— Выломать трубу я не могу позволить без согласия владельцев груза и хозяина. Я пошлю сейчас срочную телеграмму в Нью-Орлеан. А пока пробуйте так или иначе освободить мальчишку.

Быков в бешенстве полез вниз. В трубу лили еще масло, пробовали тянуть то быстрыми рывками, то медленно и осторожно, но каждое дерганье причиняло Митьке невыносимую боль, и кочегарка снова оглашалась дикими воплями. Митька рыдал и просил лучше убить его сразу.

Так тянулось до вечера. Вечером Быков, исчерпав весь запас ругани, ушел на берег. Кочегары тихо переговаривались, прислушиваясь к глухим всхлипываниям.

— Он долго не выдержит,— мрачно сказал канадец,— я говорю, что надо распиливать трубу ацетиленом.

— Джиббинс не позволит,— отозвался другой кочегар.

— Сволочь! — хрипнул канадец и ударил кулаком по трубе.

8

Утром капитан Джиббинс получил ответ на срочную телеграмму.

Он прочел его у себя в каюте, и лицо его каменело с каждой строчкой. Хозяин телеграфировал, что он не допускает никакой задержки из-за какого-то паскудного русского мальчишки и возлагает всю ответственность за последствия опоздания на Джиббинса.

«Мы всегда найдем в Америке капитана, который сумеет более преданно соблюдать интересы фирмы»,— кончалась телеграмма.

Капитан Джиббинс закрыл глаза и, как наяву, увидел жену и двоих ребят. Его лицо дернулось. Резким движением он разодрал листок телеграммы и вышел на палубу. Там перед О'Хидди стоял Быков и, размахивая руками, что-то горячо объяснял Цвибелю. Цвибель увидел капитана и впился в него жалким, оробелым взглядом.

— Мистер капитан, вы уже имеете ответ из Америки?

— Да,— сухо ответил Джиббинс,— переведите мистеру Бикофу, что я не задержусь ни на один час. Сегодня вечером топки должны быть зажжены, а завтра утром мы уйдем. Если по вине мистера Бикофа этого не случится — ему придется оплатить все убытки компании и мои.

Быков стиснул кулаки и пустил крепчайшую ругань.

— А ты ж, треклятый ублюдок! Хоть бы ты сдох в трубе, сукин сын.

Лейзер отшатнулся.

— Что такое вы говорите, Пров Кириакович, что даже совсем

страшно слушать. Разве на ребенке есть какая вина, чтоб он помер в таком нехорошем месте?

— Пошел ты к черту! — рявкнул Быков.

Капитан Джиббинс хотел уйти в каюту, но его остановил кочегар со шрамом, вылезший на палубу из машинного люка.

— Извините, сэр,— сказал канадец,— люди просят разрешения разрезать трубу. Больше ждать нельзя, мальчик едва дышит. Мы...

Бритые щеки Джиббинса слегка порозовели. Не повышая голоса, он ответил:

— Запрещаю.

— Но это убийство, сэр,— угрожающе надвинулся канадец,— мы этого не допустим. Мы разрежем трубу без вашего согласия.

— Попробуйте! — еще тише сказал Джиббинс.— Вы знаете, что такое бунт на корабле, и знаете, что по этому поводу говорит закон. Прошу вас... Я не дам двух пенсов за вашу шкуру. Понятно?

Шрам на щеке канадца налился кровью. Он обжег Джиббинса горячим взглядом, круто повернулся и скрылся в люке.

— Приглядите за людьми, О'Хидди. Вы отвечаете за машинную команду,— зло бросил механику Джиббинс и ушел в каюту.

Быков и Цвибель спустились в кочегарку. Митька уже не отвечал на оклики и только чуть слышно стонал. Колокол позвал команду к обеду. Кочегарка опустела. Быков нагнулся к трубе и долго прислушивался. Потом выпрямился и решительным движением надвинул картуз на брови.

— Идем к капитану,— приказал он Цвибелю и полез наверх.

Капитан Джиббинс жевал бифштекс и уставился на Быкова и Цвибеля спокойными, бесстрастными глазами.

— Вытащили? — спросил он, отрезав кусок сочащегося кровью мяса.

— Ничего не выходит, мистер капитан. Ой, какой страшный случай,— начал Лейзер, но Быков оборвал его. Он оперся руками на стол, и бурачное лицо его внезапно побледнело.

— Ты скажи ему, Лейзер,— заговорил он тихо, хотя никто не мог понять его, кроме Цвибеля,— скажи ему, что вытащить стервенка нельзя, а я платить протори не могу. Откудова ж у меня такие деньги? — Быков остановился, шумно вобрав в грудь воздух, и с воздухом глухо выдохнул: — Пусть затапливает топки с им вместе.

Лейзер охнул.

— Ой, Пров Кириакович! Разве можно такие шутки? Как я скажу такое американскому капитану, чтоб убить ребенка жаром? Лучше вы сами делайте, что хотите, а я не могу. От меня и детей моих бог откажется за такое дело.

Быков перегнулся через стол.

— Слушай, Лейзер,— прошипел он,— я не шутю с тобой.

Я не хочу пойти по миру из-за выскребка. Вот мое слово: если не скажешь капитану, кладу крест, расскажу господину приставу, как ты в запрошлом году ходил по Дерибасовской с красным флагом и кричал против царя.

Лейзер почувствовал холодное щекотание мурашек, пробежавших по спине, но попытался еще сопротивляться.

— Ну и что такое? — сказал он с жалкой и больной улыбкой.— Господин пристав ничего не скажет. Какой еврей тогда не ходил с красным флагом и не кричал разные глупости?

— Глупости? Про орла забыл? Думаешь, я не знаю.

Лейзер отшатнулся. Это был оглушительный удар. Значит, Быков знает об этом. О том, что Лейзер тщательно скрывал все это время и думал, что это поросло травой забвения. О том, что он, Лейзер Цвибель, вместе с разгоряченными студентами сорвал лепного орла с аптеки на Маразлиевской и в забвенном исступлении топтал ногами его черные крылья. Это было гораздо страшнее красного флага. Лейзер закрыл глаза, а Быков продолжал шипеть:

— А Шликермана помнишь?

Цвибель простонал. Он вспомнил изуродованное тело Шликермана, до смерти забитого городовыми в участке, горько и глубоко вздохнул и решился.

— Грех вам, Пров Кириакович... Ну хорошо... Я скажу капитану.

Пока он переводил капитану Джиббинсу слова Быкова, у него тряслись руки и дрожали губы. Джиббинс выслушал молча. Ни одна черточка не шелохнулась на его гладком лице. Он вынул изо рта трубку и медленно ответил:

— Скажите мистеру Бикофу, что это его дело. Мальчишка его и предприятие его. Пусть устраивается, как знает... если сумеет сохранить все в тайне от моей команды и как-нибудь обмануть людей. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Но вечером топки будут зажжены.

Быков поджал губы и вышел с Цвибелем на палубу. Бирюзовые тени вечера ложились на штилевой рейд. Стояла вечерняя тишина, разрываемая только криками чаек, дерущихся на воде из-за отбросов. Быков повернулся к Цвибелю и, наливаясь кровью, прошептал дико и грозно:

— Если одно слово кому — запомни: со света сживу.

9

В кочегарке не было никого, кроме мальчишек. Американцы еще не вернулись с обеда. Мальчишки, перешептываясь, стояли около трубы, в отверстие которой засунул голову Петька. Быков схватил Петьку за оттопыренный на спине брезент и рванул к себе. Петька вытаращил в испуге глаза, белые, как пуговицы, на черном лице.

— Ты чего тут засунулся, стервец? Опять лайдачите? Всех поубиваю к чертовой матери! — зарычал Пров Кириакович, приподняв Петьку на воздух.

— Дак мы пошабашили, Пров Кирьякич! — взвизгнул Петька.— Зараз все трубы кончили, ей-же-ей. Кабы не «Крыса», все б раньше часу сробили.

Пров Кириакович оглянулся на квадратную дыру люка вверху, над которой синело небо, подтащил Петьку к себе и забормотал:

— Чичас полезай в трубу к «Крысе». На, завяжи веревку себе на ногу и полезай. Как гличане с обеда придут, я тебя тащить оттеда буду, а ты кричи в голос. Неначе ты не Петька, а «Крыса».

— Зачем, Пров Кирьякич?

— Ты еще поспрашивай!.. А как вытащу — реви коровой, будто с радости. Ну, марш! А то в два счета к чертовой матери! А вы — молчать в домовину, бо десять шкур поспускаю! — крикнул он трем остальным.

Петька исчез в трубе, из которой свисала веревка. Отверстие люка наверху потемнело, и по перекладинам трапа загремели шаги спускающихся американцев.

Цвибель шумно вздохнул и осмелился притронуться к локтю Быкова.

— Пров Кириакович,— выдавил он, дрожа,— ужели ж вы себе хотите так загублять невинное дите?

Быков взглянул на него.

— И до чего ж вы жалостливая нация! — сказал он с презрительным недоумением.— Должно, с того вас и бьют во всех землях...— И вдруг вскипел злобой, прикрикнул: — Твой, что ли? Твое какое дело? Я его нашел — я за него и ответчик. Все одно у него никого — бездомный, никто не спросит. А спросят — скажу: сбег, уехал с гличанами. Пшел!

Лейзер отпрянул. Спустившиеся кочегары приблизились к трубе. Быков, крякнув, ухватил веревку и, натужась, потянул. Петька в трубе завыл. Веревка стала подаваться.

— Тащи!.. Тащи! — заорал Быков, и кочегары, поняв, тоже ухватились за конец. Показались Петькины ноги, зад, и, наконец, выскользнуло все тело. Растопырив руки, Петька грохнулся лицом в железный пол, усеянный острыми комьями шлака. Он сильно расшиб лоб и разревелся уже непритворно. Кочегары, загалдев, подхватили его и поволокли по трапу на палубу. Канадец платком стер кровь с расшибленного Петькина лба и хотел вытереть все лицо, покрытое жирным черным налетом смазки, но Быков вырвал мальчика из его рук и потащил к сходне. По дороге он наткнулся на вышедшего на шум О'Хидди.

— Что случилось? — спросил механик.

Канадец, торопясь, объяснил ему, что мальчика удалось вытащить.

О'Хидди подошел к Быкову. Ему захотелось сказать спасенному что-нибудь ободряющее и ласковое. Он прикоснулся ладонью к слипшимся Петькиным волосам. Петька повернул голову, открыл рот, и механик увидел черные испорченные зубы, нисколько не похожие на блестящий частокол зубов Митьки. О'Ходди отнял руку и с недоумением проследовал за Быковым, стремительно сбежавшим на пирс, таща за собой Петьку. Когда тот скрылся за углом пакгауза, механик отошел от борта и спустился в кочегарку.

Мальчики, собрав инструмент, тоже собрались уходить. О'Хидди подождал, пока они взобрались наверх, взял багор и глубоко просунул его в трубу. Багор наткнулся на мягкое препятствие, и О'Хидди услыхал чуть слышный звук, похожий на жалкое мяуканье.

Он отбросил багор и в несколько прыжков одолел трап. На палубе он умерил шаги и постучался в дверь капитанской каюты.

Джиббинс удивленно посмотрел на механика, на бледное лицо с расширенными васильковыми глазами, на капли пота на лбу.

— Что с вами, Дикки? — спросил он.

Механик задыхался.

— Фред!.. Совершено преступление. Этот негодяй Бикоф обманул нас. Он вытащил из трубы другого мальчика. Тот остался там. Он уже почти умер, он не может даже ответить...

Капитан Джиббинс вертел в руке трубку. Лицо его стало очень неподвижным и тяжелым.

— Я так и думал,— медленно произнес он.

Механик отшатнулся.

— Как? Вы знаете это?

— Не знаю, но я предполагал.— Джиббинс зажал трубку в зубах и, чиркнув спичкой о подошву, медленно разжег табак.— Но это все равно. У нас нет выхода. Мы должны уйти завтра утром, как только погрузим последний мешок жмыха. В десять вечера вы разожжете топки.

— Вы с ума сошли! А ребенок?

Капитан Джиббинс поднял голову. Глаза у него стали зеленовато-холодными, как кусочки льда.

— Выслушайте меня, приятель! Если я не исполню приказа хозяина, меня вышвырнут и занесут в черный список. Ни одна компания не возьмет меня на работу. Вы холостяк. У меня есть дети и жена. Я знаю, что совершено преступление, если смотреть на вещи с точки зрения общей морали. Но в данном случае я смотрю с точки зрения личной морали. Я человек и не хочу, чтобы моя семья подохла под забором. Мне дороги мои дети. Может быть, вы не поймете этого, но, когда я думаю о том, что будет с моими детьми, я принимаю на себя ответственность... И вы не захотите сделать моих детей такими же отщепенцами и нищими, как этот мальчишка...

— Но команда...

— Команда не узнает ничего, если вы ей не скажете. А вы не скажете потому, что не захотите смерти моим детям. Мальчика все равно уже не спасти. Еще два-три часа, и он задохнется... В десять мы засыпаем уголь в топки. Это приказ!

О'Хидди стиснул виски. Ему показалось, что голова у него раздувается, как резиновый шар, и сейчас лопнет.

— Хорошо!.. Я буду молчать. Да простит господь мне и вам, Фред!

10

«Мэджи Дальтон» вышла из одесской гавани ровно в полдень, взяв полный груз. На пирсе было пустынно, и только у пакгауза жалась скорченная фигура в длинном потертом сюртуке. Лейзер Цвибель пришел проводить пароход, потому что у него было девять голодных детей и жалостливое к детям, никому не нужное сердце. Когда «Мэджи» свернула за выступ мола, он ушел с пирса, унося на согбенной спине никому не видимый страшный груз.

«Мэджи» благополучно прошла Босфор и Гибралтар. Машины работали хорошо, взятый в Одессе уголь был отличного качества, люди работали превосходно, и только старший механик О'Хидди с утра напивался до одурения и лежал у себя в каюте опухший и страшный.

За Гибралтаром «Мэджи» вступила в Атлантику, на путь, проложенный пять веков назад упрямым генуэзцем, и в первую же ночь механик О'Хидди на глазах вахтенных матросов прыгнул со спардека за борт. Погода была свежая, ветер гнал тяжелую волну, и шлюпки спустить было рискованно. Капитан Джиббинс отметил этот печальный случай короткой записью в вахтенном журнале.

Одиннадцать дней «Мэджи» резала океанскую волну, а на двенадцатый встала у родного причала в гавани Нью-Орлеана. Хозяин вместе с главой фирмы Ленсби, сухим джентльменом в белом цилиндре по летнему времени, взошел на палубу поблагодарить капитана Джиббинса за удачный рейс и образцовую службу.

— Мы даем вам, кроме премии, еще специальную награду, и мистер Ленсби, со своей стороны, тоже нашел нужным премировать вас за усердие... Кстати, как вы развязались с этой заминкой в Одессе?

Капитан Джиббинс поклонился.

— Благодарю вас. Это пустяк. Не стоит и вспоминать,— ответил Джиббинс.

На нем, как всегда, была синяя фуражка с галунами и в зубах капитанская трубка с изгрызенным мундштуком. Лицо капитана Джиббинса было гладким и спокойным.

Ночью, когда отпущенная команда съехала на берег и на пароходе остался лишь один вахтенный, капитан Джиббинс спустился в кочегарку. Задраив люк на все барашки, он взял длинную кочергу и запустил ее в отверстие трубы. Он долго ковырял ею в глубине трубы. На железный решетчатый пол выпало несколько обгорелых костей, потом с гулким и пустым стуком вывалился кругляшок маленького черепа. Запущенная еще раз кочерга выволокла что-то звонко упавшее на пол. Джиббинс нагнулся и поднял небольшую железную коробочку, в каких упаковываются дешевые леденцы. Коробка была покрыта темным нагаром. Капитан вынул нож и, подсунув под крышку, открыл коробку. На дне ее лежало несколько медных пуговиц и черный от огня доллар. Джиббинс захлопнул коробку и сунул ее в карман. Потом опустился на колени, разостлал платок и собрал в него кости и череп. Выйдя на палубу, он подошел к борту и бросил связанный узлом платок в черную, чуть колышущуюся воду.

В каюте он подошел к столу, взял бутылку виски, налил полный стакан и поднес ко рту, но не выпил. Постоял минуту, провел рукой по лицу, как будто стирая дрожь мускула под скулой, и, подойдя к открытому иллюминатору, выплеснул виски за борт.

Утром, съехав на берег, капитан Джиббинс зашел к знакомому ювелиру и попросил впаять темный обожженный доллар в крышку своего серебряного портсигара.

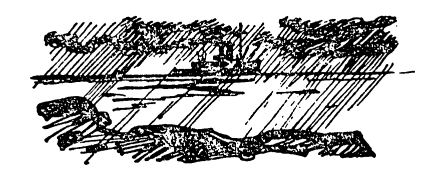
— Откуда у вас эта штука, Джиббинс? — спросил ювелир, вращая доллар в пухлых пальцах.

Капитан Джиббинс нахмурился.

— Мне не хочется об этом рассказывать. Неприятная история. Но я хочу сохранить эту монету на память.

Он вежливо простился с ювелиром и вышел на улицу. Он шел домой, радуясь тому, что сейчас увидит жену и детей и осчастливит семью известием о премии, полученной за срочный фрахт. Он был спокоен и уверен в завтрашнем дне и твердо шагал среди шума и грохота улицы мимо домов, за зеркальными стеклами которых, прикрытыми до половины зелеными шелковыми занавесками, закипала сухая, щелкающая костяшками счетов, размеренная работа человеческой жадности.

1927





ЛОТЕРЕЯ МЫСА АДЛЕР

1

Скошенные бимсы потолка наклонной дугой бежали справа налево. Скошенный почерк на синеватом конверте, лежавшем между измятыми игральными картами на столе, бежал слева направо в нижний угол конверта.

Пламя масляной лампочки вытягивалось кверху коптящим кинжальным языком. Под желтой настилкой потолка копоть расплывалась плоским облаком, курчавым по краям. Была похожа на крону пинии или на дым Везувия, каким изображали его живописцы на тщательных литографиях дорогих английских кипсеков.

За гнутым дубом обшивки тяжелая невидная вода ворчливо посапывала, натирая борты. В каюте пахло медью, табаком и каютой.

На бортовой койке спал зверь четвероног. Он слагался из двух офицерских тел, укрытых одной изжеванной шинелью. Шинель поглощала головы и туловища, ноги расползлись и шевелились во сне, как щупальца. Красный лоскут шинельного воротника был как высунутый язык зверя четвероногa.

Зверь нежно булькал носом во сне. Иногда бульканье переходило в мелодичный свист болотного куличка.

Дошедшая издалека, может быть от ворот Босфора, пухлая, пологая волна поддала в днище шлюпа шалым всплеском. Кин-

жальный клинок пламени заколебался, выгнулся, копоть погустела.

Взметнувшийся свет зацепил первую букву на конверте и струйкой пробежал до последней, проявляя слова: «Город Кутаис. В кавказскую действующую армию, в десятый черноморский батальон, его благородию прапорщику Александру Александровичу Бестужеву в собственные руки».

Дремавший за столом, опираясь на локоть, поднял голову, зевнул, раскинул руки в стороны, потянулся. Полотняный сюртук распахнулся на груди, как шторки на окне, открыв небесную синеву канаусовой рубашки.

Человек опустил руки и искоса поглядел на конверт. Взял его и повертел длинными загорелыми пальцами. Поморщился...

Фамилия Бестужева показалась ему чужой. Она неприятно напоминала о каком-то человеке, которого он забыл или хотел забыть. Эта фамилия была для него частоколом тюремной решетки, ржавым запором на двери каземата.

Он чувствовал себя чуждым ей. Он любил другое имя, которое было для него широким выходом в мир навстречу острому земному ветру. Он был не Бестужев. Он был Марлинский.

Загорелые пальцы раздраженно смяли конверт и засунули письмо в карман сюртука. Губы скомкали брезгливую судорогу, как пальцы письмо.

Он знал письмо наизусть. Письмо было от Полевого. Полевой писал много и вяло. О Петербурге, о Грече, о мертвом Пушкине, об альманахах и своих долгах. Он просил прислать какую-нибудь повесть «в прежнем роде». О самом главном в письме было мало. Несколько строк. Они жгли, как йод, вливаемый в открытую рану.

«Надежды мало, Александр Христофорович не решается вновь обеспокоить его величество, поскольку сентенция на просьбу Воронцова была не в меру сурова. Ее не решились даже передать, чтобы не обидеть чрезмерно Михайло Семеновича. Государь написал : «Мнение графа Воронцова совершенно неосновательно. Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью,— он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы. Перевесть его можно, но в другой батальон». Из этого можешь понять, каковы виды. Призови терпение...»

Сентенция выдавала плохой литературный стиль повелителя. «Служить без вреда для службы». В теории словесности это могло бы быть примером неуклюжей тавтологии.

Бестужев усмехнулся. Все же он имел некоторое преимущество перед человеком, управлявшим его судьбой. Он лучше знал русский язык. Но это было невесомое преимущество.

Он придвинул с середины стола обтянутую войлоком солдатскую манерку и налил водки в оловянный стаканчик. Старательно отрезав горбушку от ржаной краюхи, он круто посолил ее крупными ржавыми кристаллами.

Черные, простегнутые седой дратвой усы коснулись стаканчика.

Водка, щекотнув, обожгла горло. На жилистой шее, дрогнув от глотка, выпятился кадык.

Бестужев прожевал хлеб, набил трубку. Приподнял мутный стеклянный пузырь, прикрывавший огонь масленки. Нагнув в трубку боком, долго раскуривал.

Выпущенный дым затяжки дрогнул и застыл в сыром тумане каюты круглым плотным клубом, похожим на дым пушечного выстрела.

Бестужев, сведя брови, секунду пристально смотрел на него. На щеке под глазом мелким тиком задергался нерв. Коротким размахом руки он разбил пополам дымовой шар. Волокнистые обрывки ринулись в стороны, испуганно оседая книзу.

Вишневый черенок трубки заскрипел в стиснутых зубах.

Этот разбитый клуб дыма был мучительно похож на тот... Он не хотел, он страшился назвать его. Но он ощущал его грозную плотность.

Прошлое восстанавливалось перед ним в гуле и падении времени.

Мутные снежные сумерки томпакового цвета. Кондратий ли Рылеев вот этот мертвец со слипшимися бесцветными губами, прижавшийся к решетке памятника? И неужели пламенный Брут, непоколебимый цареубийца Каховский — этот жалко нахохлившийся марабу в потрепанном фраке, дико мечущийся сбоку каре?

Как забыть теплящийся страданием взгляд Миши Пущина, стоящего в рядах своих матросов и сжимающего солдатское ружье?

И покорно осуждающие, осветленные гибелью глаза сотен, сомкнутых в каре?

А напротив, под похоронными свечами адмиралтейских колонн (желтые стены были в тумане, как тусклая парча на гробе), уже суетились у орудий черные механические солдатики, на мгновение там метнулась чья-то тень на коне, взвевая белый султан над шляпой.

Подумалось: «Сухозанет выслуживается...» — и грубое слово. Розовая молния накрыла площадь. Голова внезапно нырнула в плечи под нудным визгом высоко перенесенной картечи. Дым упруго прыгнул распухшим белым мячом на середину площади и застыл. Его неподвижность была страшна.

Оглянувшись на вопящие ряды, Бестужев поднял ненужную шпагу. Он хотел крикнуть команду к атаке, но голос был слизан громом второго залпа. Толчок сбил назад его треуголку. Он машинально снял ее. Под панашем рядом с кокардой круглилась картечная дырочка.

Вокруг суматошно метались люди. Неподалеку, склонясь на локоть, сидел матрос гвардейского экипажа. Стриженая голова свисала к снегу. На желтую ледяную клеенку истоптанного наста толчками, как из узкого бутылочного горлышка, капала изо рта и ширилась в лужицу кровь.

Увидев это пятно на снегу, Бестужев затрясся, выронил шпагу

и, закрывшись воротником шинели, шатаясь, побежал вслед за толпой с площади.

После этого в памяти был шумный черный провал. Всю ночь в блудливом кружении мелькали мимо улицы, дома, сторожкие фантомы людей. Дважды он приходил в себя, видя растекающееся зарево костров у Исаакия. Его тянуло туда, но всякий раз, как показывались орозовленные огнями колонны, будто невидимая настойчивая рука отбрасывала его назад.

Утром открылись церкви, и он переходил из одной в другую, стараясь согреться. Но молиться не мог. У богородиц на алтарных дверях, у святых, у людей, встревоженно слушавших литургию, были глаза, полные безмолвного упрека. Глаза сотен, стоявших в каре.

Его сознание мутилось от стыда и голода.

Незаметно он очутился перед дворцом. Подчиненная канону, система камня проламывала зыбкие облака тумана. Сбоку процокали подковы. Пронеслись сани. В санях, рядом с хвостатой каской жандарма, он увидел понуро сгорбленные плечи.

Он чувствовал, что сердце его покидает тело и стремится догнать сани.

Он ринулся за ними, задыхаясь, перебежал площадь. Подъезд дворца был распахнут, как дверь ночного трактира. Беспрерывно входили и выходили люди.

Никем не останавливаемый, он дошел до караульни.

Полковник в зеленом, как бессонница, мундире, небритый и смятый, лизал языком края конверта. Серые солдаты жались в углах.

Полковник вскинул на него растекшиеся, непонимающие зрачки.

— Что вам угодно, капитан?

Он молчал. Каменно опрокидывалось время. Он не знал — минуты или годы текут мимо.

— Что вам угодно? — повторил полковник, привстав в испуге.

— Я Бестужев,— сказал он наконец неестественно хрипло,— узнав, что меня ищут, я явился сам.

Полковник отступил, опрокинув стул. Ражий конно-егерский унтер в оспинах, с волчьей челюстью, дернулся, хватая за плечи.

Словно проснувшись, Бестужев рванулся, отбрасывая короткопалые звериные руки, ухватившие за воротник. Но сквозь толпу обступивших солдат уже проталкивался Перовский.

— Не троньте. Он сам пришел... Пойдемте, Александр Александрович!

Лестницы, коридоры, лестницы. Впереди спина Перовского в новеньком обтянутом мундире. Над шитым флигель-адъютантским воротником завитая белокурая голова. У тяжелой двери двое гайдуков. По знаку Перовского они бесшумно распахнули половинки.

Между окнами, всасывавшими с улицы декабрьскую слизь,

над столом склонились прямые плечи. Лицо было в тени, но по плечам, по тяжелой посадке головы Бестужев узнал Николая.

Гордое волнение всколыхнуло его. Он почувствовал себя как актер на сцене, на которую смотрит Россия.

Вольно, почти дерзко, он подошел к столу, театрально, не по уставу поклонился и, слушая свой голос, преувеличенно громко в деревянной тишине подвального убежища самодержца продекламировал:

— Виновный Александр Бестужев приносит преступную голову на суд вашего величества.

Николай молчал. Плечи оставались недвижны. Потом они колыхнулись, и недоношенный день слабым блеском лизнул эполеты. Через стол протянулся обтянутый рукав.

— Радуюсь, что вашим благородством вы даете мне право уменьшить вашу вину.

Голос был сдавленный и тусклый, как из могилы. Влажная, холодная еще от вчерашнего страха ладонь коснулась пылающей руки. Николай повернулся к Перовскому:

— В крепость! Содержать хорошо.

Как он мог поверить этому бригадиру с лицом эллина, страдающего флюсом? Как он мог пожать руку, затянувшую потом конопляную петлю на девической шее Кондратия? Но он думал тогда, что все происшедшее только ссора между братьями, что этот старший, получивший в наследство Россию, поймет младших и создаст крепкую, любовную семью.

Бестужев яростно засосал мундштук. Но трубка погасла. На языке расплылась только едкая горечь холодного никотина. Он швырнул трубку на стол и по скрипящему трапу поднялся на палубу.

Между кормой и баком внутренность шлюпа была раскрыта, как вспоротое брюхо большой рыбы. На дне, между шпангоутами, сидя и лежа, плечо к плечу, дремали солдаты. В темном свете ущербной луны они казались молчаливой серой отарой овец, везомых на продажу. Их дыхание билось, как далекий ровный прибой.

Он отвернулся с отвращением и болью. Он чувствовал их. Ведь семь лет он был овцой этого проданного стада, семь лет бок о бок, локоть о локоть с ними он выбивал штыком свое офицерство, кровавыми усилиями выкарабкиваясь на поверхность жизни.

И только они до конца понимали ужас его участи. Только они стали верной опорой, когда отвернулись бывшие друзья. Многие из тех, кто прежде искал в адьютанте принца вюртембергского, в течение этих семи лет при встречах опускали глаза и прятали руки, чтобы избежать рукопожатия опального солдата. Захолустные бурбоны считали за удовольствие мелкими придирками напомнить ему о каторжном бесправии.

Но солдаты были крестными братьями в несчастье. Он

вспомнил, с какой простой жалостью они отдавали ему свои последние куски, как они оберегали его достоинство и его покой, как в палатке, после дневного перехода, затихали шутки, смех и побранки, когда, примостившись у огарка, он записывал в книжку свои заметки.

«Алексан Алексаныч пишет, братцы».

По этому слову умолкало все. И когда наконец он получил приказ о своем производстве, разве не они первые пришли поздравить его и принести в дар символ его жалкого воскресения — прапорщичьи эполеты!

Они помогали ему, как добрая няня помогает ребенку, встающему впервые на ноги. С их помощью он вырвался из страшного круга, чтобы от безыменной вещи перейти в положение лица, имеющего права, от совершенной безнадежности к возможности счастья, от унижения к неприкосновенности самой чести.

Да?.. Он прислонился к борту и засмеялся.

Права? У него не было даже права на отставку. Что из того, что его второе имя, ставшее ему родным, знала вся Россия? Что тысячи людей дышали и жили его мыслями и проливали слезы над его страницами? У него не было даже права на отставку, права на склоне лет отдать последние силы перу с тем же суровым постоянством, с каким он отдавал силы молодости боевому оружию.

Что из этого? «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью,— он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы».

Право на отставку давала только рана. А он был несчастлив. Пули несправедливо избегали его, как бывшие друзья — опального солдата.

У него оставалось одно неоспоримое право — на смерть. Но жизнь еще бушевала в нем. Она шумела в крови, как майская гроза в кронах весеннего сада. Он хотел жизни, он был жаден к ней, он мог еще начать снова.

Пусть здоровье вытекало по каплям, как сок из надрубленной березы, в зное кавказских болот, в душистой сырости зарослей.

Если умирать — умирать нужно было раньше. Он мог умереть так, что об этой смерти пела бы вся Россия одной широкой, вольной песней.

Он снова вспомнил встречу во дворце. Она могла бы быть иной.

Когда по доставке в крепость его обыскивали в комендантской камере, хихикающий Сукин вытащил из-за борта его мундира маленький английский пистолет, заряженный на оба ствола.

Он сам удивился, увидев этот пистолет. Он забыл о нем. Это было во дворе Московского полка. Взбесившийся якобинец из недорослей, Щепин-Ростовский, носился по плацу, увешанный оружием. Сбоку у него висела шпага, а в правой руке кривая сабля, забрызганная кровью Фредерикса и Шеншина, в левой

кинжал и пистолет. Он был смешон и страшен, как помешавшийся мясник.

Бестужев отнял у него пистолет и сунул за пазуху.

Нужно было вспомнить о нем раньше, когда через стол протянулась испуганная потная рука. Нужно было выпустить оба заряда в лицо, призрачно плававшее в желтой слизи декабря.

Но об этом было поздно жалеть. Оставалась последняя надежда. О ней он думал, когда писал месяц назад Воронцову: «Прошу, ваше сиятельство, ходатайствовать о переводе из гарнизона, где я осужден тлеть без случаев к отличиям, в какой-либо полк, в рядах которого можно положить голову с честью».

Просьба была исполнена. Старый, добросердечный, рассеянный Розен согласился взять опального в свой полк, отправлявшийся на высадку к мысу Адлер.

Мыс Адлер был впереди по носу шлюпа. Оттуда текла, вздрагивая сельдяной чешуей, трепетная лунная дорожка, и на ней, у самого горизонта, вытянулся узкий темный язычок выступающего берега.

На этом клочке земли для него была приготовлена наутро беспроигрышная лотерея. Выигрышем была отставка. Он выигрывал ее равно и жизнью и смертью.

Он оглянулся за корму. Там струилась такая же живая, золотая тропинка. Она была прямым путем к родине. Она струилась к Крыму, к киммерийским степям. Оттуда, через Дикое поле, древние кочевые тракты сбегались к Москве.

Сорок судов высадочного отряда черными дельфинами ныряли в лунном омуте. Каждое несло груз надежд и отчаяния. На каждом были такие же игроки, как он. Они так же стояли, убаюкиваемые колыбельной дрожью палубы, и смотрели на мыс.

Внезапно он прислушался. Чуть слышный шорох, казалось от вытянутых вантин, зашептал ему в уши. Он старался понять нестройные звуки и вдруг почувствовал, что голос идет изнутри его. Он рождался медленно, как прорастающее в земле зерно, и пускал ростки. И когда он стал явным, Бестужев испуганно оглянулся, будто кто-нибудь мог подслушать его, сгорбил плечи и, шатаясь, спустился в теплую сырость каюты.

2

Над узкой полосой галечного побережья, по увалам пригорков дыбилась чащоба кустарников. Она курилась ползучими голубоватыми дымами. Было похоже, что кустарники горят, ежесекундно поджигаемые в разных местах.

Жестяной треск стрельбы путался в кустарнике, как треск ломаемых веток.

Суда высадочного отряда, одно за другим, нехотя подползали к береговой черте, брызгая огнями и громом морских фальконетов, поддерживавших высадку.

Навстречу судам, с берега, свистя, неслись невидимые резвые птички. Они прошивали душный с утра воздух, иногда сослепу ударяясь в доски бортов. Тогда в борту оставалась дырка, и мертвая птичка обессиленно валилась на днище раздавленным свинцовым комком.

Когда нос судна со скрипучим шуршанием давил гальку, солдаты с сапогами за спиной, в белых рубахах, как по команде, крестились и, креня посудину, наваливаясь на борт, гурьбой сыпались в воду.

По грудь в ней, бережно подымая ружья и пороховницы, взбивая пену, скользя по неверным камням и хватаясь друг за друга, они торопились к берегу табуном искупавшихся коней. Ругань была похожа на ржанье.

Некоторые не успевали добраться до суши и тяжело валились в мутную теплую пенную зелень. Полотно рубах, вздутое воздухом, держало их на поверхности. Из-под воды вылетали хрипящие пузыри, лопаясь в расплывающихся кровяных нитях.

Лекарские ополченцы вытаскивали их и, грубо хватая за ноги и плечи, тащили к груде рыжих, ржавых камней, под прикрытием которой лекарь раскинул перевязочный пункт. Одутловатый, в сюртуке с полупогончиками, но без штанов, с трубкой в зубах, он спокойно ковырялся в ранах. Розовое солнце обливало глазурью его волосатые ляжки и свислый жирный зад.

Успевшие выбраться на берег быстро валились за камни, за бурелом и беспорядочно палили по кустарникам. Стреляли без толку, наугад. Черкесов не было видно, но они били сверху на выбор. Как всегда, оружие завоевателей было хуже оружия завоевываемых, а империя твердо верила в суворовскую поговорку о пуле-дуре и штыке-молодце.

Вода была неприятно теплая и упругая. Ее теплота проникала сквозь голенища сапог и полотно брюк, словно ноги были погружены в чуть остывший чай.

Бестужев зябко поежился. Его мутило. Ноги дрожали.

Он знал, что это предвестие прихода малярии, давней малярии, захваченной еще в дебрях Геленджика. Как привязчивая жена, она тайком, неслышно кралась за ним повсюду, время от времени обрушиваясь на него страстными изнурительными припадками.

Влажная ночь в море раздразнила ее, разбудила ее скрытую ярость.

Он знал, что эти первые вспышки вскоре разразятся буйным истерическим пароксизмом, после которого он надолго утратит вкус к жизни.

Вокруг него с гулом и гоготом валились в воду солдаты его роты. Семнадцатилетний прапорщик, проигравшийся ночью в доску и обиженно спавший на нарах, смеясь заносил ногу через борт и вдруг, скользнув рукой по доскам, свалился в воду вниз головой.

Солдаты захохотали. Но один, старый, заросший на затылке

серой, в колечках, овечьей шерстью, нахмурясь, прикрикнул на смеющихся и подхватил упавшего. Щеки прапорщика позеленели, глаза прикрылись пленкой век.

Старик куснул ус и среди внезапного молчания, взвалив тело на плечи, пошатываясь, понес к берегу.

Бестужев, вяло передвигая ногами, побрел за ним. Он вступил на береговую гальку. Вода стекала с сапог перламутровыми живыми капельками.

Рота бегом рассыпалась по берегу. Под охраной передовой цепи солдаты торопливо выжимали воду из портков и обувались.

Бестужев лег. Солнце жгло сквозь фуражку. Над берегом носились оранжевые бабочки. Земля казалась рыжей и звонкой, как червонец.

Он вспомнил такую же сгоревшую землю в Тифлисе, на горе Святого Давида. Он поднимался туда к могиле Александра Грибоедова. Памятник был скучен и тих, Грибоедов молчал. Внизу гортанно перекликался Тифлис.

Бестужев погладил ладонью горячий угол мрамора. Он вспомнил, что под мрамором лежит один из двух, уже мертвых, Александров. Они умерли — Александр Пушкин и Александр Грибоедов. Оставалось в живых двое — Александр Марлинский и Александр Одоевский. Надолго ли?

Он присел на ступеньку и в жестоком одиночестве заплакал о двоих умерших и о двоих живых. Капли слез сгорали на раскаленной земле.

— Господин Бестужев, что вы? Заснули?

Голос брюзги и хрипуна ротного командира ударил сзади.

— Застрельщиков вперед! — скрипел ротный, вытирая шею платком.

Бестужев вскочил. С мокрых штанов посыпались прилипшие камешки.

— Застрельщики, выходи! — крикнул он.

Они поднялись. Сухие, костистые, прожженные солнцем, промороженные дагестанскими буранами, выпитые лихорадками, сивоусые. Прокашливались и подтягивали пояса.

— В первой цепи татарва народу перебила — не сосчитать,— хрипел командир,— выводите застрельщиков в цепь на поддержку. Генерал сердится. Весь отряд на берегу, а до сих пор дальше кустов не продвинулись.

Бестужев скомандовал. Застрельщики, скользя по сыпкому щебню, вразвалку побежали наверх к кустам по пологому откосу. Там они влились в интервалы поредевшей цепи и залегли. Их ружья гулко забухали, щупая мушками противолежащие шагах в семидесяти кусты, разыскивая дулами по непонятным и не видным никому, кроме них, признакам среди маслянистого блеска листвы человечьи плечи, груди, головы.

Застрельщики стреляли отлично. У них был опыт и злость,

накопленные двадцатипятилетним сроком службы, в течение которого они волокли сквозь тысячи верст прикрепленное к ногам позолоченное ядро империи. Эта злость направляла их пули.

Они стреляли недолго. Те же невидимые другим приметы указали им, что черкесы оставляют свои берлоги в цепкой гуще держидерева. И один, в смятой рыжей пластунке, надвинутой на брови, обернув напружившееся от зноя и лежки лицо, крикнул Бестужеву:

— Ваше благородие! Може, штычком?

Мелкая дрожь подъема прошла по телу Бестужева. Он вскочил и, махнув рукой, прыгнул вперед, закричав:

— Ребята, за мной!

Цепь, белея рубахами в кустах, побежала за ним. Вытянутые штыки рвали листву. За листвой была пустота. Лишь под одним кустом валялась, как ком навоза, карачаевская папаха и подле нее изумрудные мухи, звеня, липли на блестящем сгустке крови.

Тело черкесы унесли.

Размах атаки задохся в пустой чащобе. Солдаты снова повалились на те места, где только что лежали враги. За кустами пролегала ровная поляна, накрытая ядовито-зеленым травяным плато. За ней уже вставал подгорный лес. По опушке громоздились рядами сваленные древесные стволы с остро торчащими ветками. Они были похожи на покинутые срубы невиданных рогатых изб. Из щелей между стволами, как прежде из кустов, вылетали тающие дымы. Свистящие незримые птички подрезали клювами ветки кустарников.

Бестужев опять лег ничком. Земля у самого лица пахла земляникой и солью.

Он втягивал ноздрями этот колющий запах, как курильщик дым заморского табака. Травинка защекотала ему шею. Он сорвал ее и закусил беловатый, сочный к корневищу стебель. На языке осталась свежесть и горечь сока.

Свежесть и горечь. Откуда был знаком этот вкус?

Пуля взвизгнула над самой спиной, срезав ветку и разбрызгав на сюртук клочья разнесенных листьев. Он бережно собрал обрывки и помял их в пальцах. Они подтолкнули начавшее прорезаться воспоминание.

Был день двадцать третьего февраля. В Петербурге буйствовала пурга. У Зимнего леденели преображенские часовые в меховых киверах, отбрасывая деревянными руками ружья на караул, по-ефрейторски. Больной флюсом самодержавный эллин выходил с комендантского подъезда, где его ждали легкие санки на одного. Вороной, меча стынущую на лету пену, проносил его по проспектам. Народ снимал шапки. Самодержавный эллин улыбался,— он любил быть обожаемым.

В ресторациях с утра горели свечи. Ментики, доломаны и кирасы вспыхивали блеском, синью и багрецом. А на Голодае снег зализывал белыми языками сугробов гладкую могилу пяти дру-

зей. И, может быть, Пушкин, еще живой и веселый тогда, склонясь над столом и просматривая альманахи, скользил глазами по строкам «кавказских писем».

Но в Дербенте была короткая, как вспышка затравки, весна. Небо зеленело теплыми хризолитами, и за городской стеной расцветали первые полевые цветы.

К вечеру в его солдатскую каморку пришла Оля Нестерцева. Простая и тихая, как тихие березы в парке Марли. Она любила его покорной, теплой, почти материнской крестьянской любовью. Идя к нему, она нарвала у ограды мусульманского кладбища пучок подснежников.

Ясно улыбаясь, она поднесла к его лицу цветы и свои мягкие губы.

В объятии подснежники смялись. Разорванные листья и лепестки рассыпались по подушке. Оля лежала, закинув полные, с ямками у локтей, руки за голову, и бездумно смотрела, как он приглаживал перед зеркалом растрепавшиеся волосы.

Повернулась на бок, заметила разбросанные подснежники. Сказала:

— Цветочки, Сашенька, жалко.

...Приподнялась, опираясь рукой на подушку, и вдруг под подушкой глухо громотнуло. Пополз пахнущий селитрой и жженым пером дым. Глаза Оли, потерянные, пустые, остановились, подломилась рука.

Он бросился к ней, подхватил, поднял. На спине между лопатками, по беленькому в сиреневых крапках ситцу, расплывалось жирно намокающее пятно.

Из-под подушки торчало дуло забытого там пистолета.

Оля умерла через двое суток, и комендант Шнитников не позволил ему выйти из-под ареста проводить ее.

Память сохранила от этой любви прохладную свежесть. Он не успел допить ее до горечи.

Бестужев отбросил разжеванную травинку и сел, прислушиваясь. Как и вчера ночью в вантинах шлюпа, в листве кустарников, дрогнувшей от внезапного ветерка, ему послышался шепчущий голос.

Он был искусителен и необорим. Бестужев почувствовал, как у него шевелятся волосы. Самые потаенные мысли его оживали в окружающей природе, звенели ему в уши, волнуя обостренный лихорадкой слух.

Он раздвинул перед собой листву и остановившимся взглядом посмотрел на рогатые завалы черкесов. Они курились непрерывной стрельбой.

Жаркий туман заволакивал землю. Все было противно и скучно. Сколько раз он лежал так, в томительном бездействии, под свистом пуль, он не мог бы уже сосчитать. Жизнь была походом и боем. Он дрался, как дрессированный для арены огромного и нелепого цирка зверь.

Против кого подымалась его рука и оружие? Разве он чувствовал какую-нибудь злобу на этих людей, лежащих за бревнами завалов и защищающих свою землю и свою свободу?

Свобода! Это слово береглось в его сердце, как отсвет великолепной зари, один раз осиявшей его искупительным блеском на Сенатской площади.

Заря погасла в пороховом дурмане и смраде каземата, но память о ней жила.

Люди за завалами дрались за свою свободу. А он дрался против их свободы, но он любил их, он понимал их чувства, их простую, дикую, не связанную цепями жизнь. Разве он не мыслил их думами? Разве он не написал «Аммалат-Бека», который принес ему славу и первые радости в опальной солдатской судьбе? И разве в непокорном, неприручимом горце он не чувствовал себя, разве на потеху недальновидным зоилам, в ущерб правде искусства, он не заставлял дикого аварца говорить своими словами и думать своими мыслями, потому что для него это было единственной отдушиной, единственной возможностью пробить брешь для своего, заветного, таимого, прорваться к читателю-другу сквозь толщу чугунного фельдфебельского николаевского бреда?

Там, за завалами, были простые и нелживые сердца. Среди них возможна была раскрепощенная жизнь. Выиграть такую жизнь стоило.

Нужно было осмелиться перешагнуть легкую грань от прошлого к будущему, порвать ржавую цепь, связывавшую его с империей.

Между ее каторжным пленом и царством свободы было только семьдесят шагов по ядовито-зеленой поляне. Ее нужно было перейти прямо и твердо.

Он говорил по-татарски не хуже любого муллы. У него были кунаки по ту сторону поляны. Он мог рассчитывать на верное гостеприимство.

И кто знает — с еще не растраченными силами, с памятью о том дне на площади еще можно начать сначала и повторить удар отсюда, под зеленым значком Ислама.

«Искандер-бек! Муршид... Вождь газавата...»

Он задохнулся от этой мысли и, с трудом ворочая сухим языком, облизнул растрескавшиеся губы. Лихорадка волнами катилась в его крови, и кровь гудела громко и жадно:

— Иди... иди... иди...

3

— Ваше благородие... а ваше благородие... генерал идет.

Бестужев с трудом воспринял наконец настойчивые оклики солдата, лежавшего вблизи, и оглянулся. С наморья, от приземистого скрюченного дуба, под которым устроился командовавший боем Розен, поднимались по тропинке двое офицеров.

Всмотревшись, Бестужев узнал начальника штаба отряда Вольховского и поручика Мищенко.

Вольховский быстро семенил ногами, подымаясь в гору. Маленькое желтое личико генерала было красно от жары и гнева. Бестужев встал ему навстречу.

— Где ротный, Александр Александрович? Что же это такое? Сплошной срам!

— Ротмистр Альбрандт на том фланге цепи,— официально ответил Бестужев, кривя губы.

Вольховский засеменил в указанном направлении.

Бестужев и Мищенко последовали за ним.

— Что творится? — спросил Бестужев у поручика.

Тот махнул рукой:

— Ерунда. Сумятица. Черт знает что.

Ротмистр Альбрандт уютно расположился на шинели и дожевывал куриную ногу. Завидев генерала, он, смешно давясь, прожевал мясо и вытянулся на стойке с преданным видом.

— Стыд, ротмистр, стыд! — закричал Вольховский, не замечая преданности ротмистра.— Стыд! Старые кавказцы засели, как барсуки в норах, и ни взад ни вперед. Нужно двигаться. Барон приказал вызвать охотников выбивать черкесню из завалов.

Ротмистр Альбрандт неприметно вздохнул в усы, на которых налипли остатки пищи. Он попал в грузинский полк недавно из армейской кавалерии.

В уездном захолустье не шли чины, не хватало жалованья сводить концы с концами и кормить семью. Кавказ манил сверкающими завитками золотого руна, и ротмистр стал аргонавтом, сменив доломан на плебейский сюртук линейца.

Но золотое руно было неуловимо, как мираж. Оно пряталось в болотах и теснинах, его нужно было доставать кровью.

Ротмистр знал, что ему придется идти с охотниками. Вздох завяз в его усах. Выпрямив грудь, он обернулся к солдатам.

— Братцы! Мы нехристей били везде и всюду. Не посрамим нашего оружия во славу батюшки царя,— сказал он стыдливо-казенным голосом и потупился.

Солдаты переглянулись. Согревающий огонек перемигнулся в зрачках от одного к другому. И равнодушно-спокойно отозвался кто-то невидимый в листве:

— Ну что же. Нужно так нужно! Кто еще, ребятушки?

По одному, по двое подходили из-за кустов охотники.

Тайный зов толкнул Бестужева вперед.

— Разрешите и мне, ваше превосходительство,— сказал он, упираясь взглядом в Вольховского. Генерал скроил гримасу удивления.

— Вы, Александр Александрович? К чему вам? Отличиться или умереть всегда успеете. Чего же вы лезете на верную смерть? Ваша жизнь дорога для России. Ваш долг — беречь ее.

Наигранное великодушие Вольховского и легкая улыбка, дер-

нувшая губы Мищенко, разбудили, подняли все отстоявшееся годами бешенство, накопленную мелочь обид и унижений.

Желтое личико Вольховского заколыхалось в раскаленном воздухе, то распухая тыквой, то сморщиваясь в кулачок. Но, подавив накипающую мутную ярость, Бестужев ответил как мог спокойно:

— Нет, Владимир Дмитриевич. Все равно. Найдутся люди, что и порадуются моей смерти.

А сам в то же время подумал о жизни. Иной, новой, только сегодня, в этот час рождающейся.

Вольховский сожалительно развел руками. Приличия были соблюдены.

— Не смею удерживать, зная вашу храбрость. В реляции будет отмечено,— сухо сказал он и, прочтя в глазах Бестужева явное, почти слышимое, короткое обидное слово, резко вздернув плечом, повернулся и пошел вниз. Мищенко остался.

— А вы что же, поручик? — спросил Бестужев.— Разве не с генералом?

Мищенко засмеялся. Он был настоящим кавказцем. Он тоже выбил штыком свои поручичьи погоны, а не вытанцовывал их на дворцовом паркете.

— Я с вами. Я не баба — на печи сидеть.

Ротмистр Альбрандт вздрагивающей рукой вытащил из ножен тупую сабельку.

По команде охотники бросились вперед, после того как два ядра единорога ударили в груду завала, развернув и расщепив бревна.

Удар был быстрый и дружный. После небольшой заминки наверху завала упрямо не хотевших покидать его черкесов исковыряли штыками. Цепь, передохнув и отправив назад раненых, втянулась в лес.

В лесу ротмистр Альбрандт растерялся. Здесь мало было уметь махать саблей и кричать команды. Лес был западней. Нужно было знать его, как любимую книгу, чтобы распознавать его ловушки. Черкесы прятались за стволами, в ямах, влезали на деревья, пропуская цепь, и били сверху в спины.

Их приходилось выкуривать из каждой впадины, снимать с ветвей, как белок, все время сохраняя равнение цепи и ее зрительную связь.

Ротный Альбрандт не знал лесного закона, и вскоре солдаты расползлись по чаще. Они уже не видели друг друга за деревьями. Они слышали только беспрерывный бабий крик ротмистра, вспотевшего от зноя и страха.

— Вперед!.. Вперед!..— кричал он, размахивая сабелькой.

Солдаты шли вперед, а черкесы, рассыпаясь перед ними, бурыми змеями проскальзывали назад, отрезая цепь от резервов. Все путалось.

Бестужев догнал Альбрандта. Почти против желания, по вкоренившейся годами привычке, видя бессмыслицу, он сказал устало:

— Ротмистр! Вы все приказываете идти вперед. Так нельзя. Нас обойдут. Мы и так зашли далеко, а подкреплений не видно.

Альбрандт вскинул голову, как тамбурмажорская лошадь, осаженная мундштуком, и посмотрел на Бестужева:

— А?.. Вы трусите? Трусите, наверное? Эй, ребята, вперед!.. Вперед!

В орбитах ротного плавал тупой бычий страх и бессмысленное упрямство. Бестужев отошел. Проваливаясь во мху, спотыкаясь о корни, он побрел на фланг цепи. В ложбине он увидел Мищенко, собиравшего ближайших к нему солдат.

— Александр Александрович,— закричал Мищенко,— что же он делает, черти его подери! Ведь нас голыми руками заберут в этой дыре.

Бестужев не ответил. От ходьбы лихорадка рассвирепела. Голову ломило. Огневые волны ходили по телу, сотрясая его. Деревья плавно кружились, развевая кронами; на ветках гроздьями, как бурая осенняя листва, висели, раскачиваясь, черкесы и шумели гортанным, растительным говором.

Споткнувшись о кочку, он упал, ушиб локоть и разорвал сюртук.

Подымаясь, увидел перед собой солдата. Солдат стоял, опираясь на ружье. Его затылок зарос седой, в колечках, овечьей шерстью. Что-то было странно знакомое в солдате, но Бестужев не мог припомнить что.

Солдат покачал головой.

— Ваше благородие,— сказал он, и при первом слове, по голосу, Бестужев узнал в нем того, который вытащил из воды убитого проигравшегося прапорщика.

— Ваше благородие,— сказал солдат,— куда вы идете?

— Куда? — Бестужев почувствовал, что его рот, помимо воли, перекосило одичалым смехом. — Куда? Не знаю куда.

— Ваше благородие. Растолкуйте, что оно происходит?

— Да что же тебе толковать, когда я сам ничего не понимаю.

Солдат испуганно приблизил к нему лицо.

— Что же мы такое? Цепь или что другое?

Бестужев ощерился.

— Сперва, братец, была цепь, а теперь г... всмятку.

Солдат глухо, не по-человечески засмеялся, но сейчас же оборвал смех. Откуда-то затрещали выстрелы, и пули затараторили по стволам.

— Надо идти к нашим,— произнес солдат, подымая ружье.

— А где наши? — спросил Бестужев.

— Там,— солдат махнул рукой вбок.

— А черкесы?

Солдат махнул в обратную сторону и остановился, увидя, что офицер повернул и быстро пошел в ту часть леса, где были черкесы. Он закричал вдогонку, недоумевая и пугаясь:

— Ваше благородие. Куды же вы идете? Не ровен час, в самые лапы нехристям влезете.

Но офицер не отвечал и уходил. Его напряженно согнутая спина испугала простой ум солдата. Он побежал за уходящим и догнал его у развороченной дикими свиньями ямы. Он ухватил офицера за рукав.

— Ваше благородие! Постойте! Никак, вы больны?

Бестужев остановился. В выцветших от солнца старых глазах отразилась перед ним вся загнанная, растерянная, недоумевающая Россия.

Страшная российская чертова карусель. Осатанелая толчея. Оловянные болваны, водящие на убой проданную отару овец.

Вся страна была проданной отарой, и ее кружил по бездорожью оловянный болван, сидевший в Зимнем дворце.

Нужно было построить Россию в каре, придать ей стройность и крепость архитектурного канона. Но ведь они пробовали это однажды — четырнадцатого декабря. И сколоченная в каре Россия промерзла на месте несколько часов и распалась в визге картечи.

Он пошатнулся и оперся на плечо солдата. И, нагибаясь к самым усам, пахнущим потом и табаком, прошептал не своим голосом:

— Идем со мной. Слышишь, старик, уйдем!

Солдат таращил выцветшие глаза. Он еще не понимал болезни своего начальника и осторожно тянул его за собой.

— Пойдем, ваше благородие. Авось как-нибудь пробьемся.

Бестужев отшатнулся.

— Куда пробьемся? Туда? Не хочу. Я иду к ним. Ты пойдешь со мной.

— Что вы, ваше благородие. Зачем к чеченцам? Зарежут басурманы,— выдавил оторопевший солдат.

Бестужев с силой ухватил его за грудные ремни амуниции и дернул к себе. Солдат послушно, как деревянная кукла, почти упал на него.

— Слушай меня, старый выжатый глупец. Разве не болит твоя изорванная палками и шпицрутенами шкура, разве не рвется твое сердце от тоски по родным полям и дому, разве не чувствуешь ты, что ты продан, как заправская вещь, и тобой будут помыкать до смерти? Ты игрушка деспотичества...

Он выбрасывал странные, как будто не в его уме рождавшиеся слова, задыхаясь и торопясь. Откуда эти слова? Ах, да, это было двенадцать лет назад у Синего моста, в доме Американской компании, в душно натопленной квартире Рылеева.

Он почувствовал, что солдат дрожит мелкой дрожью, но не отпускал ремней.

— Здесь унижение и позор, здесь самое человечество раздавлено руками угнетателей — там свобода. Идем вместе!

Солдат молчал и тяжело дышал, опустив голову. Он наконец понял и, пряча глаза, мутно, как в подушку, выговорил:

— Нет, ваше благородие, не блазнитесь. Грех вам. Как хотите, а я присягу сполню. К басурманам не пойду, не продам веру. Хочу середь своих помереть.

Мрачное, горькое покорство было в его словах, в опущенной седой голове. Бестужев внезапным размахом отшвырнул его от себя.

— Раб,— закричал он хрипло и ошалело,— раб... овца... илот, что сделали из тебя? Ты даже ненавидеть не можешь...— и, повернувшись, побежал во всю мочь на выстрелы.

Солдат кричал за его спиной, звал отчаянным криком,— он не обернулся.

Чаща редела. Впереди была прогалина. Он остановился и нащупал в кармане пистолет, тот самый, что лежал под подушкой в Дербенте. Он был маленький, двуствольный и странно похожий на тот, прежний, отнятый у Шепина-Ростовского. Два тонких ствола узорчатого дамаска были похожи на пару склеенных и замороженных змеек. Он повертел пистолет в руке, как будто примеряясь.

Потом медленно поднял руку к голове, но прикосновение теплой стали было противно, и рука тотчас же опустилась.

Умереть! Нет! Смерть не была страшной! Он знал, что сегодня ему суждено в последний раз тянуть билетик беспроигрышной лотереи. Вчера было только два выигрыша. Чет или нечет. Беспросветная жизнь или смерть! Но сегодня открылась возможность третьего: свобода. Нужно было испробовать неожиданный шанс. Он выпрямился и широкими шагами пошел к прогалине. Дойдя до опушки, он вынул из кармана платок, накинул его на пистолет и, высоко подняв руку, выступил из опушки на открытое пространство, шагая, как дуэлянт к барьеру.

Солнце морило высыхающую траву. За деревьями противолежащей опушки мелькали тени. Там были они.

Его заметили. От деревьев отделились трое и побежали навстречу ему.

Он замедлил шаги. Он по-детски улыбался этим подбегающим братьям. И еще издали закричал им:

— Чох селяммум, кардашляр!.. Чох селяммум, кунакляр!

Жаркая радость туманила его зрение. Она была горяча, как жар лихорадки. Все пламенело и плясало в его зрачках.

Передний черкес был уже близко. До него оставалось не больше десяти шагов.

Бестужев широко раскинул руки, как бы готовясь обнять набегающего, и взглянул на него.

Стремительный толчок крови, бросившийся к вискам, шатнул его. Он закричал и задрожал, в оцепенении смотря на черкеса.

Черкес был молод. У него было розовое, одутловатое, гладкое лицо с маленькими усиками.

Что-то невыносимо знакомое и страшное было в этом лице. Напряженно лопнула секунда, и он понял, он вспомнил. У черкеса было лицо Николая в тот день, когда в глухом подвале дворца через стол протянулась холодная рука для предательского рукопожатия.

Коротко и испуганно вскрикнув, Бестужев опустил пистолет на уровень этого жуткого своей непонятной схожестью лица и в забвении нажал курки. Отдача двойного выстрела вырвала оружие из его рук. Он вскрикнул вторично и, повернувшись, бросился без памяти бежать, как тогда с Сенатской площади.

До опушки, откуда он вышел, было недалеко, но неожиданно его сильно толкнуло в спину. Он удивленно оглянулся. Но сзади никого не было. Он подумал, что толчок почудился, и хотел снова бежать. Но в горле тепло защекотало. Он закашлял и удивился, когда с кашлем изо рта поползли кровавые пузыри.

Колени мягко подломились. Сопротивляясь нахлынувшей слабости, он трудно шагнул последним усилием и сел на горячую землю у дерева, лицом к черкесам.

Сквозь зеленое мерцание солнца, листвы и боли он увидел еще, как, по-звериному распластываясь, через прогалину бежали уже не трое, а много людей. Он пытался считать и не мог.

Сознание медленно покидало его, голова опускалась на грудь, и подбородком он ощущал противную мокроту набухшей кровью рубахи.

Черкесы добежали. Двенадцать шашек голубым взблеском сверкнули под солнцем и опустились на его голову и плечи, как огненные языки, дарующие свободу и покой.

Лотерея была кончена. Он выиграл нечет.

Рыжебородый карачаевец, с дрожащими от возбуждения и бега ноздрями, наступил на плечо и, коротко дернув шашкой, отсек голову. Она отвалилась, дрогнула и стала теменем книзу, как детская игрушка ванька-встанька.

Карачаевец, обтирая лезвие полой полотняного сюртука мертвеца, каркнул:

— Кеселибты коп баш урусляр бугют[1].

Ленинград,
10 ноября 1929 — 6 января 1930 г.

---

[1] Сегодня срезали много русских голов.





КОМЕНДАНТ ПУШКИН

1

Военмор спал у окна.

Поезд тащился сквозь оттепельную мартовскую ночь. Она растекалась леденящей сыростью по окрестности и по вагонам.

От судорог паровоза гусеница поезда скрипела и трещала в суставах. Поезд полз, как дождевой червь, спазматическими толчками, то растягиваясь почти до разрыва скреп, то сжимаясь в громе буферов.

Поезд шел от Петербурга второй час, но не дошел еще до Средней Рогатки. Девятнадцатый год нависал над поездом. Мутной синевой оттаивающих снежных пространств. Слезливым туманом, плывущим над полями. Тревогой, мечущейся с ветром вперегонки по болотным просторам. Параличом железнодорожных артерий.

Военмор спал у окна.

Новая кожаная куртка отливала полированным чугуном в оранжевой желчи единственной свечи, оплакивавшей в фонаре близкую смерть мутными, вязкими слезами.

Куртка своим блеском придавала спящему подобие памятника.

С бескозырки сползали на грудь две плоские черные змейки. Их чешуя мерцала золотом: «Балтийский экипаж».

Военмор спал и храпел. Храп был ровный, непрерывный, густого тона. Так гудят боевые турбодинамо на кораблях.

Голова военмора лежала на плече девушки в овчинном полушубке и оренбургском платочке. Девушка была притиснута кожаной курткой к самой стенке вагона — поезд был набит до отказа по девятнадцатому году. Ей, вероятно, было неудобно и жарко. Военмора она увидала впервые в жизни, когда он сел в поезд. Она явно стыдилась, что чужая мужская голова бесцеремонно лежит на ее ключице, но боялась пошевелиться и испуганно смотрела перед собой беспомощными, кукольными синими глазами.

Поезд грянул во все буфера, загрохотал, затрясся и стал.

Против окна на кронштейне угрюмо висел станционный колокол, похожий на забытого повешенного.

От толчка военмор сунулся вперед, вскинул голову и провел рукой по глазам. Кожаная скорлупа на нем заскрипела. Он повернул к девушке затекшую шею.

— Куда приехали?

— Рогатка...

Из распахнувшейся входной двери хлынули морозные клубы. Сквозь них прорвался не допускающий возражений голос:

— Приготовить документы!

Переступая через ноги и туловища, по вагону продвигалась длинная кавалерийская шинель. Ее сопровождал тревожный блеск двух штыков.

Шинель подносила ручной масляный фонарик к тянущимся клочкам бумаги. Тусклый огонь проявлял узоры букв и синяки печатей.

Шинель была немногословна. Она ограничивалась двумя фразами, как заводная кукла.

Одним бросала:

— Езжай!

Другим:

— Собирай барахло!

Военмор не торопясь расстегнул тугую петлю на куртке, вытащил брезентовый бумажник. Из него — второй, кожаный, поменьше. Из кожаного — маленький кошелек. Шинель впервые проявила признаки нетерпения:

— У тебя там еще с десяток кошельков будет?

Военмор вынул из кошелька сложенную вчетверо бумажку.

Свет задрожал на бумаге. Кавалерийская шинель нагнулась, читая:

ПРЕДПИСАНИЕ

Состоящему в резерве комсостава военному моряку
А. С. Пушкину

С получением сего предлагаю Вам направиться в город Детское Село, где принять должность коменданта укрепрайоном. Об исполнении донести.

Начупраформ Штаокр *Симонов.*

Кавалерийская шинель сложила листок и, отдавая, недоверчиво поглядела на кожаную статую военмора.

— Это ты, значит, Пушкин?

Военмор слегка повел одним плечом, и черные шелковые змейки вздрогнули.

— Нет, моя кобыла!— сказал он с неподражаемым морским презрением к сухопутному созданию и отвернулся, пряча бумажник.

Кавалерийская шинель потопталась на месте. Видимо, хотела ответить. Но либо слов не нашла, либо не решилась. Был девятнадцатый год. Военмор принадлежал к породе людей-бомб. Неизвестно, как взять, чтобы не взорвалась.

Выручил звонок.

Хриплым воплем удавленника разбитый колокол трижды простонал за окном, и шинель, оттаптывая ноги, рванулась к выходу.

Военмор покосил взглядом вслед, после поглядел на девушку и, подмигнув, сказал вежливо и доброжелательно:

— Сука на сносях! Не знай где родит...

Девушка опустила ресницы на кукольные глаза и длительно вздохнула. Вздох утонул в раздирающем скрежете, звоне и громе. Поезд тронулся.

2

Снежит.

За колючей щетиной голых деревьев рассвет медленно поднимается, пепельно-серый и анемичный, как больной, впервые привстающий на постели.

В запорошенных снегом уличных лужах вода стоит тусклым матовым стеклом. Ступни оставляют в нем пробоины с разбегающимися трещинами.

Вороны оглашенно приветствуют рождение дня.

Они носятся над парками, над крышами, над льдисто сияющим золотом куполов.

Военмор останавливается на углу, против овального садика, обнесенного простой решеткой из железных прутьев. Путь от вокзала утомителен — ноги дрожат от напряжения, вызванного ходьбой по замерзшим лужам.

Военмор ставит на выступ крыльца походный чемоданчик, сняв его с плеча. Свертывает махорочную цигарку, вставляет ее в обгоревший карельский мундштук.

Императорское поместье раскрывается ему за деревьями сада филигранью парадных ворот дворца, игрушечными главками дворцовой церкви, порочной изнеженностью лепки и пышностью растреллиевских капителей.

Военмор курит и смотрит на все это настороженным, подозрительным взглядом. Он не доверяет пышным постройкам, де-

ревьям, накладному золоту, он чувствует за ними притаившегося врага.

Докурив, поднимает чемодан и входит в овальный загон садика.

Сухая трава газонов пробивается сквозь тонкий слой обледеневшего наста. Ветер гонит поземку. Бьет в лицо иглами. Звездчатые пушинки пляшут в воздухе.

За низкой чугунной изгородью темнеет гранит постамента. Бронзовая скамья. На ней легко раскинувшееся в отдыхе юношеское тело. Склоненная курчавая голова лежит на ладони правой руки. Левая бессильно свисает со спинки скамьи.

В позе сидящего есть что-то похожее на позу военмора, когда он спал в вагоне. Может быть, даже не в позе, а в тусклом отблеске бронзы, напоминающем блеск кожаной куртки.

Военмор бросает равнодушный взгляд на сидящего.

Еще шаг. Взгляд сбегает ниже. Цепляется за постамент.

Военмор резко останавливается, не закончив шага, и круто поворачивается к памятнику.

Лицо его темнеет от внезапного толчка крови. Дыхание обрывается шумным выдохом.

Он смотрит на постамент. Брови сдвинуты в огромном и тревожном недоумении. Две строчки, вырезанные на постаменте, пригвоздили его к месту.

Внезапно он кладет, почти бросает чемодан к ногам.

Из кармана вынимается брезентовый бумажник. В руках у военмора маленькая коричневая книжка. Он смотрит в нее. Переводит глаза на гранит.

На партийном билете он видит:

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ПУШКИН

На полированном граните:

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Военмор произносит вслух оба текста. Только в одном слове они не сходятся: четыре буквы отчества разрывают таинственно возникшую связь.

Александр Семенович Пушкин оглядывается.

Сад пуст. Только они вдвоем — бронзовый юноша и военмор в кожаной куртке.

Необыкновенное смятение охватывает военмора. Он чувствует жаркое гудение во всем теле и мурашки в пальцах рук.

Он еще раз повторяет вслух имя — не свое, а того, который сидит на чугунной скамье и задумчиво смотрит поверх головы военмора Пушкина в дымную вуаль парков, в не известное никому, кроме него. От звуков имени огромный рой оборванных мыслей налетает на военмора. Они звенят, как пчелы. И он даже поднимает руку и делает тревожный жест, будто отгоняя пчел.

Кружащиеся мысли связаны с чем-то, очень давно позабытым.

Но он никак не может вспомнить, что он позабыл. Воспоминание рождается мучительно медленно.

Далекие и в то же время необычайно близкие слова наплывают на него из прошлого, из полузабытого детства. В словах есть ритм. Он ощутителен и настойчив.

Александр Семенович Пушкин отбивает ногой такт этого ритма. Все чаще и чаще. Вот! Сейчас будут пойманы слова, быстро мелькающие, как золотые рыбки, в глубине памяти.

Хмурое лицо военмора освещается виноватой улыбкой. Только сейчас, за истомленностью и небритой щетиной на щеках, можно разглядеть настоящую молодость военмора. Он наклоняет голову набок и, словно прислушиваясь, говорит тихо и врастяжку:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! Тятя! Наши сети
Притащили мертвеца...»

Ритм обрывается. Александр Семенович Пушкин шевелит губами и прищелкивает пальцами. Но в омуте памяти снова провал. Золотые рыбки умчались, сверкнув чешуей.

Военмор опускает голову и говорит сам себе укоризненно:

— Запамятовал, Сашка!

И вдруг снова смеется, по-детски, беззаботно.

Все равно! Ну, забыл! Но внезапная загадка бронзового двойника разгадана. Смятение уступает дорогу любопытству.

Военмор перелезает через ограду и подходит вплотную к постаменту. Задрав голову, долго смотрит на памятник.

Кружащиеся снежинки ложатся на взбитые в беспорядке кудри Александра Сергеевича Пушкина, стынут на припухлых губах, на тонких плечах.

Александр Семенович Пушкин, осторожно ступая, обходит памятник кругом. На задней стороне постамента вырезана надпись.

Александр Семенович, подойдя вплотную, разбирает по слогам каменные строки:

Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он, как душа, неразделим и вечен.
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село...

Стихи читались с трудом. Слог их был непривычен и малопонятен, слова скользили и убегали от сознания. Но загадочная музыка, таившаяся в них, укачивала, несла на ритмических волнах, как необъяснимое колдовство.

Это ощущение издавна было знакомо Александру Семеновичу. Оно овладевало им всегда, когда ему приходилось слушать музыку. Был ли это пастушеский рожок из бузины, гармошка ли

в кубрике, хрустальный гром рояля из открытого люка кают-компании, или духовой оркестр в кронштадтском парке, но всякая мелодия завладевала Александром Семеновичем неотразимо и повелительно. Она убаюкивала его и уносила в неизведанные и сладостные просторы.

Александр Семенович прочел по слогам последнюю строку. И вдруг обаяние музыки сорвалось, развеянное темным подозрением.

Он еще раз прочел, повысив голос:

Отечество нам Царское Село.

Эта строка была понятна от первого до последнего слова. Больше: она повеяла в лицо дыханием чужого и ненавидимого мира.

И она заставила Александра Семеновича насторожиться.

Он отодвинулся от постамента и потемневшими глазами посмотрел на бронзовую спину Александра Сергеевича. В этом взгляде были смешаны подозрение и злость.

— Царское Село тебе отечество? — сказал он вслух с таким выражением, словно хотел сказать: «Так вот ты кто такой!»— Царское!— повторил он с нажимом.— Царя все помните!

Сжав челюсти, Александр Семенович круто обошел постамент и быстрыми шагами приблизился к оставленному за оградой чемодану.

Он подхватил его ловким и стремительным рывком под мышку Еще раз исподлобья взглянул на памятник.

Бронзовый юноша, отечеством которого было Царское Село, смотрел теперь уже не через голову Александра Семеновича, а прямо на него. Чуть заметная усмешка, дружеская и печальная, змеилась на неподвижных губах.

Александр Семенович нахмурился, поправил бескозырку и зашагал.

Шел он размашисто и решительно. Словно после долгого колебания нашел верную линию, прямой, непетляющий путь.

3

Дела в укрепрайоне было много.

Девятнадцатый год кипел.

В потревоженных и сдвинутых толщах страны глубоко бурлила кипящая, огненная лава, гоня на поверхность шлаки. Они выскакивали грязными гнойными пузырями, омерзительной накипью, шипели, брызгали перегоревшей гнусью и лопались. Шлаки плыли от периферии к огненным центрам. Туда, где жарче и сильней кипела лава, в которой они сгорали без остатка.

Революционный Петроград притягивал к себе эти шлаки, как магнит. Вокруг Петрограда все время было неспокойно.

Александр Семенович Пушкин с головой ушел в работу. Вре-

мени не хватало затыкать ежеминутно обнаруживавшиеся прорехи.

Ближайшим помощником Александра Семеновича оказался военрук укрепленного района, бывший полковник Густав Максимилианович Воробьев.

Сочетание пышно оперного, чужеземного имени и отчества с заурядной и смешной русской фамилией удивляло многих. Военрук в таких случаях раздраженно объяснял, что его прапрадед, прожив всю жизнь в Польше, принял католичество, и от него пошли Воробьевы с иностранными именами.

Объяснять приходилось часто, и это приводило старика в бешенство. Это и заставило его просить о переводе из петроградского штаба, где была вечная толчея людей и вечное любопытство, в заштатный и немноголюдный укрепрайон.

В первый день вступления в должность старик созвал всех сотрудников штаба района. Они собрались в назначенный час, ожидая каких-либо важных сообщений.

Густав Максимилианович вышел к ним из кабинета, разгладил усы и произнес короткую речь. Смысл ее сводился к тому, что, не желая рассказывать каждому поодиночке историю своих прозвищ, военрук Воробьев сообщает ее для сведения всех в целях прекращения бесцельного любопытства. Изложив события жизни своего предка, Густав Максимилианович выразил надежду, что совместная работа с новыми сослуживцами будет приятна, поклонился, как актер, удачно спевший арию, и ушел, оставив сотрудников в полном недоумении.

Был он малого роста, аккуратен и подтянут. Серебряный бобрик над высоким лбом и белые усы блестели свежестью только что выпавшего инея.

Он был честным и преданным работником, восторженным либералом шестидесятнического толка.

В день передачи должности коменданта укрепрайона Александру Семеновичу старик, окончив официальную информацию о положении в районе, выжидательно посмотрел на нового начальника.

— Что еще?— спросил Александр Семенович, видя неуспокоенность собеседника.

— Вас, вероятно, удивляет несоответствие моего имени и отчества моей фамилии?— сердито начал военрук.

Александр Семенович удивленно покосился на Воробьева.

— С чего вы взяли? Фамилие как фамилие... А имя-отчество хоть сразу не выговоришь, а все же ничего несоответственного не видать.

Густав Максимилианович Воробьев внезапно весь порозовел от удовольствия. Казалось, даже усы приняли розоватый оттенок.

— Как приятно встретить человека столь свободных и широких взглядов!— сказал он, умиротворенно улыбаясь.— Я очень устал от бесцеремонного любопытства окружающих. Имена и прозвища мы не сами выбираем для себя, не правда ли, товарищ

Пушкин? Вот, например, вы, наверное, не выбирали бы себе имени и фамилии, которая тоже должна стеснять вас...

— Это с чего же ради?— Александр Семенович поднял голову от сводки артиллерийского имущества.— Чего мне стесняться?

— Прошу извинить,— Воробьев склонился в изящном полупоклоне,— если я коснулся неприятной вам темы. Но вы должны сами понимать, что при имени и фамилии великого поэта у каждого должен возникать ряд ассоциативных предположений. Иначе говоря, на вас всегда ложится тяжелая тень прославленного имени. Это затрудняет...

— Фамилие у вас русское, а разговор вроде имени-отчества, не сразу провернешь,— перебил, мрачнея, Александр Семенович.— Я кочегар. Кроме горя, в кочегарке ничего не хлебал. Со мной просто говорить надо, а не загвоздки выклеивать...

— Извините, ради бога! — испуганно сказал Воробьев.— Я совершенно не то... Я просто хотел сказать, что здесь, в Детском Селе, ваша фамилия и имя звучат несколько парадоксально.

— Ну вот... Говорите, хотели сказать просто, а опять загнули словцо!

— Парадоксально — по-русски значит неправдоподобно, — мягко пояснил Воробьев.— В самом деле, здесь каждому мальчишке известно, что в нашем городе жил и учился Александр Сергеевич Пушкин. А теперь приехали вы, Пушкин, и к тому же еще Александр...

— Ну и что?— вдруг зверея, рыкнул Александр Семенович.— Чего вы мне тычете под хвост вашим Пушкиным! Мне с ним не чай пить! Ему вон Царское Село — отечество, так на памятнике вырезано. А я в Гнилых Ручьях родился. Он, может, генералом был, а меня тятька с первого года из школы взял и в аптеку мыть бутылки за три рубля отдал. Я писать еле могу, и этого Пушкина только и помню, что «тятя, тятя, наши сети» и там про мертвеца... Чихал я на Пушкина! Нам нынче Детское Село отечество. А Царское мы с царем вместе похерили! Да!

Воробьев медленно отступал к двери, пока Александр Семенович нервно выбрасывал злые слова. У двери он сложил руки перед грудью, как будто собираясь молиться, и когда Александр Семенович кончил, старик сказал, и в голосе его комукрепрайона ощутил необычайное волнение и печаль:

— Боже мой, боже мой! Вы, сегодняшний Пушкин, ничего не знаете об Александре Пушкине! Вы даже не знаете, что именно царская Россия отравила ему жизнь и задушила его! Вы...

Александр Семенович встал злой, стиснув кулаки в карманах куртки.

— Товарищ военрук! Я вам вот что скажу: идите подобру-поздорову работу сполнять. Вы тут бузите насчет Пушкина, а часовые у пороховых складов цигарки смолят! Дело нужно делать, а не лясы точить.

Густав Максимилианович Воробьев выпрямился и вытянул руки по швам.

— Слушаю, товарищ комендант!

Выходя, он оглянулся на зарывшегося в сводки Александра Семеновича. Во взгляде старика были недоумение и обида.

4

Первый весенний день пришел в блеске и свете, в ласковой свежести западного ветерка, овеянного запахом талых ручьев, земли, размокшей древесной коры.

В конце рабочего дня к подъезду штаба укрепрайона подали оседланных лошадей.

Александр Семенович Пушкин намеревался, в сопровождении военрука, проехать к железнодорожным путям, проверить состояние привокзальных окопов и проволочных заграждений, поставленных осенью. Обилие снега грозило затоплением окопов и сносом кольев.

Лошади танцевали, разбрызгивая грязь, рвались из рук коновода и с тихим ржаньем, похожим на дружескую беседу, ласково покусывали друг друга за шею. Солнце, шумящая по стокам вода и угадываемый аромат сочных трав, еще прячущих ростки под землей, пьянили их и возбуждали.

Густав Максимилианович сел в седло с привычной, почти молодой легкостью. Александр Семенович долго прыгал на одной ноге, силясь нацелиться другой в ускользающее стремя.

Конь казался ему менее устойчивым и более вертким, чем палуба миноносца в шторм. Но, очутившись в седле, он сразу приобрел ту суровую и тяжелую каменную посадку, которая всегда делает конного моряка величественным и прекрасным, как всадника, изваянного великим ваятелем.

Они прошлепали по лужам вдоль путей. Воробьев на ходу отмечал в записной книжке необходимые работы по приведению окопов в боеспособное состояние после спада воды.

Больших повреждений не было, и, убедившись в благополучии, Александр Семенович с военруком повернули обратно. Весеннее солнце нехотя уходило за сиреневую сетку мокрых веток, зажигая тяжелые капли.

Александр Семенович направлялся домой. Жил он, как и военрук, в домиках китайской деревни. Игрушечные эти постройки, выстроенные для императорских забав, служили теперь квартирами боевой семье укрепрайона.

У поворота на Садовую Александр Семенович широко вдохнул душистую свежесть вечера и вдруг сказал военруку:

— Пройдемся, что ли? Надоело на этом живом заборе болтаться... Вечер хорош!

Густав Максимилианович Воробьев кивнул.

Они слезли с седел, отдали лошадей коноводу и медленно

пошли по Садовой к куполам дворца, свежим и омытым. Овальная корма лицейского здания медленно надвигалась на них. За нею темнел садик.

Поравнявшись с лицеем, Александр Семенович, неожиданно для самого себя, свернул вправо, в пролом садовой решетки. Воробьев тоже безмолвно последовал за ним.

После первого разговора, так неудачно закончившегося, военрук больше не заговаривал с комендантом ни о своей, ни о его фамилии. Они говорили друг с другом только о служебных заботах, немногословно и деловито. Но Александр Семенович постепенно привык к спокойному, вежливому и работящему старику. Первые дни он подозрительно наблюдал за ним. Прошлое военрука заставляло коменданта держаться настороже. Он инстинктивно не доверял всему, что имело корни в прошлом. Но старик работал безукоризненно, как хорошо выверенный механизм, и недоверие Александра Семеновича рассеивалось. Укрепрайон подтянулся. Часовые больше не курили на постах, и красноармейцы гарнизона перестали появляться на улицах в раздерганном виде, со спадающими штанами. Александр Семенович получил закалку образцовой морской дисциплины и не переносил разнузданности и беспорядка. Военрук приложил много труда к налаживанию военного организма города, и Александр Семенович высоко оценил этот труд.

Сквозь стволы деревьев засерел гранит. Солнце обливало бронзу памятника влажной лаковой патиной. Александр Семенович вышел на центральную аллею и присел на скамью против памятника.

Александр Сергеевич Пушкин сидел в неизменившейся позе и незаметно дышал апрельским медом.

Александр Семенович Пушкин откинулся на спинку скамьи, невольно и незаметно для себя приняв позу бронзового двойника. После долгого молчания сказал с коротким смешком:

— Чудно все-таки... Он Пушкин, и я Пушкин. Он Александр, и я тоже. А между прочим, в общем никакого сходства.

Военрук осторожно повернулся к Александру Семеновичу, наблюдая за ним искоса и нерешительно. Александр Семенович продолжал:

— Жил вот тоже тут... Может, на этой самой скамье сидел и не имел в думке, что мы тут сядем и на него смотреть будем...

Густав Максимилианович сухо кашлянул в усы.

— Разрешите доложить, товарищ Пушкин, что в этом вы заблуждаетесь. Он отлично знал, что будет тут сидеть и смотреть на нас.

Александр Семенович взглянул на военрука с сомнительным любопытством:

— Турусы на колесах! Как это человек может знать, где его после смерти посадят? Поди, иной не знает даже, на каком

кладбище похоронят. А тут не кладбище, а сад. Здесь одних садов в неделю не обойдешь. Угадай, в каком...

— И все-таки, уверяю вас, Александр Семенович, что Александр Сергеевич это знал... То есть он не рассчитывал, конечно, что поместят его именно на этом месте. Но вообще знал, что дождется памятника, и даже сам предсказал.

Александр Семенович порылся в кармане и вытащил кисет.

— Ну-ну,— произнес он врастяжку, заворачивая цигарку,— уверенный, значит, человек был. Он, что ж, кроме как стихи писать, гаданьем занимался?

— Нет,— ответил Воробьев без улыбки,— он в стихах именно и предсказал.

Александр Семенович выпустил изо рта голубой клуб дыма, на мгновение закрывший бронзового двойника.

— Занятно это вы говорите, Густав Максимилианович. Выходит, угадал свою судьбу?

— Да. Это замечательные стихи. Они будут жить, пока на земле будут жить люди. Хотите, я вам прочту?— неожиданно предложил Воробьев.

— Валяйте!— равнодушно согласился Александр Семенович.—Какое такое предсказание?

Воробьев сцепил пальцы рук, сложенных на колене, и поднял глаза к верхушкам деревьев. В его суховатом чистом стариковском лице словно проступил внутренний свет, помолодивший его.

Голос его был надтреснут и тих, почти робок:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа;
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа...

Александр Семенович слушал, куря.

Он не отрывал взгляда от Александра Сергеевича. оложительно, отлитое из бронзы худощавое юношеское лицо жило своей таинственной жизнью, и это озадачивало Александра Семеновича. Вероятно, мерцание закатного света сквозь ветки создавало эту иллюзию жизни и движения, но Александр Семенович готов был поклясться, что при первых звуках стихов двойник на резной скамье слегка подался вперед и как будто стал прислушиваться. Но голос военрука отвлек внимание от памятника.

Знакомое ощущение музыки уже охватывало Александра Семеновича. Стихи текли, как волна. Как и эти, врезанные в камень памятника, они доходили до сознания Александра Семеновича музыкой, напевом, а не словами.

В них было много чуждых слуху звукосочетаний, как будто другого, нерусского языка. Или не того русского языка, какой знал Александр Семенович, на каком привык разговаривать. «Столп», «лира», «пиит», «сущий» — это мешало уследить за смыслом и раздражало.

Только на четвертом периоде мерного качания стиха Алек-

сандр Семенович повернул голову к Воробьеву, и глаза сузились. Лицо его стало напряженно внимательным.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Тот же внутренний ясный свет, которым сияли глаза военрука, пробежал теперь в глазах Александра Семеновича.

Он ближе подвинулся к Воробьеву и в неподвижности дослушал до конца.

Минуту оба молчали.

Первый пошевелился Воробьев.

— Что скажете, товарищ Пушкин?

Александр Семенович поднял руку и пошевелил в воздухе пальцами, будто ловил другие, не привычно-ежедневные, а новые и волнующие слова.

— Здорово! — сказал он наконец, так и не найдя этих слов, и вдруг потускнел и нахмурился.

Воробьев выжидательно смотрел на него.

— А вот божье веленье ни при чем! Начал про свободу, и вдруг богом всю музыку спортил!

Густав Максимилианович Воробьев розни сцепленные пальцы и всплеснул руками в воздухе.

— Александр Семенович, товарищ Пушкин! Вы же поймите, в какое время он писал! Сто лет назад! В то время Маркс только родился и во всем мире была только одна республика, в Америке. Кроме отдельных передовых личностей, люди без оглядки на бога пальцем боялись пошевельнуть.

— Разве что так,— протянул Александр Семенович, пристально смотря на бронзового Александра Сергеевича.— Только если он стихи писал знаменитые, следственно был передовой личностью, как вы говорите. Вот тут и не сходится. Выходит — бог в нем крепко сидел, вроде глиста. И царь тоже.

Густав Максимилианович мгновенно помигал ресницами и вдруг захохотал дружелюбным басовым смешком.

— А знаете, Александр Семенович, мне нравится ваша логика. Твердая, организованная и последовательная.

— Чего это за ягода «логика»? — спросил Александр Семенович.— Опять непонятно заговорили?

— Ну, образ мыслей. Вас не собьешь с линии.

— Это верно. Я хоть серый и дальше азбуки не пошел, а свою думку держу крепко.

— Это мне в вас и нравится. Во всех вас, во всех большевиках,— ясная целеустремленность и боевая непримиримость мысли.

Оба замолчали. Солнце скатывалось к горизонту Последние лучи, прорвавшись сквозь невод ветвей, вспыхнули вокруг

кудрявой головы Александра Сергеевича Пушкина, окружив ее трепетным ореолом.

— Пора идти! — сказал Александр Семенович.

— Хотите, товарищ Пушкин, у меня чайку попить? — предложил Воробьев.— А я вам еще Пушкина дома почитаю. Там уже бога не будет. А вам нужно же узнать как следует своего однофамильца. Неужели вы его совсем не знаете?

— Чудак вы, Густав Максимилианович,— ответил Александр Семенович,— я же вам говорил! Моего всего образования — первый класс в деревенской школе. А после некогда было. Моешь в аптеке бутылки с восьми и до двенадцати — спину и руки до того ломит, что не знай, как до лежака дорваться. Я до флота и газет почти не читал. Только на корабле, уже в организации, глаза открыл на книгу. Но все политическое. На другое времени не хватало. А вы — Пушкин! Куда мне! А насчет чаю — согласен. Потопали!

В комнате Воробьева гостеприимно гудела буржуйка.

Такая же чистенькая и аккуратная, как муж, вся в белых букольках, жена военрука приветливо встретила гостя. Расставила на столе холодную баранину, нарезанную воблу, черную патоку в вазочке, заварила в чайнике яблочную крошку.

Густав Максимилианович вынул из стола перевязанные ниточкой очки, ловко приладил их к носу. Достал с полки коленкоровый томик.

Электричество горело тускло. Нити лампочки едва накалялись красноватым сиянием. Воробьев зажег керосиновую лампу и присел к ней.

В этот вечер и состоялось первое настоящее знакомство Александра Семеновича с Александром Сергеевичем.

Воробьев прочел Александру Семеновичу посвященное декабристам «Послание в Сибирь», послание «Чаадаеву», «Деревню», «Анчар», «Кинжал».

К каждому прочитанному стихотворению Воробьев давал короткое пояснение, рассказывал Александру Семеновичу внутренний тайный смысл стихов, переводя высокий язык символов и образов на понятную для слушателя будничную речь.

Музыка стихов начинала звучать для Александра Семеновича осмысленно. Юноша из лицейского садика вставал перед ним в ином облике. Он исподволь становился своим.

Комендант и военрук засиделись долго за полночь. Жена Воробьева тихой мышью ушла в спальню.

Густав Максимилианович закончил вечер эпиграммой на Аракчеева, предварительно рассказав об Аракчееве и Александре Первом. Он прочел эпиграмму в ее неприкосновенном, предельно вызывающем тексте, понизив слегка голос. От яростной брани по адресу царя и его клеврета Александр Семенович привскочил на стуле.

Это был совсем неожиданный для него Пушкин, заговорив-

ший языком кочегарного кубрика! Тут пахло не отечеством Царского Села и не божьим веленьем. Александр Семенович понимал, что за такие слова гоняли на каторгу.

Матрос Геннадий Ховрин на «Штандарте», неудачно поддержавший царицу под руку на трапе и посаженный в карцер, со зла обозвал ее величество коротким женским словцом и получил пять лет за оскорбление царственной особы.

Через темные дали столетий Александр Сергеевич Пушкин подавал дружескую руку матросу первой статьи Геннадию Ховрину. Между ними устанавливалась нежданная связь.

Поздно ночью простился Александр Семенович с военруком.

Ночь томилась в теплой и влажной бане весеннего тумана.

Александр Семенович постоял у крыльца военрука, вдыхая тепло и тишину. Потом он сам разбил эту тишину, произнеся вслух непроизносимый конец эпиграммы. Прислушиваясь к затихавшему эху, как бы взвешивая убийственные слова, он засмеялся и пошел к себе.

5

Спустя несколько дней Александр Семенович зашел под вечер к Воробьеву и попросил почитать чего-нибудь про жизнь своего знаменитого тезки.

Густав Максимилианович в нерешительности покрутил усы

— Вы меня извините, товарищ Пушкин,— сказал он, конфузясь и говоря несколько книжно,— но ваша просьба несколько затрудняет меня. Мне хочется, чтобы вы узнали настоящую жизнь Александра Сергеевича Пушкина, без прикрас и выдумок, со всеми его муками и страданиями, всеми неудачами этого беспокойного человека. Жизнеописание же его, приложенное к моему изданию, предназначалось для средней школы в дореволюционное время и написано лживо, изуродованно. Я просто боюсь его вам давать. Вы получите совершенно неправильное представление.

Александр Семенович на мгновение задумался.

— А может, вы сами мне расскажете как надо? сказал он, найдя выход.

Но Воробьев покачал головой:

— Трудно, Александр Семенович! В данном случае мне особенно трудно. Я, как всякий более или менее грамотный русский, знаю и люблю Пушкина. Мое знание удовлетворительно для меня. Но я не могу принять на себя ответственность за передачу этих знаний вам. Они слишком скудны для этого. Пушкину необходимо знать Пушкина, как брат знает брата.— Старик улыбнулся.

— Экая незадача! А я разохотился,— с досадой сказал Александр Семенович.— Хочу познакомиться вдосталь. Теперь он меня за живое забрал.

— Вы не отчаивайтесь, Александр Семенович! Делу помочь можно. Тут есть бывший преподаватель словесности здешней гимназии Матвей Матвеевич Луковский. Он всю литературу как свои пять пальцев знает. Он, наверное, не откажет. Очень обязательный и приятный человек.

— Смеяться не будет? — спросил Александр Семенович, нахмуриваясь.

— Что вы! Зачем? Наоборот, думаю, он будет очень рад помочь вам.

— Ну, ладно,— согласился Александр Семенович,— амба! Пусть так!

— Так я сейчас и зайду к нему,— сказал Воробьев.— Все равно мне нужно книжки отдать, которые я у него брал.

Они вышли вместе. Александр Семенович проводил Воробьева до жилища Луковского и неторопливо пошел обратно.

Подходя к садику, он еще издали заметил на аллее против памятника человеческий силуэт. Странные жесты этой фигуры привлекли внимание Александра Семеновича. Человек нагибался к земле, потом выпрямлялся, делал размашистое движение в сторону памятника и снова нагибался, шаря.

Александр Семенович прибавил шагу и подошел к незнакомцу незамеченный.

Здоровый парень в бутылочных сапогах, с красным лицом в прыщах, выковырял из почвы кусочек камня и, наметясь, метнул его в поэта.

Камень звонко ударил в плечо статуи и скатился к ногам, оставив на металле беловатый след. Парень удовлетворенно захрюкал и нагнулся за новым камнем.

Жаркий туман залил глаза Александру Семеновичу.

В одно мгновение он превратился из коменданта укрепленного района, большевика, стойкого командира матросского батальона, заслужившего доверие в октябрьские дни боевой выдержкой и врожденными командирскими качествами, в первогодка кочегара Сашку Пушкина, горячего парнишку, безраздумно кидавшегося в любую уличную драку в Кронштадте, круша направо и налево каменными кулаками.

От свинцового удара в левую скулу парень перевалился через решетку, ткнувшись лицом в побеги молодой травы. Фуражка его откатилась к постаменту. Он вскочил и, зарычав, бросился на обидчика, но, не дойдя на шаг до Александра Семеновича, остановился и испуганно разжал кулаки.

Военмор с ярко-желтой кобурой, повисшей на бушлате, был врагом, которого трогать не стоило. Вместо удара парень заморгал глазами и слезливо спросил:

— Ты что в ухо бьешь, сволочь?

Туман неожиданной ярости уже схлынул с Александра Семеновича. Он взял себя в руки. Но лицо и губы его были белы от злобы, и голос стал низким и хриплым.

— Катись! — сказал он угрожающе.— В следующий раз застану — голову оторву, хулиганское отродье!

— А что я тебе сделал, сукиному сыну? — еще слезливей спросил парень.

Он не понимал и не мог даже заподозрить, что удар со стороны военмора был вызван невинным бросанием камешков в чугунного человека на скамейке, посаженного здесь неизвестно к чему.

— Поговори еще! — сказал Александр Семенович, надвигаясь, и парень опасливо попятился, подняв руку перед лицом.— Поговори! Ворон тебе мало, болвану, каменья кидать? Для твоего удовольствия тут памятник поставили?

Парень захлопал ресницами. Теперь он понял, но то, что он понял, было выше его понимания, и он обозлился:

— А ты кто такой? Ты ему дядя? А раз это старорежимный статуй, ты какое такое право имеешь за его вступаться? Может, ты сам старого режиму? Форму морскую нацепил и народ обманываешь? А вот пойдем в чеку! Там тебя разденут.

Парень уже ободрился и снова махал сжатыми кулаками.

Но ударить он не успел. Александр Семенович, извернувшись, ухватил его за ворот куртки и поднял на воздух. Натужившись, он протащил парня на весу до выхода из садика и, опустив, с размаху поддал подошвой в крепкий зад, обтянутый ватными штанами.

Парень отлетел шагов на пять, ткнулся руками в уличную грязь. Александр Семенович спокойно повернулся и пошел. За его спиной парень кричал во весь голос обидные слова:

— Матрос-барбос! Гидра контровая!.. Ходи мимо, а то поймаем — мы тебе салазки загнем!

Но Александр Семенович шел быстро и не оборачиваясь. Поравнявшись с памятником Александру Сергеевичу, он бросил на него быстрый и раздраженный взгляд. Памятник показался ему прямым виновником неожиданной и неприятной вспышки гнева, о которой Александр Семенович уже сам жалел и которой стыдился.

6

Луковский разговаривал на ходу.

Он стремительно шагал из угла в угол по диагонали огромной, почти лишенной мебели комнаты.

Письменный стол. Кресло возле него. В углу другое кресло, из разорванной обивки которого клочьями висела шерсть и на котором сидел Александр Семенович. Больше ничего.

Но все четыре стены, от плинтусов до потолка, были заняты книжными полками. Книги лежали грудами на подоконниках, на столе, на полу. От них в комнате стоял пыльный и странно хмельной, кружащий голову запах.

Луковский носился на фоне этих книг в длинном старомодном сюртуке. Его тонкие угловатые руки взлетали перед лицом Александра Семеновича, похожие на общипанные крылья, и весь он был как необыкновенная птица.

Летая по диагонали комнаты, Луковский захлебывался словами:

— Когда товарищ Воробьев рассказал мне о вас, я буквально оцепенел от изумления, я не мог опомниться, я не хотел верить. Какое необыкновенное стечение обстоятельств! Прошло столетие, и в месте, освященном именем Александра Пушкина, появляется другой Александр Пушкин. Мне это показалось сначала ужасающей профанацией, кощунством, издевательством...

— Послушайте,— перебил Александр Семенович, привстав с кресла и рукой загораживая путь Луковскому,— чего вы все ходите? Этак и вам неудобно, и мне глядеть на вас беспокойно. Сели бы!

Луковский растерянно посмотрел на Александра Семеновича, мигнул и сразу послушно сел на груду книг посреди комнаты.

— Вот так лучше,— одобрил Александр Семенович и, усмехнувшись, продолжал: — Чего это вы много наговариваете? До чего с вами, учеными людьми, трудно,— будто мешки носишь... Чего же на меня обижаться, что я тоже Пушкин? Уж тогда вы с моих батьки и мамки спрашивайте...

— Да нет же,— Луковский привскочил на своем книжном сиденье, и облако пыли вскурилось над ним из потревоженной бумаги,— да нет! Это было мгновенное первое впечатление. Инстинктивный протест... Пушкин неповторим в этом городе, и кто может, кто смеет назваться его именем здесь? Но это тотчас же прошло... И я увидел в вашем появлении здесь некую историческую закономерность, если хотите. Круг завершен, и на рассвете нового исторического периода в прежнее место приходит новый Александр Пушкин, в новом качестве. Это диалектика истории...

Александр Семенович насупился и свел брови.

— Эх ты, мать родная,— сказал он с досадой,— вы все свое мудрите! Мне от вас чего нужно? Чтоб вы мне про Пушкина, про всю его полную жизнь объяснили, про то, как он стихи складывал, об чем думал, с кем дружил... Я в этом направлении человек темный и ничего про в а ш е г о Пушкина не смыслю. А вы мне всё мудреное несете, такое, что мозги набекрень сворачиваются. Уж тогда лучше дайте книжку какую-нибудь, попроще. Авось поднатужусь и как-нибудь сам разберусь,— закончил он с внезапной тоской.

Луковский вскочил и, как порыв вихря, пронесся по комнате.

— Простите, Александр Семенович! — закричал он, хватая обе руки коменданта худыми, цепкими пальцами.— Ради бога, простите... Эта дрянная привычка к высокопарным разглаголь-

ствованиям в интеллигентском болотце!.. Вы пришли ко мне за простым ржаным хлебом знания, а я кормлю вас изысканными пряностями... Простите! Ведь вам хочется ближе узнать и почувствовать вашего живого тезку... Понятно!.. Понятно! Я постараюсь удовлетворить ваше желание... Я так рад... Может быть, впервые в моей педагогической практике ко мне приходит так жадно ищущий знания ученик... И я сделаю все, что в моих силах... Сейчас... Сейчас!

Он выпустил руки Александра Семеновича и ринулся к одному из книжных шкафов. Распахнул дверцу так порывисто, что стекла жалобно задребезжали. Худые пальцы Луковского промчались по корешкам книг, как пальцы пианиста по клавишам в трудном пассаже, и выдернули одну из книг в коленкоровом синем переплете.

— Вот! — Луковский высоко поднял книгу над головой.— Вот! Здесь, Александр Семенович, вся жизнь Александра Сергеевича Пушкина. В эту рукопись я вложил двадцать три года любовного труда. Она не могла надеяться увидеть свет потому, что в ней я рассказал правду о Пушкине и предал позору его убийц. Я не знаю, увидит ли она свет при моей жизни...

Луковский нежно погладил переплет книги. Некрасивое лицо его с растрепанной бороденкой просияло внутренним огнем вдохновения. Гордо вздернулась голова. Он раскрыл книгу и, держа ее в вытянутых руках, сказал торжественно и сурово:

— Вы услышите сейчас о Пушкине!... Не о том Пушкине, о котором я был принужден рассказывать много лет в гимназии ленивым олухам и шалопаям. Это не народный Пушкин. Это нарумяненный мертвец. Те, кто убил его, затянули его после смерти в тугой раззолоченный мундир придворного, подкрасили румянами казенного патриотизма, уродовали его мысли и чувства. Они хотели украсть его у народа и навсегда похоронить в лакейской царского дворца... Но час расплаты пришел, и они сами умерли в этой лакейской... Народ воскресит своего поэта, своего Пушкина...

Внезапно Луковский схватился за грудь и закашлялся. Несколько минут сухой, судорожный кашель сотрясал с головы до ног его тощее тело. Он прижал ко рту платок, и, когда отнял его, Александр Семенович увидел расплывающееся по полотну розовое пятно.

— Пустое! — тихим извиняющимся голосом ответил Луковский на тревожный взгляд Александра Семеновича.— У меня профессиональная болезнь русского педагога... Чахотка!.. Мне не очень много осталось жить, но это совершенно не важно.

Он спрятал платок в карман, пригладил рукой взбившиеся над лбом взмокшие волосы и, полузакрыв глаза, спокойно начал рассказ:

— Александр Сергеевич Пушкин, величайший русский поэт, наша национальная гордость на веки веков, стоящий наравне

с величайшими гениями мировой поэзии, родился в Москве двадцать шестого мая тысяча семьсот девяносто девятого года...

Александр Семенович подался вперед в кресле, оперся подбородком на сжатый кулак и с жадным вниманием слушал.

7

В пустых и покинутых парках эти две фигуры стали привычной и неотделимой частью пейзажа. Они каждый день прогуливались в зеленом сумраке вечереющих аллей.

Шагали рядом. Тяжелый и спокойный, кажущийся чугунным от тусклого блеска постаревшей кожаной куртки, Александр Семенович Пушкин. И нервно приплясывающий, забегающий вперед на развинченных ногах, Матвей Матвеевич Луковский. Его танцующая походка, отставленные от тела угловатые локти делали его схожим с большой галкой, жалостно подпрыгивавшей по аллее, волоча перебитые крылья.

Александр Семенович шел молча, изредка роняя несколько слов. Луковский говорил неугомонно и порывисто. В уголках его синеватых губ накипала пена. Тогда он тщательно вытирал рот платком и продолжал говорить.

Они стали неразлучны — комендант укрепленного района, военный моряк, бывший кочегар Александр Семенович Пушкин и чахоточный энтузиаст Матвей Матвеевич Луковский. Их накрепко связала история жизни другого Пушкина, Александра Сергеевича, о котором, пылая чахоточным жаром и восторгом, рассказывал Александру Семеновичу Луковский.

Теперь, проходя мимо своего бронзового тезки, отдыхающего на резной скамье, Александр Семенович Пушкин видел уже не беспечного мальчика. За этой беззаботной юношеской тенью встала перед ним страшная страдальческая жизнь человека, родившегося в мае, чтобы маяться до конца. Человек, которого угораздило родиться с умом и талантом в душной гауптвахте николаевской казарменной России и жизнь которого шла под глухой рокот гвардейских барабанов, под мокрый хлест шпицрутенов по окровавленным спинам, под звон цепей, заковавших лучших друзей и товарищей.

Жизнь, каждый живой росток которой обрезался тупыми ножницами цензуры!

Жизнь, ежедневно и бесконечно унижаемая «отеческой» опекой царя и оскорбительным покровительством Бенкендорфа! Отравляемая клеветой и обидами!

Жизнь, ставшая игралищем посторонней, страшной и необоримой воли! Шедшая по чужой указке и оборванная с жестоким равнодушием в час, когда она стала помехой титулованному лакейству.

Александр Семенович останавливался перед памятником и подолгу всматривался в задумчивые юношеские черты Александра

Сергеевича. Теперь ему казалось, что в них проступает уже начало той истребительной тоски и отчаяния, которые сопровождали эту жизнь своей черной могильной тенью.

Александр Семенович тяжело дышал, и пальцы его, засунутые в карманы кожаной куртки, сминались в кулаки с такой силой, что синели ногти. Лицо его темнело и становилось каменным. Редкие прохожие, пересекавшие в такие минуты лицейский садик, опасливо обходили его точно вросшую в землю фигуру.

В ежедневных прогулках с Луковским он узнавал каждый раз новое в своем тезке. Он открывался Александру Семеновичу, как открывается моряку неизвестная земля. Сначала в голубоватом блеске морской дали встает чуть заметная темная полоска. Она медленно растет. Она поднимается из океана, окруженная белыми всплесками прибоя. Из общего контура начинают ясно выделяться отдельные вершины. Зеленеют леса. Золотящимися просторами ложатся поля, пересеченные светлыми лентами дорог. Белеют здания. С грохотом рушится якорь, и с мостика остановившегося корабля развертывается перед пришельцами жизнь на берегу, кипящая и полнокровная.

Стихи Александра Сергеевича зазвучали для Александра Семеновича во всей силе их неотразимого могущества. Густав Максимилианович Воробьев, первый посредник между Александром Семеновичем и Александром Сергеевичем, читал стихи внятно, но не умел оделять их полнотой звучания, волшебной жизнью. В жарком, взволнованном чтении Луковского стихи преображались. Александр Семенович не только слышал — он видел теперь каждую строчку. Стихи становились физически ощутимыми в его непосредственном и жадном восприятии. Он по-разному воспринимал их.

Будоражащий холодок восторга охватывал его от дерзких политических выпадов поэта. Он понимал уже теперь, какое героическое мужество нужно было для этих одиноких уколов лезвием стиха в железную броню николаевской монархии.

Его очаровывали сказки. Из «Золотого петушка» он многое запомнил наизусть с голоса Луковского. «Поп и Балда» привел его в исступленное восхищение.

Стихи, написанные в подражание древним классикам, с трудными мифологическими именами и непонятными намеками и символами, оставляли Александра Семеновича равнодушным и даже поднимали в нем злость.

— Ну, чего это? — говорил он тоскливо Луковскому.— Это ненужное, Матвей Матвеевич! Пустая игра! Вроде как самого себя под мышками щекотать. Только даром время тратил Александр Сергеевич. Сам же говорил, что нужно сердца человеческие пламенем жечь, а вместо того спичками балуется.

Стихи Александра Сергеевича становились для Александра Семеновича неотделимыми от его жизни. Они врастали в нее, как кор-

ни в землю. Они связывались незримыми, но неразрывными связями с этим городом, с парками, дворцами, памятниками, с Россией, с человечеством.

И однажды, после такой прогулки, прощаясь при выходе из парка под матовым светом встающей из-за деревьев луны, Александр Семенович, крепко стиснув руку Луковского, сказал с внезапной тоской:

— Эх, Матвей Матвеевич! Человек для всего народа писал. Кровью, можно сказать, писал, надрывался. А многие ли его знают? И проклятая же жизнь наша была, если девять десятых России в такой серости жили, как я вот! Обязательно, Матвей Матвеевич, надо, чтоб каждому человеку Александра Сергеевича прочитать насквозь. Как вы полагаете?

Худые пальцы Луковского слабо дрогнули в здоровой ладони Александра Семеновича, и, откашлявшись, он конфузливо ответил надломленным голосом:

— Замечательный вы человек, Александр Семенович, и радостно думать, сколько таких людей освободила из тьмы наша страна.

8

Александр Семенович совещался у себя в кабинете с Воробьевым о проведении объявленной мобилизации нескольких годов, когда в распахнувшуюся без стука дверь ворвался Матвей Матвеевич Луковский.

Он подошел к столу и остановился, задыхаясь. На его зеленовато-землистых щеках передвигающимися кирпичными пятнами плавал румянец.

Александр Семенович и Воробьев удивленно смотрели на него. Луковский был явно и чрезмерно взволнован.

— Что такое случилось? — спросил, вставая и подвигая Луковскому стул, Александр Семенович.— Вы на себя, Матвей Матвеевич, не похожи! Словно черти за вами гнались. Садитесь, отдышитесь и рассказывайте!

Луковский сел. Спустя минуту, болезненно скривив рот, сказал:

— Извините, что я ворвался к вам, Александр Семенович, без предупреждения! Но, думаю, кроме вас, никто не поймет и не поможет.

— А в чем помочь нужно?

Луковский нервно забарабанил пальцами по краю стола:

— Я сейчас был в совдепе, Александр Семенович. Узнал, что председатель распорядился снести чесменскую колон

Александр Семенович, не сводя глаз с Луковского, приподнял плечи:

— Зачем?

— Как памятник старого режима. Видите ли, он мозолит глаза товарищу председателю.

Александр Семенович сощурил ресницы и пристальнее взглянул на Луковского.

— А может, и правильно, Матвей Матвеевич? — спросил он после долгой паузы.— Кому он на радость, этот столб? Для потехи его поставили, чтоб турецкую нацию унизить и генерала Орлова прославлять. Пожалуй что и не к месту он сейчас!

Луковский стремительно отшатнулся на спинку стула и поднял перед собой раскрытые ладони, как будто закрываясь от удара.

— Александр Семенович! — вскричал он жалобно.— Неверно же это! Может быть, на сегодняшний день это так. Но нужно же уметь смотреть и вперед. Сейчас нам нужнее всего черный хлеб, но ведь боретесь-то вы не за черный хлеб, а за то, чтобы каждый имел белую булку. Детское Село — это сокровищница искусства для будущих поколений, которую мы обязаны сберечь даже в самых тяжких испытаниях. Все здесь связано с памятью Александра Сергеевича Пушкина. Эта колонна им воспета, она бессмертна, как Пушкин! Что вы ответите вашим детям, когда они вырастут и спросят: где чесменская колонна, о которой мы читали, которую хотим видеть? Ее разрушили в год, когда в Детском Селе жил другой Пушкин, Александр Семенович, и он не захотел помешать этому бесцельному поступку...

Луковский захлебнулся словами, достал платок и вытер розоватую пену в углах губ.

Александр Семенович тяжело молчал, опустив глаза на изодранную клеенку стола. Неожиданный оборот, приданный делу Луковским, поразил и смутил его. Он раздумывал и колебался. Наконец поднял глаза и сказал с усмешкой:

— Нашел чем взять, Матвей Матвеевич! Хитрость это ваша, конечно. Черепушка у вас интеллигентская, разные ходы умеете пользовать. Ну ладно! Вместе в ответе будем. Попытаюсь... Вы, Густав Максимилианович, тут займитесь за меня, а я в совдеп пройдусь.

Александр Семенович застегнул куртку и вышел на улицу. Шел он медленно, в хмуром раздумье, а Луковский больной галкой ковылял сзади. У подъезда совдепа Александр Семенович вдруг резко повернулся и повелительно сказал спутнику, обращаясь на «ты»:

— Ты, Матвей Матвеевич, лучше иди домой и жди! Мы между собой скорей договоримся. А ты навредить можешь. Ступай!

И, махнув рукой, поднялся на крыльцо совдепа.

Председатель сидел в кабинете, осажденный десятком разозленных, обтрепанных баб, наступавших на него и кричавших зараз непонятные, но обидные слова.

Александр Семенович протиснулся сквозь бабью толпу, встал рядом с председателем и спокойно, сурово приказал:

— А ну, бабочки, повалите отсюда на минутку! Тут у нас

дело экстренное, а вы пока прогуляйтесь на верхнюю палубу, прохладитесь ветерком!

В его тоне было такое не допускавшее возражений спокойствие и сила, что женщины сразу стихли и, одна за другой, гуськом вытиснулись из председательского кабинета.

Председатель вытер вспотевшую шею и растерянно сказал:

— Просто замучили... Откуда я им возьму? И как это ты их выпер, просто понять не могу!

— Уметь надо с людьми обращение иметь,— ответил Александр Семенович, садясь на промятый диван и закуривая.— Нет в тебе, председатель, престижа! Егозишь, а народ этого не любит.

— Ты престиж! — обидчиво протянул председатель и спросил: — Зачем пришел?

Александр Семенович выпустил дым и неторопливо ответил:

— Дело есть... Ты мне скажи, с чего это ты с камнями воевать вздумал?

— Это то есть как понимать? — насторожился председатель.

— А вот прослышал я, что ты распорядился чесменскую колонну завтра сносить. Так, что ли?

— Ну? — Председатель еще больше насторожился.

— Глупость делаешь! Ни к чему это!

Председатель втянул в себя воздух и встал.

— Спасибо, конечно, товарищ Пушкин, за совет. Только ваше дело военное и внутреннего городского хозяйства не касается. Памятник старорежимный, торчит ни для чего, а камень первого качества. Мы его на братскую могилу употребим для жертв.

— Не выйдет,— мотнул головой Александр Семенович.— Задний ход, братишка! Не позволю я тебе этого,— сказал он спокойно и как бы вскользь.

Председатель выскочил из-за стола и остановился перед Александром Семеновичем. Глаза его блеснули злостью.

— Ты с каких пор хозяин? — спросил он угрожающе.—Чего путаешься? Или тебе люб памятник Катькиному мерину?

Александр Семенович усмехнулся.

— Если б мерин был, Катька бы его в постель не взяла, тебя подождала бы,— отрезал он, обретая былую военморовскую неотразимость языка.

Удар подействовал, и председатель завертелся на месте от обиды и невозможности найти подходящий ответ. Не найдя, озлился и грубо брякнул:

— Иди, товарищ Пушкин, по свои дела! Я человек занятой. Мне некогда с тобой препираться. Решение проработано — и крышка. Памятник снесем, а если мешаться будешь, я на тебя управу найду.

Александр Семенович встал и поправил пояс.

— Ладно! Будь здоров! — сказал он равнодушно, протягивая

руку.— Сноси! Только не забудь завтра с собой артиллерию прихватить. Без артиллерии не выйдет, братишка! Потому я сейчас у колонны охрану поставлю, пока тебя, дурака, разуму не научат.

И, не слушая председателя, хлопнул дверью.

Рано утром Луковский, снабженный пропуском и командировочным удостоверением, уехал в Петроград с подписанным Александром Семеновичем письмом в Комитет по охране памятников искусства и старины.

Через час вереница детскосельских буржуев, мобилизованных совдепом на общественные работы, мрачно потянулась через солнечный Екатерининский парк с кирками и веревками под предводительством заведущего городским благоустройством. Они подошли к игрушечному краснокирпичному Адмиралтейству, где был приготовлен паром для переправы к колонне, и начали грузиться.

Но, едва паром оттолкнулся от берега, на обочине постамента колонны словно чудом вырос часовой и, недвусмысленно щелкнув затвором винтовки, направил ее на паром, прокричав во весь голос:

— Ворочай назад! Стрелять буду!

Среди буржуев, набивших паром, вспыхнула паника. Бывший гофмейстер двора его величества, толкавший паром шестом по правому борту, бросил шест и, прыгнув в воду, не оглядываясь заспешил к берегу.

Операция сорвалась.

Вечером из Петрограда приехал уполномоченный Петроградского исполкома с грозной бумагой председателю совдепа — прекратить самочинные действия и не трогать ни одного камня в Детском Селе без разрешения из Петрограда.

Александр Семенович, гуляя вечером с Луковским, остановился на берегу против колонны и, прищурясь, лукаво кивнул головой в сторону ее тонкой гранитной свечи:

— Ввел ты меня, Матвей Матвеевич, в грех! Не по сердцу мне эта дубина. Только ради Александра Сергеевича спас. И не знаю, что ему в ней приглянулось.

9

Осень подходила в багрянце листвы, в холодке утренних хрустальных заморозков. Потом хлынули скучные, мелкие осенние бусенцы, заливая окрестности. По болотам пошли пузыри, гонимые ветрами и разлетающиеся брызгами. А под Псковом вспух и наливался гноем злобы генеральский пузырь Юденича.

Ночи и дни стали тревожными.

Гонимый ветрами интервенции, генеральский пузырь переползал по болотам, близясь к Петрограду.

К полночи, когда воздух становился плотным и звонким от холода, издалека доносилось тяжелое и глухое погромыхиванье

орудий. С каждым днем оно надвигалось, становилось громче и весомее.

Ежедневные прогулки Александра Семеновича с Луковским оборвались.

Начиналась иная, пахнущая мокрым ветром и кислотою пороха боевая жизнь, и Александр Семенович расстался с Александром Сергеевичем. Он не забыл о нем. Но события отодвинули Александра Сергеевича за страницы боевых и политических сводок, за проволочные заграждения, за ломаные ряды свежевырытых окопов.

Александр Семенович не покидал управления. Он засиживался с Воробьевым до поздней ночи и оставался ночевать там же, расстилая кожаную куртку на столе и подкладывая под голову связку старых газет.

В управлении наступала тревожная тишина. Потрескивала мебель, и в углу шуршали бумагой расшалившиеся мыши. Александр Семенович лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к нарастающему грохоту. Сон не приходил. Тогда из кармана куртки вынимался томик, и Пушкин читал Пушкина.

Он похудел, осунулся, зарос шершавой бородой.

В ноябрьское утро его тревожный и чуткий предутренний сон был прерван внезапными, сотрясающими дом раскатами. Он привскочил на столе, торопливо стал натягивать сапоги. И сейчас же в комнату вошел озабоченный Густав Максимилианович, держа в руках серую бумажку.

— В чем дело? — спросил Александр Семенович, прыгая на одной ноге.

— Юденич прорвал фронт. Белые у Павловска, в пятнадцати километрах южнее. Вам телеграмма из Петрограда, Александр Семенович!

Александр Семенович взял серый клочок. По нему тянулись лиловые, расплывшиеся на оберточной бумаге буквы:

«Коменданту детскосельского укрепрайона точка предлагается принять командование боевым участком точка принять меры недопущению противника город точка исполнении донести наштафронт».

Александр Семенович бережно сложил бумажку и сунул ее в карман куртки. Повернулся к военруку, серьезный и строгий.

— Ну, Густав Максимилианович! Подошла наша пора. Не сдадим Детского Села пузатому таракану!

Густав Максимилианович вытянулся:

— Какие будут распоряжения по участку, товарищ Пушкин?

10

Было еще темно.

Фонарь стрелочника, стоявший на столе, расплывался по стенам будки мутными пятнами света, но в окно уже начинал сыпаться синеватый пепел рассвета.

Александр Семенович поднял голову от распластанной на

столе двухверстки, протянул руку и, отломив краюху от буханки черного хлеба, вгрызся в нее.

— Сладкая пища черный хлебец! — сказал он военруку.— Лучше нет еды.

Медленно, со вкусом, прожевал хлеб, утер губы ладонью, посмотрел на светлеющий квадрат окна и вдруг засмеялся.

— Что вы, Александр Семенович? — спросил военрук.

Александр Семенович потянулся так, что хрустнули плечи.

— Свою жизнь вспомнил, Густав Максимилианович. И даже странно мне стало, как иногда жизнь человеческая оборачивается. Сколько места в России; одних городов не сосчитать сразу, а надо ж было мне попасть в Детское, к Александру Сергеевичу в гости! И пошла от этого моя тревога...

— Тревога? — удивился военрук.

— Ну, как это сказать правильней?.. Не знаю. Только от него я другим человеком стал. Много мне через него захотелось. И понял я, какие мы жили темные, словно слепые щенки. Возьмем меня, к примеру. Я ведь ничего, кроме революции, не смыслил. Да и к ней чутьем тянулся одним, вот как щенок ощупью титьку находит. А вот с Александром Сергеевичем повстречался, и нынче ясно мне стало, как много человеку знать нужно, и края тому знанию нет. В две жизни и то всего нужного не осилишь. Как это у Александра Сергеевича про разум сказано: «Да здравствуют музы, да здравствует разум...»

Александр Семенович замолчал и посмотрел в окно.

Тусклый фонарь на столе жалко мигал, уступая комнатушку холодной синеве морозной зари.

— Смешно мне теперь вспомнить,— продолжал Александр Семенович,— как я впервые перед памятником Александра Сергеевича стоял, как баран перед новыми воротами. Силюсь вспомнить: что такое? Знакомо как будто, а мозги еле ворочаются. И как я Александра Сергеевича насчет приверженности к царю заподозрил. Дура лопоухая! Ну, а теперь, Густав Максимилианович, как генералишек доконаем — многое нам откроется. Только успевай!

За окном, раскатившись дребезгом в закопченных стеклах, гулко ударил пушечный выстрел и забили сухим треском винтовки.

Александр Семенович нахлобучил бескозырку.

— Вы здесь оставайтесь, Густав Максимилианович, распоряжайтесь, а я пройду по окопам. Начинается, а бойцы молодые, необстрелянные!

В дверях Александр Семенович повернулся на мгновение.

— Вот, загадываю я, Густав Максимилианович: настанет ли такое время, когда не будет по всей России человека, который бы не знал Александра Сергеевича? И так полагаю, что настанет. Владимир Ильич недаром дело начинал, он обо всем додумал заранее,— и об том, чтоб народу свет разума дать, додумал.

Дверь захлопнулась.

Густав Максимилианович Воробьев несколько секунд смотрел

вслед ушедшему, часто мигая воспаленными от бессонницы веками. Потом сдвинул на лоб очки и платком протер глаза, внезапно заволокшиеся влажной мутью.

11

Бой гремел и грохотал над унылой осенней равниной.

Боевой участок отбивал третью яростную атаку ударных частей полковника Родзянко.

В будку, где сидел, управляя механикой боя, Густав Максимилианович Воробьев, только что явился связной с левого фланга участка с донесением командира роты.

Командир жестокими каракулями сообщил, что белые лезут напролом, и просил резервов. Густав Максимилианович посмотрел на связного бесконечно усталым взглядом.

— Передайте ротному, что никаких резервов больше нет. Пусть держится до последнего патрона и до последнего человека. Отступать нельзя и некуда,— нарочито сурово сказал он, сейчас же отводя глаза, зная, что этим приказом он обрекает на смерть сотню людей.

Связной вздохнул и взялся за ручку двери. Но дверь раскрылась сама, неожиданно и стремительно, ударив связного в плечо и отбросив его к стене.

На пороге стоял, задыхающийся и бледный, незнакомый красноармеец.

— Откуда?..— начал Густав Максимилианович.

Но красноармеец предупредил вопрос:

— Товарищ военрук,— сказал он, и губы его запрыгали в неудержимой судороге,— товарища Пушкина... убили... Несут его сейчас.

Забыв на мгновение обо всем, Воробьев выскочил наружу.

Четверо красноармейцев, хлюпая бутсами по подтаивающей грязи, несли на шинели вытянувшееся тело. Свисали сапоги, задевая землю при каждом шаге несущих.

Густав Максимилианович подбежал. Он увидел бледное лицо Александра Семеновича, восково-прозрачное и без кровинки. Полуоткрытый рот обнажил ровные молодые зубы.

Густав Максимилианович нагнулся над телом.

— Александр Семенович! Товарищ Пушкин!

Веки Александра Семеновича слабо дрогнули. Он открыл глаза и поглядел на военрука странным, отсутствующим взглядом. Облизнул побелевшие губы и с бессильной и мучительной улыбкой сказал:

— Не сдавай Детского, Густав Максимилианович! А я сыграл...

Густав Максимилианович выпрямился.

— Ребята! Мигом на патронную двуколку — и в город!

Красноармейцы подхватили шинель и быстрым шагом пошли за будку.

Густав Максимилианович машинально снял папаху. Плечи его ссутулились. Но сейчас же он обернулся на конский топот за спиной.

Подскакавший красноармеец оскалился торжествующей улыбкой:

— Товарищ военрук! Отбили! Бегут, сволочи, как зайцы! Наклали их полно болото.

12

Александр Семенович умирал.

Он лежал в крошечной лазаретной палате. Голова его, со спутанными волосами, росинками пота на лбу и запавшими глазами, глубоко ушла в подушки. Он часто и хрипло дышал.

У кровати, не сводя глаз с заострившегося лица, сидели Густав Максимилианович и Луковский.

— Пить! — сказал Александр Семенович, и Воробьев поднес к его губам кружку с холодным чаем.

Застучав зубами о край кружки, Александр Семенович отпил два глотка и опять опустился на подушки.

— Скоро кончусь,— произнес он ясно и спокойно, и от этого голоса Воробьев едва не выронил кружку.

— Ерунда, Александр Семенович! — сказал он лживо бодрым голосом.— Поправитесь.

По губам умирающего скользнула жалкая улыбка.

— Себя утешаете,— сказал Александр Семенович.— Не нужно это. Я знаю... Пуля кишки прорвала, с этого не выживают.

Он еще мучительней усмехнулся и тихо добавил:

— Как Александр Сергеевич помру! И рана такая же!

Луковский отвернулся к стене и странно засопел. Александр Семенович вытянул руку и коснулся его колена.

— Не горюй, Матвей Матвеевич! Видишь, как судьба обернулась. Думал ты, что помрешь раньше меня, а выходит наоборот.

Он закусил губы и беспокойно пошевелился от надвинувшейся боли.

— Жалко,— продолжал он через минуту,— не доживу до хороших времен. Переменится жизнь, дети подрастут, а я...

Он помолчал. Пальцы правой руки судорожно сжали одеяло.

— Ну что ж... Не всем жить! Кому-нибудь и умирать надо, чтобы другим жилось по-человечески. Не даром умру. Было за что... Не дойдет Юденич до Петрограда... Не пропустим... Верно?

— Не пропустим, Александр Семенович,— сдавленным голосом ответил Воробьев, стараясь говорить твердо.

Наступила долгая смутная тишина.

Внезапно Александр Семенович широко открыл глаза и схватил Воробьева за руку.

— Похороните меня,— голос Александра Семеновича стал

чистым и звонким,— похороните в парке, там, где братская могила...

Он замолк, поднял руку, провел по лбу и с извиняющейся улыбкой тихо закончил:

— Вздор это, конечно... Лежать все равно в какой яме.. Только припомнилось мне...

Александр Семенович вдруг приподнялся на локте и медленно, протяжно проговорил, как в бреду:

...Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать..

Вытянулся, словно прислушиваясь к этим звукам, и, опускаясь на подушки, прошептал:

— Слова какие, друзья! Какие слова!

Он закрыл глаза и как будто задремал.

Больше он не произнес ни слова до рассвета. Когда в палате посветлело, легкая дрожь прошла по его телу. Он пошевелился и уже неповинующимися губами прошептал что-то непонятное. Нагнувшемуся к нему Луковскому не удалось разобрать ничего.

Бульканье в горле оборвало речь умирающего.

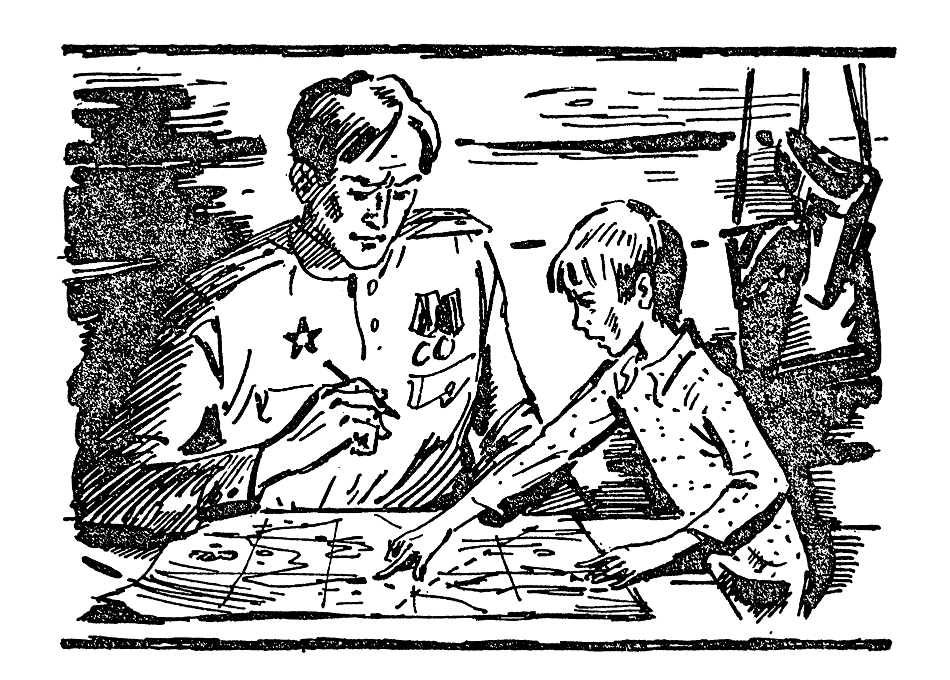
Александр Семенович впал в забытье.

Через полчаса он глубоко вздохнул и затих.

Густав Максимилианович и Луковский исполнили его просьбу. Александр Семенович Пушкин похоронен в братской могиле Александровского парка.

Октябрь — ноябрь 1936





РАЗВЕДЧИК ВИХРОВ

Он стоял перед капитаном — курносый, скуластый, в куцем пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрика. Его круглый носик побагровел от студеного степного суховея. Обшелушенные, посинелые губы неудержимо дрожали, но темные грустные глаза пристально и почти строго смотрели в лицо капитана.

Он, казалось, не замечал и не обращал внимания на краснофлотцев, которые, любопытствуя, обступили его, необычного тринадцатилетнего гостя батареи — этого сурового мира взрослых, опаленных порохом людей. Обут он был не по погоде: в серые парусиновые туфли, протертые на носках, и все время переминался с ноги на ногу, пока капитан читал препроводительную записку, принесенную из штаба участка связным краснофлотцем, приведшим мальчика.

«...был задержан на рассвете у переднего края постом наблюдения... по его показаниям — в течение двух недель собирал сведения о немецких частях в районе совхоза «Новый путь»... направляется к вам, как могущий дать ценные данные батарее...»

Капитан сложил записку и сунул ее за борт полушубка. Мальчик продолжал спокойно и выжидательно смотреть на него.

— Как тебя зовут?

Мальчик откинул голову, выпрямился и попытался щелкнуть

каблуками, но его лицо дрогнуло и перекосилось от боли, он испуганно глянул на свои ноги и понурился.

— Коля... Николай Вихров, товарищ капитан,— поправился он.

Капитан тоже посмотрел на его ноги, на порванные туфли и поежился от озноба.

— Мокроступы у тебя не по сезону, товарищ Вихров. Ноги застыли?

— Немножко,— застенчиво и печально сказал мальчик и еще больше потупился.

Он изо всех сил старался держаться бодро. Капитан подумал о том, как он шел всю ночь в этих туфлях по железной от мороза степи, и невольно пошевелил пальцами в своих высоких теплых бурках. Погладив мальчика по лиловой щеке, он мягко сказал:

— Не грусти! У нас другая мода на обувь... Лейтенант Козуб!

Выскочив из-за кучки краснофлотцев, маленький веселый лейтенант козырнул капитану.

— Прикажите баталеру немедленно подыскать и доставить ко мне в каземат валенки самого малого размера.

Козуб рысью помчался исполнять приказание. Капитан тронул мальчика за плечо:

— Пойдем в мою хату. Обогреешься — поговорим.

В командирском каземате, треща и гудя, пылала печь. Дневальный помешивал кочерыжкой прозрачные, налитые золотым жаром головешки. Розовые зайчики гонялись друг за другом по стене. Капитан снял полушубок и повесил у двери. Мальчик, озираясь, стоял у притолоки. Вероятно, его поразила сводчатая уютная подземная комната, сверкающая белизной риполина, залитая сильным светом подволочной лампы.

— Раздевайся,— предложил капитан,— у меня жарко, как в Артеке на пляже. Грейся!

Мальчик сбросил пальтишко, аккуратно свернул его подкладкой наружу и, привстав на цыпочки, повесил поверх капитанского полушубка. Капитану, наблюдавшему за ним, понравилась эта бережливость к одежде. Без пальто мальчик оказался головастым и худым. И капитан подумал, что он долго и крепко недоедал.

— Садись. Сперва закусим, потом дело. А то ты натощак, пожалуй, и рта не раскроешь. Чай любишь крепкий?

Капитан доверху налил толстую фаянсовую чашку темной ароматной жидкостью, неторопливо отрезал ломоть буханки, намазал на него масла в палец толщиной и увенчал это сооружение пластом копченой грудинки. Мальчик почти испуганно смотрел на этот гигантский бутерброд.

— Не пугайся,— сказал капитан, подвинув тарелку,— клади сахар.

И он толкнул по столу отпилок шестидюймовой гильзы, на-

битый синеватыми, искрящимися кусками рафинада. Мальчик посмотрел на него испытующим, осторожным взглядом, выбрал кусочек поменьше и положил рядом с чашкой.

— Ого! — засмеялся капитан.— Это не по правилам. У нас, брат, так чай не пьют. У нас заправляют на полный заряд. А это только порча напитка.

И он с плеском бросил в кружку увесистую глыбу сахара. Худенькое лицо мальчика неожиданно сморщилось, и на стол закапали огромные, неудержимые слезы. Капитан тяжело вздохнул, придвинулся и обнял гостя за костлявые плечи.

— Полно! — произнес он весело.— Брось! Что там было, то было, тут тебя никто не обидит. У меня, понимаешь, у самого вот такой же малец дома остался. Вся и разница, что Юркой зовут. А то все такое же — и веснушки, и нос пуговицей.

Мальчик быстрым и стыдливым жестом смахнул слезы.

— Я ничего, товарищ капитан... Я не за себя разрюмился... Я стойкий. А вот маму вспомнил...

— Вон что,— протянул капитан,— так мама жива?

— Жива,— глаза мальчика засветлели.— Только голодно у нас. Мама по ночам у немецкой кухни картофельные ошурки подбирает. Но раз часовой застал. По руке прикладом хватил. До сих пор рука не гнется.

Он стиснул губы, и из глаз его уплыла детская мягкость. Они блеснули остро и жестко. Капитан погладил его по голове.

— Потерпи! Выручим маму и всех выручим. Ложись, вздремни.

Мальчик умоляюще посмотрел на него.

— Я не хочу... Потом. Сперва расскажу про них.

В его голосе прозвучал такой накал упорства, что капитан не стал настаивать. Он пересел к другому краю стола и вынул блокнот.

— Ладно, давай... Сколько, по-твоему, немцев в районе совхоза?

Мальчик мотнул головой и сказал быстро без запинки:

— Пехоты один батальон. Баварцы. Сто семьдесят шестой полк двадцать седьмой пехотной дивизии. Прибыл на фронт из Голландии.

— О! Откуда ты знаешь? — спросил капитан, удивленный обстоятельностью и точностью ответа.

— А как же. Я ж цифры на погонах смотрел. И слушал, как они разговаривали. Я по-немецки могу, я в школе хорошо учился... Рота мотоциклистов-автоматчиков. Взвод средних танков на свиноферме. По северному краю бахчи стрелковые окопы полного профиля. Танковое вооружение — калибр примерно пятьдесят миллиметров. Два дота у них там. Здорово укрепились, товарищ капитан. Десять дней грузовиками цемент таскали. Сто девять грузовиков ввалили. Я из окошка подглядывал.

— Можешь точно указать расположение дотов? — спросил капитан, подаваясь вперед. Он понял, что перед ним сидит не обыкновенный мальчик, от которого можно узнать только самые общие сведения, а очень зоркий, сознательный и точный разведчик.

— Конечно, могу... Первый — на бахче, за старым током, где курганчик. А другой...

— Стоп! — прервал капитан.— Это здорово, что ты все так рассмотрел и запомнил. Но, понимаешь, мы же в твоем совхозе не бывали и не жили. Где бахча, где ток, нам неизвестно. А береговые десятидюймовые пушки, дружок,— не игрушка. Начнем наугад гвоздить, много лишнего попортить можем без толку, пока в точку угодим. А там ведь и наши люди есть... И мама твоя... Ты нарисовать это сумел бы?

Мальчик вскинул голову. В его взгляде было недоумение.

— Так разве у вас, товарищ капитан, карты нет?

— Карта есть... да ты в ней разберешься ли?

— Вот еще,— сказал мальчик с негодованием.— Папа же мой — геодезист. Я сам карты чертить могу. Не очень чисто, конечно... Папа теперь тоже в армии, у саперов командир,— добавил он с гордостью.

— Выходит, что ты не мальчик, а клад,— пошутил капитан, развертывая на столе штабную полукилометровку.

Мальчик встал коленками на стул и нагнулся над картой. Он долго смотрел, потом лицо его просияло, и он ткнул в карту пальцем.

— Да вот же! — сказал он, счастливо улыбаясь.— Как на ладошке. Карта у вас какая хорошая! Подробная, как план. Все видно. Вот тут, за оврагом, и есть старый ток.

Он безошибочно разбирался в карте, и вскоре частокол красных крестиков, нанесенных рукой капитана, испятнал карту, засекая цели. Капитан удовлетворенно откинулся на спинку стула.

— Очень хорошо, Коленька! — Он одобрительно погладил руку мальчика.— Просто здорово!

И, почувствовав непосредственную сердечность ласки, мальчик, на мгновение вернувшись в детство, по-ребячьи нежно прижался щекой к капитанской ладони. Капитан грустно покачал головой и сложил карту.

— А теперь, товарищ Вихров, в порядке дисциплины — спать!

Мальчик не противился. Сытная еда, тепло и только что законченная работа клонили его ко сну. Ресницы его слипались. Он сладко зевнул. Капитан уложил его на койку и накрыл полушубком. Мальчик мгновенно заснул. Капитан постоял над ним в раздумье, вспоминая сына и жену, вернулся к столу и сел за составление исходных расчетов для огня. Он увлекся и не замечал времени. Тихий оклик заставил его оглянуться. Мальчик сидел на койке. Лицо у него было тревожное.

— Товарищ капитан, который час?

— Спи! Плюнь на время. Начнется тарарам — разбудим.

Но мальчик не успокоился. Его лицо потемнело. Он заговорил настойчиво и торопясь:

— Нет, нет! Мне же назад надо! Я маме обещал. Она будет думать, что меня убили. Как стемнеет, я пойду.

Капитан изумился. Он не допускал и мысли, что мальчик собирается снова проделать страшный путь по ночной степи, который случайно удался ему однажды. Капитану показалось, что его гость еще не совсем проснулся и говорит спросонок.

— Чепуха! — сказал он.— Кто это тебя пустит? Если даже не попадешься немцам, то можешь случайно угодить в совхозе под наши снаряды. Только об этом я мечтал, чтоб тебя ухлопать в благодарность. Не дури! Спи!

Мальчик насупился и покраснел.

— Я немцам не попадусь. Они по ночам не ходят. Мороза боятся, дрыхнут. А я каждую тропочку наизусть... Пожалуйста, пустите!

Он просил упрямо и неотступно, почти испуганно, и капитану на мгновение пришла мысль: «А что, если вся эта история с появлением мальчугана и его рассказ — обдуманная комедия и обман?» Но, взглянув в ясные, печальные глаза, он устыдился своего подозрения.

— Вы же знаете, товарищ капитан, немцы никому не позволяют уходить из совхоза. Нагрянут случайно для проверки — меня нет, они на маме выместят.

В его голосе слышалась недетская тоска. Он явно волновался за судьбу матери.

— Не нервничай! Все понял,— сказал капитан, вынимая часы,— то, что думаешь о маме,— это очень хорошо... Сейчас шестнадцать тридцать. Мы пройдемся с тобой на наблюдательный пункт и еще раз сверим все. А когда стемнеет, я обещаю, что ребята тебя проводят как можно дальше. Ясно?

На наблюдательном пункте, вынесенном к пехотным позициям, капитан сел к дальномеру. Он увидел холмистую крымскую степь, покрытую серо-желтыми полосами снега, нанесенного ветрами в балочки. Рябиновый свет заката умирал над степью. На горизонте темнели узкой полоской сады далекого совхоза. Капитан долго разглядывал массивы этих садов и белые крапинки зданий между ними. Потом подозвал мальчика:

— А ну-ка, взгляни! Может, маму увидишь.

Улыбнувшись шутке, мальчик нагнулся к окулярам. Капитан медленно ворочал штурвальчик горизонтальной наводки, показывая гостю панораму родных мест. Внезапно мальчик, ахнув, отшатнулся от окуляра и затеребил рукав капитана.

— Скворечня! Моя скворечня, товарищ капитан. Честное пионерское!

Удивленный капитан заглянул в окуляр. Над сеткой оголенных тополевых верхушек, над зеленой крышей в пятнах ржав-

чины темнел крошечный квадратик на высоком шесте. Капитан видел его очень отчетливо на темно-серой ткани туч. Он поднял голову и несколько минут просидел, сдвинув брови. Неясная мысль, возникшая в его мозгу при виде скворечни, становилась все устойчивее. Он взял мальчика под руку, отвел его в сторону и тихо заговорил с ним.

— Понял? — спросил он, окончив разговор, и мальчик, весь просияв, кивнул головой.

Небо потемнело. С моря потянуло колючим холодком зимнего ветра. Капитан повел мальчика по ходу сообщений на передний край. Там он рассказал вкратце все дело командиру роты и просил скрытно вывести мальчика на подходы к совхозу. Два краснофлотца канули с мальчиком в темноту, и капитан смотрел вслед, пока не перестали белеть новые валенки, принесенные из баталерки по приказанию капитана. Было тихо, но капитан тревожно вслушивался — не загремят ли нежданные выстрелы. Выждав с полчаса, он ушел к себе на батарею.

Ночью ему не спалось. Он пил много чаю и читал. Перед рассветом пошел на наблюдательный пункт. И как только в серой дымке наступающего дня различил темный квадратик на шесте, к нему пришло хорошее боевое спокойствие. Он подал команду. Ахнув над степью грузным ударом, прокатился пристрелочный залп башни. Его гром долго висел над пустой степью. Капитан, не отрываясь, смотрел в окуляры и увидел ясно, как качнулся на шесте темный квадратик. Дважды... и после паузы в третий раз.

— Перелет... вправо,— перевел капитан и скомандовал поправку. На этот раз скворечня осталась неподвижной, и капитан перешел на поражение обеими башнями. С привычной зоркостью артиллериста он видел, как в туче разрывов полетели кверху глыбы бетона и бревна. Он усмехнулся и после трех залпов перенес огонь на следующую цель. И снова скворечня вела с ним дружеский разговор на понятном только ему языке. В третью очередь огонь обрушился туда, где красный крестик на карте отметил склад горючего и боезапасов. На этот раз капитан накрыл цель с первого залпа. Над горизонтом пронеслась широкая полоса бледного пламени. Могучей, курчавящейся шапкой встал дым, пепельный, коричневый, озаренный снизу молниями. В нем исчезло все — деревья, крыши, шест с темным квадратиком. Взрыв тряхнул почву, как землетрясение, и капитан с тревогой подумал о том, что он натворил в совхозе.

Запищал зуммер. С рубежа просили прекратить огонь. Моряки вышли в атаку и уже рвались в немецкие окопы. Тогда капитан передал команду Козубу, вскочил в приготовленный мотоцикл и в открытую помчался по полю. Его гнало нетерпение. От совхоза доносились пулеметный треск и щелчки гранат. Немцы, ошеломленные мощью и меткостью огневого удара батареи, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо и отхо-

дили. Бросив мотоцикл, капитан открыто побежал полем к околице по тому месту, где накануне появление человека вызывало шквал свинца. С околицы уже мигали веселые красные огоньки семафорных флажков, докладывая об отходе противника. Над садами плыл серебристый дым горящего бензина, и в нем глухо рычали рвущиеся боезапасы. Капитан торопился к зеленой крыше, среди надломленных тополей. Еще издали он увидел у калитки вышедшую женщину, закутанную в платок. За ее руку держался мальчик. Увидев бегущего капитана, он рванулся ему навстречу. Капитан с хода подхватил его, вскинул в воздух и стал целовать в щеки, в губы, в глаза. Но мальчику, видимо, не хотелось в эту минуту быть маленьким. Он изо всех сил упирался руками в грудь капитана и рвался из его объятий. Капитан выпустил его.

Коля отступил и с нескрываемой гордостью, приложив руку к шапке, доложил:

— Товарищ капитан, разведчик батареи Николай Вихров боевое задание выполнил.

— Молодец, Николай Вихров,— сказал капитан,— благодарю за службу!

Подошедшая женщина с потухшими глазами и усталой улыбкой застенчиво протянула руку капитану.

— Здравствуйте! Он так вас ждал! Так ждал... Мы все ждали. Спасибо вам, родные!

Она поклонилась капитану глубоким русским поклоном. Коля переводил взгляд с матери на капитана и улыбался.

— Отлично справился!.. А небось страшновато было на чердаке, когда снаряды посыпались? — спросил капитан, привлекая его к себе.

— Ой! Как еще страшно, товарищ капитан,— ответил мальчик чистосердечно-наивно,— как первые снаряды ударили — все зашаталось, вот-вот провалится. Я чуть с чердака не махнул. Только стыдно стало. Дрожу, а сам себе говорю: «Сиди! Сиди! Не имеешь права!» Так и досидел, пока боезапас рванул... Тогда сам не помню, как вниз скатился!

Он захлебнулся от наплыва ощущений, сконфузился и уткнулся лицом в полушубок капитана, маленький русский человек, тринадцатилетний герой с большим сердцем, сердцем своего народа.

Май 1942





ЧЕРНОМОРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Эсминец пришел с моря около полудня. К сумеркам все приборки и работы были окончены, и затихший корабль дремал у стенки, чуть-чуть подрагивая от непрекращающейся глубоко внутри корпуса работы механизмов. На бухту наплывала ночь. На западе над лилово-чернильной чертой горизонта еще алела узкая полоска заката в просвете встающей из-за моря тучи.

Штурман сидел в рубке, разбирая карты похода. В маленьком помещении было душно и жарко, и его потянуло на мостик подышать свежим ветерком наступающей ночи.

Он вышел и с наслаждением широко вдохнул несколько раз всей грудью солоноватую влажность похолодевшего воздуха.

Из-за переднего обвеса, снизу, с палубы, от носового орудия до него донеслись тихие голоса. Он шагнул к обвесу и заглянул вниз. У пушки сидели трое краснофлотцев и, отдыхая, разговаривали о своем. Вглядевшись, штурман узнал сквозь темноту сумерек разговаривающих. Это были — наводчик носового старший краснофлотец Рощин, подносчик краснознаменец украинец Загорулько и торпедист Новиков.

— Да,— донесся до штурмана голос Новикова,— одним бы только глазком взглянуть на Севастополь, как он дышит.

Наступило молчание, и немного погодя тихо ответил Рощин:

— Горько на него смотреть! Все побито, все попалено, и по той пустыне немец, сволочь такая, топает. Все развалил, а чего

в осаду не прикончил, то нынче до крошки покрал, ворюга.

— Все покрал,— подтвердил Загорулько.— Вот как мы ходили в десант под Керчью, то прибился к нам от партизан один хлопец. Так он сказал, что немец даже памятники обшарпал. И адмирала Лазарева, что против флотских казарм, и Тотлебена с бульвара, и самого Корнилова с Малахова кургана. Все на баржу погрузили и повезли до Германии.

— Насчет Лазарева и Тотлебена не скажу,— отозвался Рощин,— может, что и так, а про Корнилова брехня. Корнилова немец не взял. Корнилов сам ушел, а фашисту не дался.

До штурмана долетел короткий смешок Новикова.

— Видать, Вася, здорово ты притомился нынче в походе,— сказал он насмешливо.—Ты подумай, что говоришь. Что же он, Корнилов, живой, что ли? Его ж еще в ту оборону убили в самом начале, а тому сколько лет уже. Как же так памятник уйти может?

— Уж этого я не знаю, как,— недовольно ответил Рощин,— за что купил, за то и продаю. Так старики флотские рассказывают. Мичмана Лыткина знаешь?

— Который на тральщике?

— Ну да,— ответил Рощин,— седатый такой, усы врозь. Он еще с японской войны на действительной, чего только не знает. Так он это дело своим ребятам на тральщике рассказывал, а я от них слыхал.

— Ты кинь про Лыткина, говори про дело,— решительно потребовал Загорулько, видимо очень заинтересованный началом истории,— что ты тянешь?

— Сейчас... Вот, значит, как это получилось. Сами знаете, что в оборону до самого последнего часа корниловский памятник на Малаховом целый оставался. Кругом вся окрестность в воронках, в ямах, земля вовсе покалеченная, а памятник стоит, только подножие ему осколками да пулями покарябало. И сидит наверху адмирал, смертельно раненный, на одну руку опершись, а другой все вперед показывает, приказывает отстаивать Севастополь, лупить до конца немецкого гада. И при нем внизу знаменитый матрос Кошка стоит и все бомбу к мортире подносит. Кругом смерть, все кровью, как водой, залитое, а они держатся, в бойцах дух подымают. Ну, и было то уже вечером второго июля, когда немцы с румынами сквозь линии до самого города прорвались и уже на Корабельной были. А Малахов все еще из последних пушек отбивался. И никак к нему враги подобраться не могли. Залегли по всему скату до Килен-балки в воронках, зубами скрипят со злости и жадности, а наши их на прямую наводку берут и чешут частой гребенкой, аж пыль кругом идет. Видят они такое гиблое дело и шлют радио своей авиации, скликают самолеты на подмогу. Вмиг налетает целая туча этого воронья и давай долбать. Что на кургане, что на вулкане. Дым столбом, пламя до неба бьет. Уже и казематы прахом рассыпаются,

и орудийные дворики комьями бетона позавалило, и людей на куски рвет. Гром такой стоит, что море в Северной бухте дрожмя дрожит и рябью ходит. И настал такой час, что кончились все наши на Малаховом. Одни мертвые остались. И ни одного выстрела больше с макушки не слыхать. А уж темно совсем, ночь сошла, звезды повысыпали, только их через гарь почти и не видать. Тогда встают эти гитлеровы псюги в самый полный свой рост, автоматы в брюхо уперли и палят по кургану. Но им никто уже огнем не отвечает, некому отвечать: кругом одни трупы лежат порванные, поломанные. Стона, и того не слышно. И уже подходят немцы к самой вершине. Вдруг в тот миг зашевелился Корнилов на своем пьедестале. Опустил руку, обеими уперся в камень, ноги вниз спустил и слез к матросу Кошке. Берет его под руку, значит, и говорит: «Пора, Петр! Наше время пришло. Уходить надо! Мы с тобой старые севастопольцы. Постояли за Родину в свой час честно, до конца, и народ нас за то почтил. Мы и честному врагу с тобой не сдавались, матрос, а чтоб нас такие вывороченные свиные рыла в плен взяли — этому позору не бывать! Уйдем, Кошка!» Кошка, понятно, руку под козырек и отвечает: «Правильно говорите, товарищ адмирал!»

— Как же это он так мог ответить? — иронически перебил Рощина Новиков.— По-ихнему надо было ответить: «Так точно, ваше превосходительство».

— Тю на тебя! — цыкнул на Новикова Загорулько.— Чего цепляешься? Фантазии у тебя нет, Новиков... Это же сказка... Продолжай, Рощин!

— Может, он и сказал, Кошка-то: «Так точно, ваше превосходительство»,— потому что матрос был хороший, а хороший матрос всегда по правилу должен отвечать,— рассудительно заметил Рощин,— только это ж неважно. Вот Загорулько правильно говорит, что в тебе фантазии нет. Все тебе «что», да «как», да чтоб по арифметике сходилось, как дважды два четыре. Это вот, что я рассказываю, душой понимать надо. Не мог, говоришь, памятник от немца уйти, а ты припомни, как в школе Пушкина учат. Небось «Медного всадника» назубок брал. А там тоже за сумасшедшим памятник на коне через весь город гоняется.

— Равняешь,— ответил Новиков,— Пушкин когда жил? При нем еще в лешего да в ведьму верили.

— А ну тебя! — отмахнулся Рощин.— Скучный ты человек...

— Рассказывай дальше,— попросил Загорулько.

И Рощин продолжал:

— Тогда сошли они на землю вдвоем — адмирал с матросом. Огляделись вокруг, и опять Корнилов говорит: «Пройдем, Петр, по кургану, пока еще есть время. Посмотрим да послушаем, не бьется ли еще где жаркое краснофлотское сердце. Хорошо дрались наши внуки, дедовской чести не посрамили, себя перед народом оправдали не хуже нас. И народ им спасибо скажет.

А ежели есть тут между них кто-нибудь живой, то никак не

можем мы своего внука немцу на муки оставить. Немец на краснофлотца, как волк, ярится. Затерзает насмерть. А мы с тобой — моряки и живем по морскому нашему закону: «Все за одного, один за всех». И должны живого спасти». И пошли они тихонько по кургану. Подойдут к кому, наклонятся, послушают, вздохнут и дальше идут, а на вершине тихо, тихо стало. Видно, немец наконец сообразил, что никого уже не осталось на вершине, и стрелять перестал.

Так вот идут они медленно по гребню кургана, и нет кругом них жизни. Только вдруг слышит Корнилов — будто дыхание. Подошел — видит, раскинулся парень. Собой красивый, молодой, глаза закрытые, волосы от крови слиплись, а на голове бескозырка, и на ленточке — «Красный Кавказ». И широкая грудь его под тельняшкой чуть приметно колышется. «Смотри, Петр,— говорит Корнилов,— живой! Да красавец какой! Возьмем его, Петр, укроем от немца». И подняли они того комендора с «Красного Кавказа», неизвестного по имени, взяли с обеих сторон под руки и повели. А немцы с румынами уже на кургане стоят, как голодные волки. Но только не увидели они ничего своими буркалами. И прошли сквозь немецкие цепи севастопольский адмирал Корнилов, матрос Петр Кошка и краснофлотец, прошли невидимками, спустились с кургана, перешли балку и так тихим шагом дошли до Инкермана. А там поднялись по каменной лестнице до самой высокой пещеры в скале, вошли в нее, и как вошли, то спустилась за ними каменная глыба и накрепко прикрыла вход от врага. И остались они там ждать того часа, как придут наши опять в свой Севастополь. В тот самый миг, как войдут на Северный рейд дорогие наши корабли и забьется на них по ветру наш боевой морской флаг,— подымется тот тяжкий камень, откроет вход, и пойдут назад тем самым путем Корнилов, Кошка и наш браток краснофлотец, взойдут на Малахов и встанут на свой гранит, все трое, рядком, рука об руку, два деда и внук, чтоб навечно хранить от врага наш Севастополь, чтоб не достиг его в третий раз враг. И пойдут мимо них почетным маршем, под музыку, все черноморцы и весь советский народ и отдадут им воинскую почесть и земной всеобщий поклон...

Рощин замолчал.

— Спасибо, друже,— тихо сказал Загорулько и поднялся.— Очень хорошая история. Аж за самое сердце берет... Так и будет! Весь народ никогда не забудет севастопольцев. А Корнилова на кургане мы уже скоро увидим... Пошли в кубрик.

Встал и Рощин. Две тени растаяли в темноте.

Штурман постоял у обвеса, боясь пошевельнуться, словно ожидая продолжения услышанной сказки. Потом вынул портсигар, достал папиросу и, закуривая, с удивлением обнаружил, что огонек спички пляшет в его пальцах и что эта дрожь пальцев вызвана, несомненно, большим и теплым волнением. Волнение это было рождено сказкой Рощина. В ней была поэтическая, мудрая

прелесть, и она звучала как высокий символ народного уважения к героям и мученикам двух легендарных оборон легендарного города, как выражение глубокой веры народа в то, что город этот будет вновь возвращен родной стране.

Штурман докурил папиросу, вернулся в рубку и, присев к столику, не отрываясь, записал сказку на обороте испорченной карты.

1944





ПУБЛИЦИСТИКА

ДВЕ ВСТРЕЧИ С ФУРМАНОВЫМ

17 октября 1919 года я выписался из красноармейского госпиталя в Москве с незажившей раной. В госпитале царила настоящая голодовка. Вся пища раненых заключалась в нескольких вариантах: теплой воды с плававшей в ней размочаленной воблой, разваренной ржи и куска черного хлеба.

Жиров не было и в помине. От этого раздробленные кости ступни не срастались, рана не закрывалась.

Кое-как на костылях я добрался до штаба МВО и там выпросил себе назначение в распоряжение инспектора артиллерии Востфронта в Самару.

О Самаре шли слухи, что там вдоволь и масла, и сала, и белого хлеба. Эти фантастические слухи давали надежду, что усиленное питание поможет встать на ноги.

С трудом убедив начальника отдела формирований в том, что с одной ногой можно нести штабную работу, я обычным модусом передвижения, в нетопленой теплушке дотащился за трое суток до вожделенной Самары.

Но инспектор артиллерии фронта наотрез отказался принять одноногого инвалида. После долгих объяснений он отправил меня к секретарю М. В. Фрунзе — Савину. Савин, едва взглянув на меня, решил категорически.

— Отправляйтесь к Фурманову.

Почему? — спросил я.— Я жс не политработник, а строевой командир.

— Поговорите с Фурмановым,— коротко отрезал Савин, вручая мне записку.

Через десять минут я впервые увидел Фурманова. За столом сидел молодой человек, совсем юноша. Каштановые волосы пышной копной стояли над крутым гладким лбом. На щеках горел какой-то особенно нежный румянец, которому я и сейчас не могу найти иного определения, кроме девичьего. Он смотрел на меня ясными и теплыми глазами и чуть улыбался, читая записку Савина. Положил ее на стол и без всякого вступления огорошил меня вопросом:

— Вы сумасшедший или нет?

В те баснословные годы я был горяч и вспыльчив и, в свою очередь, спросил:

— А вы?

Фурманов улыбнулся. У него была какая-то особенная улыбка. Очень простая, интимная и обезоруживающая. Улыбнувшись, он пристально посмотрел на меня и, покачав головой, сказал:

— Видите ли, товарищ, с моей стороны в вопросе есть логика, с вашей — ни малейшей. Вы проситесь в строевую часть? А на кой черт, скажите, вы нужны в строевой части в таком виде?

Я буркнул что-то несвязное, но долженствовавшее убедить, что у меня неплохой вид и что я смогу лихо держаться где-нибудь в штабе бригады.

Дмитрий Андреевич помолчал, продолжая со скептическим любопытством разглядывать меня.

— Какое у вас образование? — спросил он неожиданно

— Военное?

— Нет. Военное мне известно из вашего предписания. Общее.

— Юридический факультет.

Он задумался, упирая в лоб кончик вкладыша. Потом быстро написал что-то на блокнотном листке. И, подняв голову, четко сказал мне:

— Пойдете в общежитие штаба фронта и получите койку у коменданта. А затем отправитесь на фронтовые курсы агитаторов и будете читать курсантам историю общественного движения в России.

От изумления и гнева я едва не уронил костылей.

Мне читать лекции? Мне, квалифицированному артиллеристу, командовавшему дивизионом и бронепоездом, с опытом штабной работы? Я совершенно озверел от такого оборота. Помню, что даже голос от злобы у меня сорвался на петушиный хрип:

— Я боевой командир, а не классная дама!

Ответ был, конечно, глупый. Но тогда было особенное время, когда даже люди с раздробленными ногами мечтали о полях сражений и боевых подвигах. И предложение читать лекции звучало как оскорбление.

Фурманов прищурился, и лицо его неожиданно стало твердым, а глаза блеснули довольно жестко.

— Вы где были на фронте? — спросил он сухо.

— На Украине.

— Так... Тогда понятно... Украинская партизанщина и отсутствие понятия о дисциплине. Забудьте эти штуки. Или вы пойдете на курсы, или сядете за отказ выполнить приказание.

Это было уже чересчур. Я шагнул к столу, чтобы ответить дерзостью, но от бешенства забыл о своей ноге. Рискованный шаг вызвал такую боль в разбитой ступне, что от нее и от злости мне стало нехорошо. Комната поплыла перед глазами. Очнулся я на продранном диванчике, прислоненном к стене. Фурманов заботливо поил меня водой. И говорил совсем другим, дружески упрекающим голосом:

— Ну-ну! Пей. Экий дурень! Прямо индейский петух. Тебе же, чудаку, добра хочу. Ну посмотри на себя — куда тебя в строй? Подлечишься, отдохнешь, тогда скачи, пожалуйста. Погляди-ка в зеркало.

На противоположной стене висело паршивое гостиничное трюмо в простенке между окнами. Я невольно взглянул в него. В тусклом стекле отразилась непрезентабельная фигура в рваной шинели, в сапоге, заштопанном после ранения куском черной кожи по желтой основе. Землисто-зеленая худая морда торчала из расстегнутого воротника шинели, и мне вдруг стало так жаль себя, что я с трудом удержал слезы. А Дмитрий Андреевич, смотря на мою развалившуюся обувь, грустно приговаривал:

— Ты ж в этих сапогах пропадешь. Я тебе записку дам на валенки. И вообще лечись. Может, в госпиталь хочешь?

Я отрицательно мотнул головой. После Москвы я боялся госпиталя, как буки.

— Ну ладно... Я тебя сейчас на бричке отправлю в общежитие. Дня три отдохни, а потом приступишь к лекциям...— И, словно безоговорочно уверенный, что я буду читать лекции, деловито спросил: — Ты ведь историю общественного движения знаешь? Если трудно будет, говори... Я тебе литературу дам.

Он был нежен, взволнован и заботлив, как старший брат. Вручил мне записку на валенки, вызвал секретаря и приказал отвезти в общежитие на своем комиссарском экипаже. Отлежавшись в общежитии, я успокоился и осознал всю правоту Фурманова.

Через три дня я приступил к исполнению своих лекторских обязанностей. Сперва было трудно и неловко — я никогда в жизни не занимался педагогикой. По конспекту курса убедился, что многое нужно восстановить в памяти и подчитать. Но обращаться за помощью к Дмитрию Андреевичу не хотел из ложного самолюбия. К счастью, в гарнизонной библиотеке нашлись нужные книги. Я обложился ими и серьезно взялся за курс. Прошло недели три. Я читал очередную лекцию в закоптелой казарме,

служившей аудиторией курсов. Неожиданно открылась дверь, и появился Фурманов. Курсанты встали. Я проковылял навстречу Дмитрию Андреевичу, но он прервал мой рапорт на полуслове:

— Не нужно. Продолжайте.

И сел на одну из парт.

Не знаю почему, но я заволновался. И, может быть, от этого волнения слова пошли как-то по-особенному четко и ярко. Дмитрий Андреевич, облокотясь на локоть, просидел до звонка. Курсанты шумно разошлись. Тогда Фурманов подошел ко мне.

— Ну вот видишь... А то уперся, как вол. Ведь хорошо читаешь.

Я неловко молчал. А Фурманов, точно не замечая моей смущенности, озабоченно раскрыл пухлый портфель, незабвенный портфель эпохи гражданской войны, и, вытащив довольно тяжелый сверток, сунул мне в руки.

На мой безмолвный вопрос он тепло и просто объяснил:

— Тебе питаться хорошо надо. Тут грудинки фунтов пять и масло.

В другие времена это подаяние могло бы быть сочтено обидой. Но в те годы мы понимали друг друга иначе и лучше. Я буквально почувствовал, как горячая волна подступила к горлу. Я безмолвно взял этот ценный подарок товарища — знак великой человеческой заботы. А Фурманов, переводя разговор на другое, словно избегая всякого намека на благодарность, сказал:

— Курсанты тебя очень хвалили. Вот в Ташкенте откроем красноармейский университет, закрепим профессором.— И сам улыбнулся неожиданности этого конца.

Больше мне не удалось встретиться с Фурмановым. Через две недели с поездом-типографией штаба фронта я выехал в Ташкент и по приезде заболел. Приехавший вслед за мной Фурманов направился в Семиречье, навстречу верненским событиям. А потом его вызвали в Москву.

Но я до сих пор помню теплые глаза, голос, улыбку и даже волшебный вкус копченой грудинки и желтого сибирского масла, которое я с жадностью поедал в тот вечер нашей второй и последней встречи.

1936

ПОМОЩЬ ЛЕНИНА

Чрезвычайно трудно конкретно ответить на вопрос, чем помогает в работе писателя изучение трудов В. И. Ленина, так как, по существу, нет той области и той темы, работая над которой можно было бы обойтись без точного и мудрого ленинского совета.

Будь это вопрос внутренней политики, экономики, международных отношений, военного дела, искусства и литературы, относящийся к любому историческому периоду, на него всегда можно

найти исчерпывающий ответ в собрании сочинений Владимира Ильича.

Ясность и острое своеобразие ленинской мысли зачастую двумя-тремя как бы мимоходом брошенными замечаниями открывают нужный предмет с совершенно неожиданной стороны, освещают его по-новому, придают ему особенное значение и содержание. У Ленина, помимо всего прочего, есть одно замечательное свойство. Какой бы вопрос он ни рассматривал, его мысль не подходит к нему как к изолированному явлению, что является обычным свойством даже крупнейших буржуазных ученых. Нет! Любой, самый, казалось бы, незначительный факт у Ленина связывается со всем комплексом явлений государственной и общественной жизни, в среде которой возникает данный рассматриваемый частный случай. И сразу все становится на свое место, и из отдельного факта рождается стройная и неопровержимая логическая система. Статья Ленина по данному вопросу превращается как бы в исчерпывающую энциклопедию, объясняющую вопрос со всех сторон.

В частности, статьи Владимира Ильича периода империалистической войны оказали мне большую помощь в работе над «Стратегической ошибкой». Без чтения мне вряд ли удалось бы систематизировать и привести к подчинению одной идее тот хаотически разрозненный материал дипломатических и военных документов и мемуаров, который я проработал в момент написания повести.

Огромную помощь Ленина я чувствую каждую минуту и сейчас, когда готовлюсь писать для юношества повесть о броненосце «Потемкин». Точное определение Лениным исторической сути и значения декабризма заставило меня в корне изменить мои взгляды на декабристов, в которых многое было навеяно «исторической школой» Покровского, в течение некоторого времени монопольно публиковавшей декабристские материалы и выдвинувшей ряд совершенно ошибочных положений и оценок, не считавшихся с обстановкой эпохи, ее идеями и ее политико-экономическим фундаментом. В свете переоценки этих моих заблуждений мне пришлось отложить работу над романом о декабристах и заново пересмотреть и взвесить весь собранный материал.

И в последней моей работе о французской интервенции в Одессе в 1919 году работы Владимира Ильича дают мне огромную и незаменимую помощь. Чрезвычайно интересно следить, как тесно увязываются и объясняют друг друга события 1905 года в русском флоте и в армии с событиями, разыгрывающимися в Одессе на кораблях и в сухопутных частях интервентов. И, читая статьи Владимира Ильича о «красном броненосце», порой перестаешь верить, что они написаны в 1905 году, до такой степени они точно объясняют события 1919 года. Начинаешь глубоко понимать всю важность и могучую силу науки о восстании которую с

такой проникновенностью и предвидением разрабатывал Ленин. Восстание, которое проводится с нарушением законов ленинской революционной стратегии, никогда не сможет быть доведено до победного конца, и именно незнанием ленинского закона гражданской войны и военно-революционной практики большевизма, выработанной Лениным, объясняется как крушение потемкинского, так и неудача восстания французских моряков в 1919 году.

Книги Ленина — лучшие друзья любого работника творческой мысли, и без советов Ленина невозможно добиться политической зрелости и точности художественного изображения жизни, составляющего задачу нашей литературы.

(1940)

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ

Путь, который мною пройден,— большой, долгий и нелегкий путь писателя...

Я пришел в советскую литературу, так сказать, уже бывалым солдатом... До 1917 года я прошел путь довольно сложных и трудных боев. Я должен сказать, что при всем моем отвращении к футуризму я некоторое время формально принадлежал к этому течению просто потому, что футуризм явился некоторой отдушиной в том страшном чугунном удушье, которым характеризуется эпоха реакции после первой русской революции, когда вся литература бросалась либо в арцыбашевщину, либо в безделушки, которыми занималось «общество свободной эстетики» в Москве под руководством покойного В. Я. Брюсова. Для того чтобы порвать это удушье, надо было идти на скандал. И весь футуризм был таким скандалом людей, которые пытались как-то разорвать эту страшную атмосферу.

Мы дождались праздника, мы дождались 1917 года и великого Октябрьского штурма, и с этого момента я резко повернул от футуризма, потому что чувствовал, что есть иной путь свободы, свободного, большого творчества.

Я очень рад, что 22 года тому назад в зафиксированном печатном выступлении я сказал под общий свист тогдашний: мое глубочайшее убеждение, что советский театр может развиваться, разовьется и достигнет самых больших побед на пути реализма.

Всю мою жизнь, начиная с Октябрьской революции, своим творчеством я служил делу реализма. Меня называли романтиком. Да, в моем реализме была большая доля романтики, и я это не считаю своим недостатком, считаю это достоинством потому, что соединение здоровой революционной романтики с реалистическим восприятием жизни, с трезвым подходом к этим явлениям — это лучшее, что может быть на писательском пути. И этот период моей жизни был трудным, потому что мне пришлось драться фактически на три фронта. С одной стороны, меня преследовали жесточайшим образом рапповцы как подозрительного

«попутчика», странного интеллигента, у которого нет никаких колебаний, который идет прямо навстречу революции. Били меня леваки-формалисты, которые меня считали вероотступником, потому что я ушел от футуризма. Били меня космополитствующие эстеты, которые тоже считали меня вероотступником. Драка была сильная, раны были тяжелые, не раз лежал я в госпитале, но преодолевал все это, преодолел потому, что я был уверен в правильности своего пути...

Что поддерживало меня в трудные минуты? Прежде всего вера в мудрость нашего народа, вера в то, что наш народ по-настоящему, по-здоровому понимает вопросы искусства. Поддерживала меня вера в мудрость руководства партии...

Все ли я сделал, что мог? Нет, не все, потому что и в этой борьбе иногда раны были настолько тяжелыми, что на некоторое время выводили меня из строя, заставляли, может быть, колебаться, пересматривать свои позиции, на время замолкать, ища стратегических путей к победе. Но я старался сделать все, что мог, и постараюсь, пока жив, сделать все, что могу, и в дальнейшем.

Повторю, очень трудно было, но я хочу просто сейчас привести стихи поэта, которого я очень люблю:

И не раз в пути привычном,
У дорог в пыли колонн
Был частично я рассеян
И частично истреблен.

Думаю, что и дальше я останусь невредим. Закалка у меня боевая есть, и не знаю, заслужил ли я лавры на свой памятник, но повторяю слова Генриха Гейне: «Я могу просить, чтобы на мой памятник положили меч, потому что я был честным солдатом в борьбе за освобождение человечества».

20 октября 1951 г.

К. М. СТАНЮКОВИЧ

Пятьдесят лет тому назад в Неаполе, вдали от родины, скончался Константин Михайлович Станюкович, автор замечательных произведений, посвященных морю, жизни моряков русского флота.

Тема моря и флота не пользовалась до Станюковича особым вниманием в нашей литературе. Страна, чьи морские рубежи тянутся на десятки тысяч километров, имеющая сильный и прославленный победами флот, страна, моряки которой совершили ряд замечательных кругосветных плаваний, обогатили своими открытиями и наблюдениями мировую науку, подарили миру новый огромный материк — Антарктиду, эта страна не имела писателей-маринистов.

Создать подлинно художественные произведения, открывающие читателю увлекательный мир морской службы, борьбы с

грозной стихией моря, показать образы и характеры русских людей, посвятивших свою жизнь морю, выпало на долю Константина Михайловича Станюковича.

Он родился в 1843 году в Севастополе, в семье командира севастопольского военного порта. Детские впечатления будущего писателя были связаны с морем. Первыми няньками и воспитателями ребенка были вестовые и денщики отца, простые русские люди, крепостные рабы в матросских форменках, ежедневно унижаемые и оскорбляемые, но сохранившие и в этой невыносимой жизни чувство человеческого достоинства, благородство сердца, чистый и светлый разум. Именно от этих людей юный Станюкович впервые услышал правду о темной изнанке флотской жизни.

В доме отца постоянно бывали офицеры Черноморского флота, участники знаменитых походов и битв русского флота. Их рассказами также заслушивался мальчик.

Еще до окончания Морского корпуса отец отправил юношу в большое плавание на корвете «Калевала». Он побывал в Китае, Японии, Индокитае. Это трехлетнее путешествие обогатило его новыми, яркими впечатлениями.

Станюкович начал тайком писать стихи еще в корпусе. Это были эпиграммы на корпусное начальство и порядки, и автору не раз грозило наказание за его литературные упражнения. Позже он попробовал писать более серьезные работы. Он послал в редакцию журнала «Морской сборник» статью «Мысли по поводу глуповцев г. Щедрина» и очерк «Жизнь в тропиках». Оба произведения были напечатаны. Так Станюкович стал писателем.

Выйдя в отставку, он вступил на трудный путь начинающего литератора, без средств, без связей в литературной среде и с неопределенными перспективами на будущее. Он напечатал в «Морском сборнике» еще несколько очерков, написанных на основе вынесенных из плавания впечатлений. Затем ему пришлось приняться за поденную литературную работу. Он писал театральные рецензии, статьи о пожарах, юмористические стихи, фельетоны, мелкие рассказы, а некоторое время учительствовал в деревне, не оставляя в то же время творческой работы. Ему удалось опубликовать в журнале сначала пьесу, а потом и первые свои романы, за которыми последовали многочисленные рассказы, очерки и публицистические фельетоны.

В 70—80-х годах писатель совершил две поездки за границу. По возвращении в Россию он был арестован, препровожден в тюрьму за сношение с русскими революционными эмигрантами в Париже и Швейцарии и через некоторое время отправлен в трехлетнюю ссылку в Томск.

Здесь и произошел решительный поворот в литературной судьбе Станюковича. Он обратился к той теме, которой было суждено стать главной темой его творчества и которой он посвятил последнее двадцатилетие своей жизни.

В 1886 году в журналах «Вестник Европы» и «Северный вестник» появились рассказы Станюковича «Василий Иванович» и «Беглец». Эти рассказы сразу обратили на себя внимание читателей своей яркостью, свежестью материала, романтикой морской стихии, подлинным гуманизмом, горячей любовью к людям, серьезной психологической разработкой характеров. Внезапный и шумный успех рассказов принес писателю большую радость и поддержал в нем бодрость духа. Он словно пережил вторую молодость.

Воспитанный на освободительных идеях 60-х годов, Станюкович вложил в свои морские рассказы и повести ненависть к «темному царству» русского самодержавия, выступил как обличитель жестоких нравов, фельдфебельской муштры, зверских расправ с нижними чинами, против аракчеевской атмосферы, царившей во флоте.

В морских повестях и рассказах Станюковича перед читателями проходит целая галерея моряков военного флота. С особенной любовью и сочувствием выписаны в этих рассказах матросы. Можно сказать, что Станюкович так же открыл читателю русского матроса, как Тургенев в «Записках охотника» открыл русского крестьянина. Перед читателем предстали обаятельные образы простых русских людей.

С большой симпатией отмечает писатель в своих флотских героях черты самоотверженности и героизма, характерные для русского матроса и с особой силой проявившиеся во время Севастопольской обороны. В рассказе «Матросик» матрос Кушкин, за ласковость, мягкость характера и душевную доброту любовно прозванный товарищами уменьшительным прозвищем «Матросик», проявляет во время грозного шторма изумительный героизм, сознательно жертвует жизнью ради спасения погибающего клипера и его команды.

Глубоко человечный и трогательный образ матроса создан Станюковичем в рассказе «Максимка», послужившем в наше время основой для художественного фильма.

В произведениях Станюковича есть и образы офицеров. Последовательный демократ по убеждениям, он отдает все свои симпатии передовому офицерству, мыслящему, несущему в морскую службу новые, гуманные начала; он искренне ненавидит крепостников, белоручек, аристократических выродков.

Гневно клеймит писатель таких представителей аракчеевщины на флоте, как Василий Кузьмич Остолопов, специалист по вышибанию матросских зубов, о котором с восхищением и восторгом рассказывает его достойный выученик, зверь-боцман Щукин, из рассказа «Своим судом». Щукин, полностью усвоивший педагогическую «науку» Остолопова, чистосердечно восхищается своим наставником: «Одно слово... лев был!.. Одному в ухо, другому, третьему, да так отчещет десятка два,

будешь, голубчик, помнить... И рука ж была у него! Ка-а-а-к саданет,— в глазах пыль с огнем — и морду вздует...».

Обличение темных сторон русской действительности в творчестве Станюковича носит, однако, половинчатый, недостаточно последовательный характер. Но этот протест влиял на читателя, заставлял его задумываться над важными вопросами,

Писатель глубоко чувствовал стихию моря, был ее прекрасным художником. Описания морской природы в произведениях Станюковича созданы рукой большого мастера. Советские читатели любят его морские повести и рассказы, овеянные поэзией моря, труда, высоких человеческих чувств.

Огромное влияние оказал Станюкович на формирование советских писателей-маринистов, которые многому учились и учатся у этого замечательного писателя.

Советский народ бережно хранит живое наследие Константина Михайловича Станюковича, большого писателя-реалиста, честного демократа, обаятельного человека.

(1953)

ВСТРЕЧИ С В. В. МАЯКОВСКИМ

(Из воспоминаний)

Осенью 1913 и 1914 годов, в разгар футуризма, я несколько раз встречался с Маяковским...

Как-то в 1913 году у меня состоялось собрание московских групп эго- и кубофутуристов. Созвано оно было по инициативе В. Шершеневича «для координации действий» обеих групп. Пришли оба Бурлюка, Шершеневич, Крученых, Большаков, Третьяков, художник и поэт Хрисанф (Зак), бывший идеологом эгофутуристов, Борис Фриденсон и еще два-три человека.

Разговор шел вяло и бестолково.

Давид Бурлюк утверждал, что никакой контакт и никакое объединение идейного порядка между обеими группами невозможны, что эгофутуристы, в сущности, вовсе не футуристы и узурпировали это название незаконно. Эгофутуристы занимаются формальным фокусничеством, будучи на деле реакционерами в основной творческой области, в языковой стихии, пользуясь тем же архаическим языком, которым пользовалась устарелая и подлежащая выбросу за борт современности поэзия прошлого, в то время как кубофутуристы ставят вопрос о полном обновлении поэтического языка, о создании новой, заумной речи, которой принадлежит будущее. Как же можно объединить два исключающих друг друга направления? Эгофутуристы уже самой приставкой «эго» подчеркивают свою узкую индивидуалистическую ограниченность, в то время как кубофутуристы ведут свой генезис от куба, от этого широкого, объемного трехмерного понятия.

— Вы эгоисты, а мы хлебниковцы, гилейцы, всемиряне,— говорил Давид.

На него яростно и бестолково набрасывались, спорили путано, в повышенных тонах и ни до чего, конечно, договориться не могли.

В течение всей этой бессмысленной перепалки Маяковский молча сидел на диване и занимался кошкой, устроившейся у него на коленях. Он лишь изредка бросал короткие злые реплики. В разгаре спора Давид вскочил и, указывая на Маяковского, закричал:

— Вот настоящий гилеец и кубофутурист!

Продолжая поглаживать кошку, Маяковский спокойно и как-то очень убежденно сказал, оглядев всех с каким-то недоумением:

— Дело не в этом. Я не «эго» и не «кубо», я пророк будущего человечества!

Фраза вызвала взрыв хохота. Особенно смеялась моя жена. Но Маяковский вдруг встал, и глаза его вспыхнули так ярко, что все замолчали. Лицо его сразу потемнело и замкнулось. Он как будто хотел еще что-то сказать, но неожиданно махнул рукой и быстро вышел. Собрание немедленно прекратилось...

...Я надолго расстался с Москвой и всей московской средой, уйдя на фронт. В Москве бывал редко, наездами и Маяковского не встречал. Слышал о нем много и с радостью читал «Войну и мир». Среди воя и визга могуче зазвучал трагический голос поэта.

Самого Владимира Владимировича я увидел уже после Октября...

...В 1918 году я встретил Маяковского в Настасьинском переулке в подвальчике, носившем название «Кафе поэтов». Я пришел с Давидом Бурлюком и какой-то футуристической поэтессой: носившей нечеловеческое имя и такое же нечеловеческое одеяние. Вместо кофточки у нее была надета на голое тело рыболовная сеть с мелкими ячейками. В этот вечер в кафе набилась масса народа. Вел программу шумевший тогда левый эсер Блюмкин, который позже убил германского посла Мирбаха, подав сигнал к началу бездарного путча левых эсеров... Развязный и крикливый, отрастивший бородку «под Троцкого», Блюмкин держался в кафе хозяйчиком и командовал парадом. Почти все столики были заняты матросами особого полка, которые должны были на следующий день отправляться на Южный фронт... Матросы сидели, не выпуская из рук винтовок, обвешанные гранатами, и потихонечку попивали, под видом чая, из чайников подкрашенный спирт. Они веселились и радовались, как дети. На эстраде сменяли друг друга поэты Кусиков, Шершеневич, Ивнев, Спасский, Панайоти, Кларк. Неожиданно на эстраду выскочил какой-то безголосый пошляк, который козлиным голосом запел популярную тогда у обыватель-

щины песенку:

Солдаты, солдаты по улице идут,
Солдаты, солдаты играют и поют!

Не успел он допеть первого куплета, как раздался оглушительный удар, словно выстрел из крупнокалиберного пистолета. Все вскочили с мест, матросы вытаскивали «шпалеры». Оказалось, что это Маяковский грохнул кулаком по столу. Встав во весь рост, он во всю мощь своего голоса крикнул:

— Хватит! Вон с эстрады! Стыдно давать людям, которые идут на фронт защищать революцию, паскудную пошлятину. Уберите эту сволочь!

Вспыхнул скандал. Часть матросов поддержала Маяковского аплодисментами. Другие полезли в бутылку. Начался ор и ругань. Мелькали револьверы, с поясов снимались гранаты. Блюмкин орал с эстрады Маяковскому:

— Вы думаете, Маяковский, что ваши стихи понятны матросам? Им гораздо ближе эта песня!

Среди гама прозвучал спокойный ответ:

— А вот попробуем.

Спустя секунду, оттолкнув Блюмкина, Маяковский уже стоял на эстраде, засунув руки в карманы, высоко подняв голову, и читал «Наш марш». Читал с огромным подъемом, вдохновенно, и после чтения матросы буквально вынесли его с эстрады на руках под бурю оваций.

10 марта 1956 г.

МОЕМУ ЮНОМУ ДРУГУ...

Есть у меня совсем юный друг. К нему я сейчас обращаюсь. С ним хочу поделиться некоторыми воспоминаниями, сравнениями, раздумьями.

Действие происходит полвека назад в большом городе на берегу полноводной реки, недалеко от моря. В этом городе живут сто тысяч человек.

Темная, как чернила, летняя ночь юга. Сверкают в вышине серебряные капли звезд. Чуть слышно шуршат под ночным ветерком тополи и акации.

Пройдемся по городу и начнем нашу прогулку с окраин. Немощеные улицы, на которых лежит слой мелкой, как пудра, пыли. Каждый шаг подымает облака этой душной, вызывающей кашель пудры. Повсюду ямы и колдобины, в которых, того и гляди, сломаешь ногу. Никакого света на этих улицах нет. Кромешная тьма. Лишь кое-где на пуховик пыли ложится бледная полоска отсвета керосиновой лампочки, тускло горящей за окном в этот поздний час. В ночную тишину врывается вдруг отчаянный вопль: «Караул! Грабят!» Крик обрывается стоном, и снова тишина. Слышен только глухой топот быстро бегущих ног. Продолжая наш путь, мы неожиданно

натыкаемся на лежащего в пыли человека. Он хрипло дышит. Зажигаем спичку и видим, что человек держится рукой за бок и между его пальцами текут струйки крови. Он еще жив, но глаза его уже тускнеют. Нужна срочная помощь врача. Но врачи не живут на окраинах. Нужно позвонить по телефону, вызвать «скорую помощь». Но телефон в городе — роскошь. Древние телефонные аппараты, похожие на шарманку, имеются только у немногих богачей в центре города. Да если бы и нашелся поблизости телефон, звонить некуда. Никакой «скорой помощи» в городе нет. Истекая кровью, ограбленный бандитами человек умирает на улице. Никто не поможет. Никто не рискнет выйти на улицу, боясь за свою жизнь. И зачем, собственно, беспокоиться? Это — самое обычное ночное происшествие на этих улицах. Утром пройдет городовой, остановит проезжающего ломовика. Вдвоем они грубо, как мешок, бросят мертвое тело на подводу и свезут в морг у старинных городских ворот. А если ограбленный еще жив, то его сдадут в больницу «богоугодного заведения», в набитую людьми, как матрац клопами, убогую палату с потеками дождевой воды на потолке.

Мы продолжаем наш путь по улицам. За поворотом из раскрытых освещенных окон единственного здесь двухэтажного дома летят звуки расстроенного пианино и визгливой скрипки. Слышен топот танцующих, крики женщин, пьяные голоса мужчин. У подъезда ярко горит фонарь с красными стеклами. Это самое страшное, самое проклятое место города — публичный дом. Здесь за гроши продается на час, на ночь женское тело. Женщине, которую загнала сюда беспросветная нужда, есть отсюда единственный выход — в безыменную яму на кладбище, где хоронят безвестных покойников, где над проваленными холмиками нет даже креста. Когда мы проходим мимо этого страшного дома, парадная дверь распахивается и вылетевший из нее человек плюхается в пыль. Это швейцар публичного дома, «вышибала», огромный мужчина нечеловеческой силы, выбросил за дверь учинившего пьяный скандал или не заплатившего за женское тело гостя.

Но уйдем скорее от этого дома. Уже наступает рассвет. Из приземистых убогих домишек с камышовыми крышами выходят нищенски одетые люди. Это потянулись на работу рабочие городских предприятий и портовые грузчики.

Их трудовой день начинается на заре и кончается с наступлением темноты. В жалких узелках они несут с собой еду на день — ломоть посоленного черного хлеба и твердую, как гранит, воблу-тарань. Один за другим они исчезают в грязных, задымленных, прокопченных зданиях, где в тумане от копоти и махорочного дыма едва можно найти свое рабочее место. Начинается день каторжного труда. Стучат и трещат расхлябанные допотопные станки, шелестят ничем не огражденные

приводные ремни, пощелкивают шкивы, льется в формы расплавленный металл, наполняя помещение едким дымом. Никакой вентиляции нет. Люди захлебываются кашлем, глаза наливаются кровью. Ходит, приглядываясь ко всему злыми глазками, цепной пес хозяина — мастер. Он придирается к рабочим из-за любой, мельчайшей оплошности, а то и без всякой оплошности. Записывает неугодным штраф без всякой причины. Вот взял у рабочего выточенную деталь, повертел в колбасках пальцев и с размаху ткнул ею рабочего в лицо с отвратительной руганью. Стекает по губе кровь, но нужно молчать. Вчера нашелся дерзкий смельчак, который ответил ударом на удар мастера. Его тут же выгнали с волчьим паспортом, с которым нигде не возьмут на работу. Но что это за шум? Почему все бросились в угол цеха? Там, на полу, прислонясь потной спиной к грязной стенке, сидит бледный как мел человек, придерживая левой рукой изуродованную, окровавленную, беспомощно повисшую правую руку. Ничего особенного! Рядовой случай! Рука попала в неогражденное колесо машины. В одно мгновение человек стал инвалидом.

Его, конечно, сейчас отвезут в больницу, будут лечить, семье дадут пособие, за ним сохранится зарплата за время лечения?.. Что? Вы в своем уме? Будет хозяин нести убытки из-за ротозейства пострадавшего, который сам виноват в своем несчастье!

Обернули искалеченную руку грязной промасленной тряпкой, которой вытирают станки, и ступай домой. Деньги на извозчика? Это что за блажь? Дойдет и так, не велик барин! В одну секунду сломана не только рука, но и вся жизнь человека, и он выброшен на улицу, обречен на нищенство. Таков закон буржуазного мира. Человек человеку — волк. Рабочий — быдло, а жалость — чувство, недопустимое в деловой практике хозяина. Разве что хозяин окажется «гуманным» и выдаст пострадавшему по своей воле засаленную пятерку. Живи на нее богато!

Пройдем теперь в порт. На просторе реки стоят десятки больших грузовых пароходов с флагами разных стран. Все они пришли сюда за золотой, полновесной русской пшеницей. Сейчас погрузочный сезон в разгаре. У бортов пароходов стоят баржи, полные зерна, которое переходит в глубокие трюмы пароходов. Здесь мешки с зерном подымаются стрелами. А у причалов капитаны пароходов считают лишним тратить пар на работу лебедок. Погрузка идет вручную. По качающимся и трещащим сходням вереницей идут люди, гнущиеся под тяжестью мешков. Обломается, не выдержав тяжести, гнилая сходня, десяток людей слетит в воду — не беда. Еще только сентябрь, вода не холодна, купанье полезно. Ну, а если какой-нибудь неудачник утонет, так что же? В животе и смерти бог волен. А тем, кто выплывет, приказчик владельца зерна набьет морду за то, что утопили мешки.

Полдень. На четверть часа останавливается погрузка На берегу гостеприимно распахнула двери «казенка» — лавка, торгующая водкой. Грузчики входят и выходят с «мерзавчиками» в руках. Удар в ладонь — пробка вылетает, грузчик опрокидывает маленькую бутылочку в разинутый рот и закусывает воблой. Так каждый день, год, десять, двадцать лет, пока не ослабеют узловатые, намозоленные руки, не надорвется спина, не наживется грыжа. И тогда ступай на улицу протягивать руку за подаянием и подыхай во вшивой ночлежке!

Но вот девятый час утра. По улицам города пробегают фигуры мальчиков в серых шинелях и синих фуражках с серебряными гербами и девочек в форменных платьицах с пелеринками. Это гимназисты и гимназистки спешат на занятия.

В городе сто тысяч населения. Из них около двенадцати тысяч детей школьного возраста. Но в двух мужских и трех женских гимназиях учатся две тысячи. Остальные лишены возможности получить среднее образование. Это «кухаркины дети», дети рабочих и низших служащих, у которых нет средств платить за право учения, которых, даже если у родителей и заведутся нужные гроши, не принимают в гимназии, чтобы не смешивать их с детьми из «приличного общества». Это, наконец, еврейские дети, для приема которых установлена царским правительством трехпроцентная норма. На класс в тридцать человек полагается один еврей, не больше. Исключения допускаются для детей еврейских богачей за крупные даяния гимназическому начальству. С завистью смотрят на счастливцев, идущих в гимназии, лишенные этого счастья дети. Но не все гимназисты имеют возможность продолжать образование в высших учебных заведениях. Опять нужно платить за право учения от ста до трехсот рублей в год да еще посылать студенту деньги на житье в университетском городе. А средний чиновник в царской России получает пятьдесят — шестьдесят рублей в месяц. И половина выпускников мужских гимназий заканчивает образование аттестатом зрелости и поступает на службу в родном городе, чтобы тянуть по стопам отцов служебную лямку за те же гроши. Еще хуже положение девушек. Только единицы попадают в высшие учебные заведения, да и то только медицинские и педагогические. Двери технических учебных заведений наглухо закрыты для женщин. Получила аттестат зрелости — и сиди дома, тоскливо жди жениха, чтобы как-нибудь устроить свою маленькую, душную судьбу. Жизнь идет вяло, беспросветно. В театр часто не пойдешь — не по карману. А сидеть на галерке за двадцать копеек для девушки «из общества» неприлично. Единственное развлечение — смотреть фильмы в разных «иллюзионах» и «биоскопах».

Но вот мы на большой торговой площади города. Что здесь происходит? Что это за огромная толпа деревенских девчат, босых, простоволосых, которые заполнили всю площадь, стоят,

сидят, лежат прямо на грязных булыжниках мостовой? Между ними ходят какие-то откормленные субъекты в холщовых пыльниках и белых картузах, подходят к девчатам, бесцеремонно разглядывают их. Похоже на рынок рабов в древней Кафе — Феодосии, куда крымская орда после набегов сгоняла пленниц на продажу в чужедальние страны.

Да, это современный рынок рабынь. Безземелье, нищета, забитость погнали их сюда, на плодородные земли Екатеринославщины, Херсонщины, Северной Таврии, в поисках грошового заработка у помещиков в качестве полевых батрачек. Они тянутся сюда не только с Украины, но и из русских губерний. Их босые ноги стерты до крови, тяжкую дорогу большинство проходит пешком — на железнодорожный билет нет денег. Они ждут работы, в их глазах отчаянная надежда и слезы. Люди в пыльниках и картузах — управляющие имениями графа Мордвинова, «великого князя» Михаила Николаевича, фон Таля, Синельникова, Тропина, Фальц-Фейна, некоронованных земельных магнатов, владельцев десятков тысяч десятин чернозема. В помещичьих экономиях девушки-батрачки живут в темных грязных бараках с вонючими нарами, кишащими клопами. С первыми проблесками рассвета их гонят в поле на работу, под беспощадное южное солнце. Горят обожженные руки, трескаются губы. Работа идет до ночи. Кормят кулешом из гнилого пшена с тухлым салом. За всякую провинность хлещут по щекам, таскают за косы, лупят нагайками. Вычитают штрафы из микроскопической платы, и часто, проработав все лето, дивчина уходит в покинутую весной родимую хату, заливаясь слезами, завязав в жалкий узелок два-три рубля за три месяца непосильного изнуряющего труда. Нередки смерти от изнурения на поле, солнечные удары. Бывают и самоубийства замученных и опозоренных девушек.

А рядом с огромными массивами помещичьих земель ютятся жалкие клочки крестьянских запашек. Да и то земля эта часто не своя, а арендованная у помещика за высокую плату. Обработка крестьянского поля идет древними, как мир, методами, даже на черноземе урожай плох. Хлеба не хватает от осени до нового урожая. В самой деревне зверствуют кулаки, выжимая из бедняков последние соки. Вечером после трудового дня в деревне темно, как в могиле. Керосин дорог, его не напасешься. Ни книги, ни газеты. Да и зачем, когда в деревне девяносто процентов неграмотных? Всякий командует мужиком: земские начальники, мировые судьи, становые пристава, урядники, волостные старшины, писаря, попы и дьячки — все сидят на мужицкой спине. А попробуешь распрямить спину и сбросить дармоедов — отдерут розгами при всем честном народе, а то и бросят в тюремную камеру. Целыми селениями снимались крестьяне с родных мест и шли искать счастья в далекие края — Казахстан, Сибирь, Камчатку. Многие ложились в мо-

гилы на трудной дороге, а кто добирался до цели — узнавал, что и на новых землях те же порядки, тот же гнет и ярмо раба.

Вечером в городе ходят друг к другу в гости представители «хорошего общества». Играют в преферанс «по маленькой», судачат, сплетничают, заводят мелкие, грязные интрижки с осатанелыми от скуки женщинами, пьют, разговаривают о чинах и орденах, о наградных.

Свинцовая, мутная тоска висит над городом, и кажется что нет из нее выхода, как нет выхода из нищеты и бесправия окраин.

Вот я показал тебе, мой молодой друг, частицу жизни старой России.

Сравни же эти страшные картины прошлого с нашим солнечным сегодня. Сегодня в моем родном городе, где живут уже сто пятьдесят тысяч человек, есть три высших учебных заведения, несколько техникумов, до пятидесяти средних школ. Обучение в средних школах обязательно для всех детей школьного возраста, независимо от социального положения и национальности. Аттестат школы открывает всем широкий доступ и к работе, и к высшему образованию. Для девушек широко раскрылись двери технических вузов, и у нас есть уже много женщин инженеров всех специальностей, а также кандидатов и докторов различных наук. В вузах моего города прекрасные, хорошо оборудованные, почти бесплатные общежития для иногородних студентов, столовые, где кормят вкусно и питательно. Студенты обеспечиваются стипендиями от государства — только учись хорошо, чтобы стать полезным гражданином родины.

Маленький металлургический заводик превратился в гигантский завод имени Петровского. Исчезла профессия грузчика — погрузки в порту сплошь механизированы. За городом выросли грандиозные корпуса консервного завода и текстильного комбината. Каховка обеспечивает их энергией. На смену уродливым, кривым хибаркам окраин встали красивые белоснежные дома рабочих поселков с удобными светлыми квартирами. В цехах — солнце, воздух, цветы. Для детей созданы ясли, детские сады, и матери-работнице не приходится больше тревожиться за судьбу ребят, брошенных дома на произвол судьбы. На том месте, где стоял страшный публичный дом, теперь прекрасный клуб. При заводах собственные амбулатории и клиники, где рабочие получают бесплатную медицинскую помощь. Несчастные случаи на производстве стали редкостью. Охрана труда зорко следит за безопасностью. Тысячи инженеров, техников и рабочих получают во время отпуска бесплатные или льготные путевки на лучшие курорты родины. В заводских клубах выступают артисты, и год от году расцветает самодеятельность, многие участники которой удостоены премий на всесоюзных конкурсах. Многие передовики производства стали государ-

ственными деятелями, с гордостью носят на груди значки депутатов Верховных Советов страны.

Стала совсем иной жизнь нашего колхозного крестьянства. Лампочка Ильича внесла в деревню не только электрический огонек, но и свет культуры. Книга стала насущной потребностью колхозника, и почти в каждом доме есть полочка с произведениями любимых авторов. На полевых работах появились чудесные машины, облегчившие издревле тяжкий крестьянский труд. В область сказок ушли пестрядинные зипуны и домотканые свитки. Лапти и постолы лежат только в витринах этнографических музеев. В домах водопровод, радио, телевизоры. Деревенскую клячу и скрипучую телегу сменили велосипеды и автомобили. Гордо распрямилась согбенная веками крестьянская спина. Советское крестьянство стало надеждой и опорой страны в ее победном движении к коммунизму.

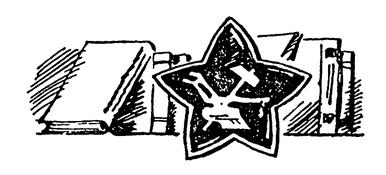
Это чудо волшебного превращения страны совершил Великий Октябрь!

Задумайся над этим чудом, мой молодой друг!

Подумай, сколько труда, пота и крови вложили люди старшего поколения в великое дело Коммунистической партии Советского Союза, которая создала для вас светлую и счастливую жизнь. Вспомни с благодарностью тех, кто в тяжелых боях отдал жизнь за это счастье, за приближение коммунистического будущего!

Преклони голову перед героическими подвигами народа, ведомого партией, храни верность партии, береги единство ее рядов, будь верным сыном родины, готовым в любую минуту встать на защиту ее покоя и благоденствия! Таким, как тебе, достается замечательное наследство! Будьте достойны его и продолжайте вести родину по пути, указанному первым гражданином родины, вождем и учителем нашим — Владимиром Ильичем Лениным!

1957



КОММЕНТАРИИ

РОДОМ ИЗ РЕВОЛЮЦИИ.

Каносса — замок, где в 1077 г. император Генрих IV вымаливал прощение у своего политического противника римского папы Григория VII. Выражение «идти в Каноссу» стало означать «сдаваться на милость победителя».

Ака́фист — род хвалебного песнопения. Здесь — переносно.

АВТОБИОГРА́ФИЯ.— Известны две автобиографии Б. А. Лавренева: «Короткая повесть о себе» (1958) и публикуемая в настоящем издании. Эта автобиография написана в 1957 г. для сборника «Советские писатели. Автобиографии в двух томах». В редакции, пересмотренной и исправленной писателем, она была, уже после его смерти, напечатана в журнале «Новый мир» (1959, № 4).

...поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества? — Увлечение живописью началось у Лавренева еще в юношеские годы в Херсоне. Там на различных выставках экспонировались его картины и этюды. В 1920—1921 гг. в Туркестане интерес Лавренева к изобразительным искусствам окреп и углубился, но теперь он работает в основном в области графики и книжной иллюстрации. Став писателем, Лавренев продолжал внимательно следить за развитием живописи, графики, скульптуры, что отразилось в его статьях о творчестве художников Д. А. Шмаринова, В. Н. Яковлева, иллюстраторах Гоголя, а также в романе «Гравюра на дереве» (1928).

...одно из этих стихотворений... — О каком стихотворении здесь идет речь, пока не установлено.

...цикл моих стихов был напечатан... — Во второй книге декадентского альманаха «Жатва» за 1912 год помещены легенда «Маки», стихотворения «Сказка вечерняя», «Февраль», «Мука рассвета».

...Маяковский швырнул ошеломляющие строчки... — Цитируются строки из стихотворения «Еще Петербург» (1914).

Эгофутуризм — литературное направление, одно из течений в русском футуризме, сложившееся в 10-х гг. Наряду с писателями буржуазными по характеру своего творчества, в эгофутуризм входили и поэты, протестовавшие против буржуазного образа жизни, но с позиций крайнего индивидуализма (ego — по латыни «я») и мелкобуржуазного анархизма. К эгофутуристам принадлежали Северянин, Ивнев, Большаков, Шершеневич и др. В Москве недолго существовало издательство эгофутуристов «Мезонин поэзии».

Моя практика в лоне эгофутуризма... — В 1913—1914 гг. в альманахе «Мезонин поэзии» было опубликовано четыре сти-

хотворения Лавренева. Тогда же одноименное издательство сообщило о выходе двух книг Лавренева — «Поэмы» и «Воздушный кораблик». Издание осуществлено не было.

...«дыр-бул-щырять».— От строки «дыр-бул-щыр» из стихотворения А. Е. Крученых, одного из участников литературной группы, известной под названием «кубофутуризм»; работал над созданием особого поэтического языка («заумь»), основанного на звучаниях, свободных от реального смысла и в языковом обиходе народа не встречающихся. Кроме Крученых, над созданием «заумного языка» работали Велемир Хлебников, Василий Каменский, Давид Бурлюк.

В Крыму мы в 1919 году не удержались...— Летом 1919 г. Лавренев был первым советским комендантом Алушты и начальником артобороны на участке Алушта — Гурзуф. О событиях того времени см. воспоминания Лавренева «Пираты Третьей республики». (Собр. соч., т. 6.)

...на станции Мироновка меня увидел...— Сохранилась справка, подписанная видным военачальником периода гражданской войны и одним из активных участников Октябрьской революции Н. И. Подвойским: «...т. ЛАВРЕНЕВ проявил большую энергию по созданию артиллерийского заслона на линии ж. д. между ст. Мироновка и ст. Белая церковь. Ввиду недостатка артиллерийских средств для воспрепятствования прорыву банд через полотно дороги на юг т. ЛАВРЕНЕВ с командой моряков из охраны штаба организовал постройку местными средствами двух бронеплатформ для поддержки оперировавших против Зеленого (атаман, возглавлявший одну из контрреволюционных шаек, действовавших на юге Украины.— *Ред.*) курсантской бригады и интернационального кавдивизиона». (См. Собр. соч., т. 6, с. 638.)

...по выздоровлении направлен в Ташкент... — Сначала Лавренев был направлен в Самару, а уж оттуда в Ташкент. Об этом смотри воспоминания «Две встречи с Фурмановым», публикуемые ниже.

В 1925 году я впервые попробовал сунуться в драматургию.— Драматургия, наряду с прозой, занимает основное место в творчестве писателя, единодушно причисляемого критиками к числу классиков советской драматической литературы. Первая пьеса «Мятеж» (о попытке контрреволюционного восстания в Туркестане) была написана в 1925 г., в том же году поставлена на сцене Ленинградского Большого драматического театра. Слава пришла к Лавреневу-драматургу в 1927 г., когда им была написана пьеса «Разлом» (впервые поставлена в Москве в Театре им. Вахтангова и почти одновременно в Ленинграде в Большом драматическом театре), не сходившая со сцены более полувека. В годы Великой Отечественной войны написана пьеса «Песнь о черноморцах» (1942), после войны — «За тех, кто в море» (1945) и «Голос Америки» (1949). Обе пьесы

были удостоены Государственной премии СССР и много ставились на наших сценах и в странах социалистического содружества.

..борясь с возрастом и болезнью...— Борис Андреевич Лавренев умер в Москве 7 января 1959 г. и был похоронен на Ново-Девичьем кладбище.

ЗВЕЗДНЫЙ ЦВЕТ.— Написан рассказ был в Ташкенте, опубликован в 1924 г. в «толстом» ленинградском журнале «Звезда». Это первое произведение Лавренева, увидевшее свет в большой столичной печати. С тех пор переиздавался много раз, входил во все Собрания сочинений писателя.

Рассказ основан на личных впечатлениях, полученных за годы работы Лавренева в Средней Азии. Сюжет — вымышленный, но подобные сюжеты в те годы (вплоть до середины 30-х гг.) часто разрабатывались в советской литературе. Тема борьбы с байской моралью, с традициями, насаждавшимися в области семейных отношений исламом, борьба за освобождение женщин Востока долго волновала советскую общественность, а следовательно и литературу.

В 1927 г. по мотивам рассказа на студии Узбеккино был поставлен фильм «Шакалы Равата», пользовавшийся большим успехом и вошедший в историю советского кино как одна из первых творческих побед кинематографий среднеазиатских республик.

ВЕТЕР.— Повесть написана и издана в 1924 г. С нее началась писательская известность Б. А. Лавренева. Повесть «Ветер» бесчисленное количество раз переиздавалась, вызвала множество откликов в критике. Историками советской литературы неизменно относится к наиболее характерным и ярким образцам русской прозы 20-х гг.

«Я задумал «Ветер»,— рассказывал Б. А. Лавренев о возникновении повести тринадцать лет спустя,— как развернутую эпопею, включающую все мои наблюдения за годы революции и гражданской войны. В 1923 году я привез из Ташкента в Москву рукопись романа — 1600 страниц, собственноручно напечатанных на машинке!!! В Москве, в редакциях, когда посмотрели на эту рукопись, занявшую целый чемодан, ахнули: «Да это же материал на полдюжины книг». Действительно, из этой рукописи получились и «Ветер», и «Рассказ о простой вещи», и «Сорок первый», и «Седьмой спутник». (Собр. соч., т. 6, с. 644.)

О герое повести матросе Гулявине автор сообщал: «Гулявина как такового не было. Он — собирательная личность. В ней совместились индивидуальные черты многих военморов, которых мне приходилось встречать во время гражданской войны. Я брал черты самые характерные для бойца-военмора этого периода». И двадцатилетием позже: «В основу фигуры Гулявина легли концентрированные в одном образе фигуры моих разгульных, но душевно прекрасных и всей кровью преданных

революции друзей того времени, когда я носил в кармане знаменитое удостоверение, что я «действительно являюсь гражданином линейного корабля «Петропавловск», и когда я командовал на Украине бронепоездом № 6». (Там же, с. 645.)

Повесть, следовательно, нельзя рассматривать как документ, точно отражающий определенный момент в истории гражданской войны, тем не менее ее фактическая основа, ее органическая связь с личными впечатлениями, вынесенными Лавреневым из боевых испытаний тех лет, несомненна. Недаром, как указывают биографы писателя, действие в повести происходит по преимуществу в тех местах, где был или сражался Лавренев: на Балтийском флоте, в революционном Питере, в украинских степях, в Крыму.

Несмотря на сразу же определившийся успех у читателей, почувствовавших жизненность, типичность героя повести, автору пришлось немало претерпеть от критиков вульгарно-социологического толка с их упрощенческими схемами и догматическим пониманием законов типизации в советской литературе. Все снова и снова перепевалась версия о Лавреневе как о писателе, якобы не понявшем движущие силы революции и повинном в воспевании партизанской стихийности и неорганизованности. Оспаривая в конце 40-х гг. подобные толкования повести, Лавренев писал одному из своих корреспондентов: «...никак не могу согласиться и никогда не соглашусь с утверждением, что в «Ветре» выражаются мелкобуржуазные взгляды на революцию как на разбушевавшуюся стихию анархической вольницы. Так понять повесть могут только личности, привыкшие, смотря в книгу, видеть фигу. Ведь в конце концов Гулявин не образцовый герой и не эталон революционера, и его уклон к неизбежной гибели начинается именно с той минуты, когда, связавшись с атаманшей, он порывает с организующей и дисциплинирующей силой партии в лице Строева... Как можно так слепо проглядеть основную мысль повести о гибельности для большевика анархической линии поведения,— мне трудно понять, и объяснить это я могу только механическим чтением вещи, без вникания в смысл читаемого». (Там же, с. 646—647.)

Повесть отозвалась, иногда неосознанно для авторов, в романах, пьесах и рассказах о гражданской войне ряда писателей 20—30-х гг. (Артем Веселый, Вс. Вишневский и др.). На ее основе были поставлены фильмы «Ветер», «Ошибка Василия Гулявина»; последнее по времени обращение экрана к образу Гулявина относится к 50-м годам, когда на Украине был поставлен фильм «Ярость». Были сделаны театральные инсценировки: «Мы сами», «Клеш и уголь», успеха, впрочем, не имевшие.

«Ветер» переведен на большинство языков народов СССР и на многие иностранные языки.

...стоял против Николаевского моста... крейсер «Аврора».— К Николаевскому мосту, расположенному в непосредственной

близости от Зимнего дворца, «Аврора» была переведена по приказу В. И. Ленина в ночь с 24 на 25 октября (ст. ст.) 1917 года.

СОРОК ПЕРВЫЙ.— Этот рассказ был написан Б. А. Лавреневым, по его собственному свидетельству, в два дня, но ему была суждена долгая и яркая жизнь. Рассказ сразу же понравился редактору крупнейшего ленинградского журнала «Звезда» И. М. Майскому, впоследствии известному советскому дипломату, и был напечатан в апрельском номере за 1924 год. В основе рассказа — реальные прототипы, с которыми писателя свела жизнь и работа в Ташкенте. «В образ Марютки,— рассказывал Лавренев,— целиком вошла девушка-доброволец одной из частей Туркфронта Аня Власова, часто бывавшая со своими стихами в редакции «Красной звезды» (не надо путать с одноименной газетой, выходящей в Москве поныне.— *Ред.*), которые мной и цитированы без изменений в повести. А Говоруха-Отрок такой же реальный поручик, захваченный одним из наших кавалерийских отрядов в приаральских песках. Я и свел этих персонажей вместе, придумав робинзонаду на острове Барса-Кельмес». (Собр. соч., т. 1, с. 648—649.) Природа приаральских песков, через которые пробирается отряд Евсюкова, как и пейзажи Аральского моря, навеяны личными впечатлениями Лавренева, бывавшего в этих местах в те самые годы, когда происходит действие в рассказе.

«Сорок первый» переведен на многие языки мира. Он был дважды экранизирован, и оба раза очень успешно: сначала режиссером Я. Протозановым (в немом кино), а потом, в 1956 г. молодым Г. Чухраем (это был его первый фильм). В фильме Чухрая играли: Марютку — И. Извицкая, Евсюкова — Н. Крючков, Говоруху-Отрока — О. Стриженов, игру которого Лавренев считал превосходной. Этот фильм прошел с успехом по экранам многих стран мира, а в 1957 г. на Каннском фестивале получил специальную премию за оригинальный сценарий (сценарий писал Г. Колтунов), гуманизм и высокую поэтичность. В 1972 г. Театр им. Моссовета поставил пьесу А. П. Штейна «Поющие пески», драматургическую интерпретацию рассказа «Сорок первый». В спектакле был образ Автора, которого играл Р. Плятт. Марютку играла Ия Саввина, поручика — Г. Бортников.

РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ.— Наряду с «Ветром» и «Сорок первым» это произведение принадлежит к числу наиболее известных в творчестве Б. А. Лавренева. Впервые опубликован в 1925 г., с тех пор много раз переиздавался. Переводился на многие языки народов СССР, а также на иностранные языки. В 1925 г. под названием «Простая вещь» был инсценирован в Московском театре-студии Ю. А. Завадского, где пользовался большим успехом. Спектакль был поставлен двумя талантливыми представителями тогда еще только склады-

вавшегося молодого советского театра — Завадским и Н. П. Хмелевым. Роль поручика Соболевского стала важным рубежом в творчестве Н. Д. Мордвинова, впоследствии занявшего видное место среди артистов театра и кино.

В 1958 г. Лавренев писал о главном герое рассказа коммунисте Дмитрии Орлове: «Дмитрий Орлов, конечно, существовал. Да и не один. В славные и незабываемые годы гражданской войны таких Орловых, героев без страха и упрека, было немало. И мой Орлов сложился из нескольких большевиков-подпольщиков, которых я знал в те годы на Украине и в Крыму. Среди них были и погибшие от рук белых в Коктебеле комсомолец Коля Аптекман, и Сергей Ляшенко, и многие другие несгибаемые, крепкие бойцы за наше общее счастье, за наш справедливый общественный строй. У одного я взял внешность, у другого — манеру говорить, у третьего — знание французского языка и т. д. и т. д., и вот понемногу сложился образ человека, которого я назвал Дмитрием Орловым. Такой человек жил в душе каждого большевика». (Б. Лавренев. Бессменная вахта. М., 1973, с. 18.)

В творчестве писателя произведение знаменательно еще и как первое углубленное обращение к проблемам гуманизма, к теме «революционная борьба и гуманизм», занявшей большое место в творчестве ряда писателей 20-х годов (Л. Леонов, К. Федин, А. Фадеев, В. Бахметьев).

СРОЧНЫЙ ФРАХТ.— Рассказ написан в 1925 г., тогда же напечатан в одном из ленинградских журналов. Сюжет рассказа отражает в сгущенной форме пиратские нравы, атмосферу бесчеловечности и жестокости, царившую на судах бесчисленных торговых морских пароходств, бороздивших мировой океан в условиях жесточайшей конкуренции. Владельцы таких судов были готовы на все, на любое преступление, чтобы только удержаться «на плаву», избежать краха. Об этом на многих языках написаны десятки повестей, рассказов, пьес.

Сюжет рассказа был навеян Лавреневу его собственными юношескими впечатлениями тех лет. Кроме того, на написание рассказа, несомненно, повлияло увлечение писателя произведениями Стивенсона, Киплинга, Конан Дойла с их умением остро строить сюжет и вести рассказ на предельно взвинченном читательском интересе к происходящему. Об увлечении этой ветвью западной прозы Лавренев говорил в 1929 г. на встрече с начинающими драматургами. (Собр. соч., т. 6, с. 40.) По рассказу вдовы писателя Е. М. Лавреневой, «Срочный фрахт» принадлежал к любимым его произведениям.

ЛОТЕРЕЯ МЫСА АДЛЕР.— Написан рассказ в 1929 г., напечатан в старейшем ленинградском журнале «Звезда» в 1930 г.

Александр Александрович Бестужев (литературный псев-

доним Марлинский) — (1797—1837) — писатель, декабрист, издавал вместе с К. Ф. Рылеевым альманах «Полярная звезда», отражавший настроения революционной дворянской интеллигенции, разделявшей или сочувствовавшей идеям будущих декабристов. В «Северное общество» был принят в 1824 г. Рылеевым. Примыкал к республиканскому крылу движения. В день восстания вывел на Сенатскую площадь Московский полк. Сам отдался в руки Николая I. Был обвинен в том, что «умышлял на цареубийство и истребление царской фамилии». Приговорен к смертной казни, но затем «помилован». Отбывал наказание ссыльным в Якутске, потом служил рядовым на Кавказе. Незадолго перед смертью произведен в прапорщики. Убит в схватке с чеченцами в районе мыса Адлер. Литературная деятельность Марлинского началась в 1818 г. Писал стихи, не раз переиздававшиеся и в наше время, повести в историческом роде. Особое значение имела его деятельность как критика, получившая высокую оценку В. Г. Белинского. В критических обзорах русской литературы и в своих литературных произведениях выступал как романтик. Огромную известность приобрели его повести, написанные на Кавказе («Аммалат-Бек», «Мулла-Нур»). В 1840 г. была опубликована статья Белинского, в которой повести Марлинского осуждались за вычурность, склонность к внешним эффектам, высокопарной риторике. Критика Марлинского Белинским способствовала утверждению в русской литературе реализма и демократизма.

О попытке Марлинского вырваться из николаевских тисков путем перехода к горцам биографам писателя ничего не известно.

Судьбе декабристов, характеристике душевного склада различных представителей движения посвящена пьеса Б. А. Лавренева «Кинжал» (1925).

КОМЕНДАНТ ПУШКИН.— Рассказ был написан в 1936 г. к столетию со дня смерти А. С. Пушкина, отмечавшемуся с подлинно всенародным участием. Рассказ идейно и тематически связан с теми произведениями писателя, где разрабатывается проблема «революция и культура, революционный народ и культурное наследие». В первых лавреневских рассказах о революции и гражданской войне (исключение — «Сорок первый») эта проблема отражения не получила, но после повести «Седьмой спутник» (1927) она становится в центр писательского внимания Лавренева (особенно углубленно вопрос об отношении революции к прошлой культуре ставится в повести «Гравюра на дереве», 1928). Рассказ «Комендант Пушкин» впервые напечатан в ленинградском журнале «Звезда», где печатались многие произведения Лавренева; с тех пор много раз переиздавался.

Наиболее развернутые суждения Лавренева о Пушкине содержатся в его ответе на анкету журнала «Литературный

современник» в 1937 г. (См. Собр. соч., т. 6.) Там Лавренев, в частности, писал: «В жизнь русской интеллигенции Пушкин входил так же естественно и незаметно, как входит в комнату дневной свет... я никогда не расставался с Пушкиным ни на одну минуту, и каждый раз, как я подымаю голову от рабочего стола, Пушкин смотрит со стены странно пристальным взглядом посмертной маски, с продавленным гипсом правым зрачком, отчего глаз сквозь веко кажется живым и зорким. Из всего написанного Пушкиным я больше всего люблю его прозу. Она необычайно умная, четкая, немного суховатая. Там, где другому автору понадобились бы страницы психологических слюней для характеристики душевного состояния персонажа, его внутреннего образа, Пушкину нужно не более трех строк, и в этих трех строках человек встает во весь свой рост». И далее: «Мне невозможно ответить на вопрос, какие черты личности и этапы биографии Пушкина меня интересуют. Я воспринимаю Пушкина как некий гениальный литературный комплекс. Воспринимаю сделанное им и безраздельно его люблю, абсолютно независимо от биографии». Особое значение для понимания творчества самого Лавренева имеет признание, содержащееся в ответе на ту же анкету: «В моем творческом развитии я обязан Пушкину двумя вынесенными из его творчества аксиомами: 1) проза требует крепкой сюжетной конструкции и 2) проза не имеет права быть скучной». (Собр. соч., т. 6, с. 472—473.)

РАЗВЕДЧИК ВИХРОВ.— Рассказ был написан в один из самых трудных периодов Великой Отечественной войны, в которой Б. А. Лавренев принимал участие как корреспондент центральных флотских и армейских газет. За годы войны им были написаны десятки рассказов, очерков и статей, прославлявших подвиги военных моряков и разоблачавших зверства фашистских захватчиков.

Был ли рассказ опубликован в газетах или журналах того времени, установить не удалось. Первая известная публикация — в сборнике рассказов Лавренева военных лет «Балтийцы раскуривают трубки» (Ташкент, 1942). Участие детей в борьбе против фашистских полчищ позднее отразилось во многих произведениях советских писателей («Сын полка» В. Катаева, «Иван» В. Богомолова и др.).

ЧЕРНОМОРСКАЯ ЛЕГЕНДА.— Рассказ впервые опубликован 7 мая 1944 г. в газете «Красный флот», где в годы войны постоянно печатался Б. А. Лавренев. В 1946 г. рассказ в новом варианте появился в журнале «Огонек» (№ 18).

Малахов курган — самая высокая точка в Севастополе, был опорным пунктом обороны наших войск в войне 1855—1856 гг. и в годы Великой Отечественной войны.

Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — выдающийся русский флотоводец, вице-адмирал, участвовал в морских сражениях, принесших победу русскому флоту (Наварин, Синоп). Начальник обороны Северной стороны Севастополя, помогал П. С. Нахимову в организации обороны Южной стороны. Благодаря беззаветной личной храбрости, демократизму и гуманности в обращении с нижними чинами пользовался огромным авторитетом среди матросов и солдат Севастопольского гарнизона. Был убит на Малаховом кургане при первом бомбардировании города англо-франко-турецкими флотами.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Андреевич Лавренев

ЗВЕЗДНЫЙ ЦВЕТ

Зав. редакцией *Г Н. Усков*
Редактор *Ю. Д. Тарасов*
Художник *Б. Л. Рытман*
Технический редактор *Н. А. Киселева*
Корректоры *О. М. Алтухова, Л. Г Новожилова*

ИБ № 10382

Сдано в набор 28.04.86. Подписано к печати 15.09.86. Формат 60 × 90¹/₁₆. Бум. кн.-журн. Гарнит. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 19+0,25 форз. Усл. кр.-отт 19,50. Уч.-изд. л. 20,58+0,43 форз Тираж 800 000 экз. Заказ 340. Цена 1 руб. 90 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.



Я советский писатель.
Всем, что я мог сделать в литературе
и что, может быть, еще успею сделать,
борясь с возрастом и болезнью,—
всем я обязан народу моей родины,
ее простым людям, труженикам,
бойцам и созидателям.

Борис Лавренев



1 р. 90 к.

